Воспоминания

Источник: https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/M.Asien/XIX/1860-1880/Poltorackij/text1.htm
Сохранено в архиве decolonial.ist: 28.06.2026 · файлов в оригинале: 1

ПОЛТОРАЦКИЙ В. А. ВОСПОМИНАНИЯ Генерал-майор Владимир Алексеевич Полторацкий, старший сын тверского губернского предводителя дворянства Алексея Марковича Полторацкого, родился 16-го сентября 1828 года и получил образование в Пажеском корпусе, из которого был выпущен в 1846 году прапорщиком в Куринский князя Воронцова полк, расположенный на Кавказе. В рядах этого, знаменитого тогда, полка Полторацкий участвовал с отличием во всех экспедициях и сражениях, происходивших в течение 1847-1864 годов в Большой и Малой Чечне и Азиатской Турции. Тяжело раненный несколькими пулями в битве при Чолоке, Полторацкий вынужден был выйти в отставку и, женившись на С. Д. Левшиной, поселился в своем родовом имении, селе Завражье, Новоторжского уезда, где со свойственным ему увлечением предался сельскому хозяйству и псовой охоте. Освобождение крестьян вызвало Полторацкого к общественной деятельности. Выбранный новоторжским предводителем дворянства, он энергично работал по введению мировых учреждений; но в 1869 году, вследствие расстройства своих имущественных дел, снова поступил в военную службу с назначением состоять в распоряжении Туркестанского генерал-губернатора. Шахрисябская экспедиция и Хивинский поход дали В. А. случай к новым боевым отличиям. По возвращении из Туркестана, ему поручается формирование крымско-татарского дивизиона, а во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов он командует Чугуевским уланским полком. По заключении мира, Полторацкий назначается состоять в распоряжения [40] наместника Кавказского, великого князя Михаила Николаевича, и в 1882 году, по производстве в генерал-майоры, выходит в отставку, поселяется сперва в Киевской губернии у своего сына, а затем в Крыму. Здесь, уступая настоятельным просьбам близких людей, Полторацкий начал приводить в порядок свои воспоминания, которые вел аккуратно, в форме дневника, с 1846 года до самой своей кончины, последовавшей 16-го августа 1889 года. Воспоминания эти составляют 27 рукописных томов и, обнимая сорокалетний период времени, представляют большой интерес, так как Полторацкий, человек наблюдательный, правдивый и остроумный, живыми красками рисует не только события своей жизни, но и то общество, среди которого он вращался и в котором всегда занимал видное место.

К сожалению, по многим причинам, печатание воспоминаний Полторацкого вполне теперь еще несвоевременно; пользуясь любезным разрешением его сына, Анатолия Владимировича, мы имеем возможность поместить на страницах “Исторического Вестника” лишь несколько отрывков из них.

Ред.

I.

Производство в офицеры. — Представление императору Николаю в Аничковом дворце. — Бал у Е. В. Апраксиной. — Столкновение с хозяйкой бала. — Приключение с коляской. — Великий князь Михаил Павлович. — Пикник на императорской ферме. — Встреча с государем и государыней. — Князь Багратион. — Поездка в Петербург. — Граф П. Д. Киселев. — Д. А.

Милютин. — Прощанье. — Грузины. — Софья Борисовна и Константин Маркович Полторацкие. — Московская станция. — Ставрополь. — Эггер и его рассказы. — Плен Глебова. — Кавказские горы. — Владикавказ. — Кайшур. — Тифлис.

Августа 11-го, 1846 года, в последний раз явился я в корпус уже довольно поздно. Ночь эту я провел почти без сна. Нетерпеливое ожидание на столько волновало меня, что я вскочил с постели и в десятый раз стал пересматривать все приготовленные к моему обмундированию доспехи, начиная с сапог и кончая темляком. Итак, я офицер! Да, егерского генерал-адъютанта князя Воронцова полка прапорщик. Какое счастье быть свободным, быть признанным человеком, а не ребенком! Утром послышался шум подъехавших дрожек, за ним других, и наверх вбежал Лобанов, затем два брата Гербель, граф Пушкин и, спустя пять минут, все выпускные. Николай Пушкин подбежал ко мне и вручил еще сырой, только что отпечатанный высочайший приказ о нашем производстве. Мы обнялись и, сбросив с себя пажеское белье и платье, стали облекаться в новую собственную форму. Через несколько минут [41] я был кавказским офицером. Когда после приветствий и поздравлений прибывшего инспектора Жирардота мы записали подробные наши адреса, нам разрешили отправляться куда угодно, но с тем, чтобы 16-го утром всем собраться в корпус для представления генералу Зиновьеву, а затем ждать дальнейших распоряжений.

До отхода поезда в Павловск оставалось довольно времени, а потому в новеньком с иголочки мундире я пошел по Невскому. Все кругом улыбалось мне; казалось, все встречные смотрели на меня с почтением и завистью. Лишний раз прошел я мимо Аничкова дворца, там часовой делал мне на караул, не догадываясь, конечно, что он в русской армии первый оказывал мне эту воинскую почесть... Везде было хорошо, весело, отрадно. Таких дней в жизни немного. Последующие дни прошли в хлопотах по случаю принесения присяги в пажеской церкви и затем общем сборе нашем в Аничковом дворце (в Зимнем шли капитальные переделки) для представления государю Николаю Павловичу. 25-го августа мы нарядились в парадную форму, отправились во дворец и ожидали приезда государя императора. Построили нас по корпусам: гвардейских с правого фланга, потом артиллерийских, рядом с ними армейских и на каждом левом фланге заведений — штатских. У нас тут фигурировал один Пушкин в черном фраке и белом галстуке. В час пополудни раздались крики: “Приехал, приехал!..”, а затем команда: “Господа офицеры, смирно!”. Величественною походкой государь в Преображенском мундире вступил в первую, нами занятую, залу и вместо прежнего приветствия: “Здорово, мои дети!” — он молча, но с приветливой улыбкой, раскланялся с нами, а мы вместо ответа: “Здравия желаем, ваше императорское величество”, почтительно и низко ему поклонились.

— Поздравляю вас, господа, с производством в офицеры и вполне уверен, что вы все без исключения будете всегда и везде достойными слугами престолу и отечеству! — громко сказал государь. [42]

С нашей стороны опять поклоны и при них звонкое побрякивание шпор у счастливцев-кавалеристов. Его величество подходил ко всем поочередно и каждому с улыбкой сказал несколько милостивых слов. Меня же государь рассмотрел с особенным вниманием: несколько раз вертел во все стороны, причем приказал надеть папаху и остался вполне доволен новою, высочайше утвержденною им, формою бывшего Куринского, ныне Егерского князя Воронцова полка.

— Молодец! И я, надеюсь, будешь им и на Кавказе! — выразился государь.

Через два дня был бал у статс-дамы Екатерины Владимировны Апраксиной, куда мать с сестрами и я были заранее приглашены. В начале 11-го часа карета подвезла нас к подъезду ее дворца. Яркое освещение, нескончаемый лес тропических растений на лестнице, вереница напудренных лакеев — все было по строгому порядку вещей. Но вот за тремя залами богато убранная гостиная, обтянутая вся от панели до золоченого карниза пунцовым сукном с золотыми звездами, переполненная вся мебелью a la Louis XV, загроможденная зеркалами, жардиньерками, козетками и саксонскими куклами и безделками. Гостиная эта множеством разнокалиберной мебели, картин, зеркал и ковров напоминала скорее склад старинный bric a braque, чем приемный зал большой барыни. Я еще более удивился, когда вместо ожидаемой величественной хозяйки отделилась от дивана и сделала три шага, припадая на левую ногу, на встречу матери, la grande dame Екатерина Владимировна Апраксина; маленькая, не более двух аршин ростом, сморщенная старушка, с громадным горбом на спине, приняла величественный вид и гордым взглядом окинула нас всех, снизу вверх, конечно! С важностью Апраксина пригласила нас садиться и серыми глазками своими не переставала разбирать туалеты сестер моих. Вслед за нами большая гостиная стала наполняться приглашенными, и я, чтобы избежать инспекции внушавшей мне страх хозяйки, счел благоразумным уйти в другие залы, где, встретив много знакомых, вздохнул свободно. Прошло с четверть часа, как вдруг перед нами явилась сама Екатерина Владимировна. Окинув издали всех мужчин инквизиторским взглядом, она внезапно направила быстрые шажки свои прямо в мою сторону и, пожирая меня своими глазками, как ястреб, налетела и неистово-раздраженным голосом сказала:

— Comment, monsieur, vous ne saviez donc pas qu'a un bal chez moi il falait se presenter en uniforme? (Как, милостивый государь, разве вы не знаете, что на мои балы нужно являться в мундире?).

— Mais oui, madame, — почтительно ответил я: — je ne le sais que trop! (Как же, сударыня, я это очень хорошо знаю).

— Et dans ce cas, — сердито возразила старуха: — veuillez m'expliquer, monsieur, de quel droit vous etes arrive chez moi en redingote? Il faut bien, jeune homme, connaitre les devoirs du monde et ne pas oser les paralyser, des le premier jour de votre apparition dans la societe choisie!" (В таком случае потрудитесь объяснить мне, по какому праву вы приехали ко мне в сюртуке? Необходимо, молодой человек, знать обычаи света и не сметь нарушать их с первого же дня вашего появления в избранном обществе).

Удивленный неожиданным обвинением, я всячески стал ей доказывать, что на Кавказе, в этом полку, другого мундира [43] нет, как мой, однобортный, но с фалдами, только что утвержденный. Статс-дама сердито и недоверчиво выслушивала мои объяснения, и не знаю, чем бы они кончились, если бы на мое счастье вблизи не оказался старый мой знакомый, гусар Манзей. Он вовремя подоспел и энергически отстоял правоту мою перед грозной старухой. Она, смягчив свои взоры, что-то пробормотала мне вслед и заковыляла во внутренние свои покои.

Бал был блистателен, но для меня значительно испорчен сценою с хозяйкой дома. Я даже не танцевал, хотя в волю любовался прекрасными парами, особенно красивым и статным

кирасиром полка его величества бароном Дризеном и внушающей удивление Hedvige Штрандман.

После бала у Апраксиной пришлось мне быть еще на нескольких балах, пикниках и базарах, до моего отъезда на Кавказ. Однажды, катаясь с матерью и сестрами по парку, остановились мы перед самым вокзалом, против оркестра. Здесь нашли мы много знакомых; в десяти же шагах от нас оказалась коляска Свистуновой, а около нее стоял великий князь Михаил Павлович. Я открыл дверцу и, чтобы размять ноги, выскочил из экипажа, мать же велела поворачивать назад, так как сопровождавшей нас кавалькаде барышень и молодых Татищевых не стоялось на месте. При обороте довольно крутом, подручная лошадь заступила постромку и начала бить. Форрейтор с испуга затянул свою подседельную лошадь, обе уносные осадили на дышловых, весь четверик спутался и стал на месте бить задом и передом. Я бросился к коляске и поспешил вытащить испуганных барынь, а великий князь в то же мгновение с неимоверным присутствием духа в три прыжка очутился у дышла с одной стороны, а артиллерийский генерал Бибиков с другой, и, невзирая на усиленное лягание задом передней пары, они натянули наносные постромки, сорвали их с дышлового крюка и крикнули форейтору убираться вон. “Теперь, — сказал великий князь, — они могут бить сколько им угодно!” и, подойдя к моей матери, его высочество любезно ее успокоил и, снова посадив в коляску, приказал кучеру проехать сначала шагом, затем раскланялся и, как будто ничего не случилось, вернулся к Свистуновой.

Через несколько дней после этого происшествия устраивался пикник на императорской ферме. Общий сбор был назначен в 11 часов утра у Штрандмана, в Константиновском дворце. Графиня Блудова и Ковальковы везли завтрак, а Штрандманы, Ушаковы, Татищевы и мы обязаны были доставить вина. Согласно программе, поезд двинулся по парку, а мы, верховые, рассыпались во все стороны, рассчитывая собраться снова всем на ферме. Подъезжая к ней, увидали мы скачущего всадника на серой лошади. [44]

— Государь, сам государь и вся царская фамилия здесь на ферме! — еще издали кричал он.

— Каким образом? Что такое? — расспрашивали мы.

— Очень просто, — взволнованным голосом объяснял Татищев: — государь вздумал воспользоваться сегодня хорошей погодой и предложил императрице и всему семейству своему ехать в виде прогулки из Царского в Павловск завтракать молоком.

Государь, уже прежде заметивший сделанные приготовления к нашему пикнику, изволил очень милостиво встретить наших матушек и любезно предложил им соединить оба завтрака в один общий. А теперь его величество ждал еще прибытия кавалькады.

“Но очень ли просто, — подумал каждый из нас, — так неожиданно представиться на глаза его величества Николая Павловича?” Каждый осмотрелся, оправился и не с спокойным духом подвигался к ферме. На балконе ясно выделялся силуэт императора. Он издали очаровательной улыбкой уже приветствовал всю компанию, а когда кавалькада подъехала ближе, его величество быстро сошел по внутренней лестнице и внизу на подъезде встретил наших амазонок. Здесь государь, повторив приветствия свои всему обществу, поочередно помог обеим сестрам моим слезть с лошадей и, взяв Ольгу и Софью под руку, он улыбаясь сказал им:

— Il y a longtemps que j'attends en vain que votre oncle me demande votre presentation; il faut bien, mesdemoiselles, se passer de lui. (Я уже давно тщетно жду, чтобы ваш дядя просил у меня позволения представить вас; приходится обойтись без него).

И с этими словами государь, поднявшись с ними по лестнице в залу фермы, подвел и лично представил их императрице Александре Феодоровне.

Вся компания наша, по приглашению его величества, также поднялась наверх, и глазам нашим представилась следующая картина: большой посредине комнаты стол, весь заставленный блюдами общего завтрака, был занять государыней и членами императорской фамилии вперемежку с нашими старыми барынями. Так, около ее величества по одну сторону сидела старуха Н. Ф. Плещеева, а по другую моя мать. Возле великой княгини Марии Николаевны — графиня Блудова и т. д. Поодаль между амазонками нашими расположились молодые великие князья Михаил и Николай Николаевичи, а против государыни — Николай Павлович, предложивши около себя места Софье и Маше Ковальковой. Необыкновенная простота в обращении и удивительная любезность императрицы скоро развязали язык нашим дамам, и через несколько минут возник непринужденный и веселый разговор. Ее величество неоднократно повторить изволила, что все [45] присутствующие дамы такие же здесь хозяйки дома, как и она сама, и что ее величество очень довольна этим милым, неожиданным пикником, причем из особенной любезности похваливала все привезенное на завтрак нашими барынями и с большим аппетитом кушала печеный картофель со сливочным маслом, тут же купленным на ферме.

Государь был также в особенно хорошем расположении духа и, расточая любезности всем дамам, молодым и старым, обратил внимание на нас, офицеров, с замечанием, “что, если некоторым из нас не достает мест за общим столом в ротонде, то это только по милости не прошенных гостей из Царского Села”, причем его величество отдал приказание накрыть стол в той же зале, рядом с первым и совершенно успокоился, когда увидел, что все мы до одного за ним разместились. Более полутора часа продолжался оживленный завтрак. Все без исключения были в своей тарелке, и всякая тень смущения исчезла, когда его величество, заметив, что, “кажется, все съедено и выпито, теперь пора и по домам”, изволил встать, и по его примеру все поднялись из-за стола. Перед отъездом государь обратился к каждому из нас с милостивыми словами, а меня спросил, скоро ли собираюсь на Кавказ, и на мой ответ: “через неделю, ваше императорское величество”, государь заметил: “Как? Уже? Желаю тебе всякого счастья!”...

По возвращении с пикника, мы застали у нас в гостиной драгунского офицера, нас ожидавшего, князя Багратиона, приехавшего нарочно условиться со мной о дне нашего выезда на Кавказ. Он обязательно предложил матери, в качестве моего попутчика до Воронежа, взять на себя заботу покупки экипажа и договорился заехать за мной окончательно 18-го сентября.

Так как перед отъездом надо было еще побывать в Петербурге, то я и двинулся туда 15-го числа. Получив в штабе казенную подорожную до крепости Грозной и по выданному мне талону из казначейства 92 р. 60 к. прогонных денег, я забрал все заказанные вещи у портного и сапожника и поехал с прощальным визитом к дяде, графу Павлу Дмитриевичу Киселеву, но попал к нему не вовремя, так как он очень старался скорее меня выпроводить. Обняв, перекрестив и с некоторым чувством напутствовав меня фразой: “Бог с тобой!”, Павел

Дмитриевич дал мне уже время пройти всю залу и вдруг громко позвал меня обратно. В дверях своего кабинета дядя меня встретил и, сунув что-то в руку, прибавил скороговоркой: “Это тебе на путевые издержки!”. И сам, не дав мне опомниться и поблагодарить его, запер дверь в кабинет свой. В руке моей оказалось 200 рублей… От Киселева я поехал на Васильевский Остров к Димитрию Милютину. Когда я входил в его столовую, [46] слышны были детские крики; вскоре ко мне вышла Наташа и объявила, что мужа нет дома, а если я соглашусь у них обедать, то скоро его увижу. В соседней комнате опять раздался крик ребенка, Nathalie ушла к нему, а я вошел в кабинет Димитрия и, найдя на этажерке книгу: “Войны Суворова в Италии в 1799 году”, составленную им же, увлекся ею и прочел три главы, не заметив времени и вошедшего Димитрия. Обед был простой, но очень радушный; после кофе я распростился с хозяевами, так как знал, что у Димитрия слишком мало времени для послеобеденного кейфа.

Дома застал Булгакова и Сологуба. Последний привез несколько писем и две книги своего сочинения, с поручением передать их в Тифлисе княгине Воронцовой, а письма молодому князю, ее сыну, и Мишке Глебову.

17-го мать заказала обедню и затем напутственный молебен, после которого все провожающие меня сели в экипажи и двинулись со мной до Ижоры.

“Дальние проводы, лишние слезы”, — говорил всегда граф Павел Дмитриевич, и мать моя была того же мнения, а потому советовала мне сейчас же потребовать лошадей и я, как ни крепился, но, простившись со всеми, в слезах бросился в фургон и крикнул: “Пошел! Пошел! Целковый на водку!”… По дороге заехал сначала в наше имение Вельможье (Тверской губ.), а затем в Грузины к любимейшему моему дяде Константину Марковичу Полторацкому. С распростертыми объятиями встретил меня дядя; очень любезно принял он и Багратиона, приказав сейчас же приготовить мне рядом с галереей красную комнату, а ему другую возле. Даже Софья Борисовна снизошла со мной до некоторой нежности и на первых порах осыпала любезностями моего князя, но ее благоволение к нему длилось недолго, и воспоследовало разочарование, когда она узнала, что сиятельный гость не говорит даже по-французски, что в ее глазах было не малое преступление.

За обедом, пока я весело болтал со старинной приятельницей моей Анной Львовной Трунской, князь Багратион расхвастался о родне своей: Альбединской, княгине Багратион, Солнцевой, Гагариной и проч. После обеда мы перешли в кабинет Константина Марковича, где он расположился в покойном кресле, против камина и, пригласив нас курить, просил меня рассказать ему подробно, как и почему случился мой выпуск из Пажеского корпуса в армию, равно как и отъезд на Кавказ. На возражение мое, что это длинная и скучная история, дядя с усиленным любопытством пожелал ее услышать и заставил меня начать рассказ. Но я не дошел еще до первых каверз на экзаменах Игнатьева, как заметил неровное, но очень сильное его дыхание; [47] взглянув ближе, я увидел, что милый старик давно уже храпит. На цыпочках вышел я из комнаты, но, когда за мною неосторожно встал и Багратион, Константин Маркович проснулся, вскочил на ноги и с беспокойством спросил: “А где же Володя? Он верно подумал, что я заснул! Нисколько, я все его слушал!”… Вечерний чай пили в гостиной, на половине Софьи Борисовны. Она очень серьезно вязала на спицах какую-то полосу к одеялу, задавала вопросы и, не дожидаясь ответа, заботливо и вслух по-французски считала петли на своей работе, а потом внезапно обращалась с вопросом: “A ou en sommes nous?” (на чем мы остановились?). Дядя с длинною в зубах трубкою не всегда впопад поддерживал разговор

своей супруги и, пробуждаясь от дремоты, не раз вставлял совсем не кстати: “oui, oui, comme de raison, ma chere amie!” (да, да, это правда, милый друг). На другой день, в воскресенье, я проснулся очень поздно и, когда поднялся наверх, застал уже тетушку, возвратившуюся от обедни, за чайным столом, в обществе священника грузинской церкви, отца Василия. Когда я входил, она объясняла почтенному старцу о необходимости для блага отечества нашего больших преобразований во всем организме государства. Священник слушал ее внимательно и, выпив уже третью большую чашку чая, опрокинул ее на блюдечко вверх дном; затем, вынув из кармана клетчатый платок, усердно утирал с лица пот, выступивший на челе его от теплого напитка или от усиленного внимания его к поучительной речи Софьи Борисовны. Не сводя глаз с генеральши, старик священник видимо не понимал всего им слышанного, а Софья Борисовна, в полголоса выговорив целые фразы по-французски, переводила их буквально на русский язык и громко, внушительно обращалась тогда к отцу Василию. Милостиво протянув мне белую руку свою, покрытую дюжиной дорогих колец, к которой поспешил я почтительно приложиться, и спросив меня, по обыкновению, в нос: “Et comment, mon cher, avez yous passe la nuit?” (как провел ты ночь, мой милый?), она, не дожидаясь моего ответа, продолжала: “Итак, батюшка, ou en sommes nous?” (где я остановилась?). Священник, наклонившись к ней, подобострастно выговорил: “Ваше превосходительство изволили выразиться о необходимости для блага отечества больших преобразований во всем орг...” — “Oui, oui, c'est ca, — перебила Софья Борисовна, — да я помню. Для блага отечества больших преобразование во всем организме государства, a fin que la Russie puisse renaitre avec gloire de ses cendres”... — вполголоса, почти про себя, докончила она и затем громко повторила: “в конец, чтобы Россия возродилась со славою из золы своей”. Она подняла когда-то прекрасные глаза свои на отца Василия, чтобы насладиться произведенным на него [48] впечатлением красноречивой своей тирады, но тут же увидела по смущенному лицу его, что он ничего не понял. “Вы меня, кажется, не поняли, батюшка?” — “Нет, ваше превосходительство, сознаюсь, не уяснил себе последнего”. Софья Борисовна, с чуть заметной иронической улыбкою на губах, слово в слово опять повторила последнюю фразу и на этот раз, не спуская глаз с бедного старика, безошибочно убедилась, что и теперь он ничего не уяснил себе. Тут она, не скрывая оттенка презрения к тупости отца Василия, обратилась ко мне со словами: “Il n'y est pas, mon cher! Et c'est si clair: la Russie doit renaitre de ses cendres!” (Он ничего не понял, а между тем это так ясно, что Россия должна возродиться из пепла). — “Да, тетушка, Россия должна возродиться из-под пепла”, — решился заметить я. — “Ah oui, oui, из под пепла, из-под пепла”, — улыбаясь начала опять пилить она отца Василия, но послышались шаги дяди и Багратиона, и политический диспут сам собою прекратился.

Дядя Константин Маркович вошел к нам совершенно не в духе. Он был очень недоволен Багратионом, et pour cause. Утром старик, выйдя в сад, через окно увидел уже одетого князя и воспользовался случаем похвастать ему своим хозяйством. Дядя на своем веку прожил громадные деньги, сначала при начале службы своей в Семеновском полку, потом во время Отечественной войны и в Париже, где, командуя бригадой в отряде Воронцова, он вошел в состав оккупационного нашего корпуса во Франции, а наконец впоследствии губернатором в Ярославле. Везде и всюду он известен был своею щедростью, гостеприимством и роскошью, а потому изрядно расстроил финансовые дела свои. У него были серьезные долги, его не мало беспокоившие, но этого доброго и радушного, старого века, барина утешало то, что при всех критических переворотах он сумел сохранить за собою родовое имение, заветное наследие матери своей, Агафоклеи Александровны. Усадьба поражала своей громадностью. Дом в

Грузинах по масштабу и отделке мог назваться дворцом. Кроме огромной с хорами залы и знаменитой внизу галереи, в его трех этажах и двух смежных флигелях было до 120 комнат. Все хозяйственные постройки соответствовали главному дому. Конный двор вмещал до 250 лошадей. Скотный двор из жженого кирпича, как и конный, с черепичного крышей, отличной старинной выделки, вмещал в себе до 600 штук рогатого скота, крупного, независимо от отдельных помещений для мелкого. В таких же размерах обширные риги, оранжереи, теплицы, грунты, мастерские и проч. Церковь во имя Грузинской Божьей Матери напоминала скорее собор; крестьянские даже избы и те построены вдоль большой Старицкой дороги, из жженого кирпича с черепичными [49] крышами. Кроме того, там находился еще каменный старинный винокуренный завод, в последнее время перестроенный и приспособленный к новой системе, со всеми вновь изобретенными аппаратами, ежегодно выкуривающий до 200 тысяч ведер спирта. Наконец, в довершение полноты усадьбы, перед господским домом сад, с роскошными цветниками, а за ним парк на 25 десятинах земли, с рекой, прудами, островами, мостиками, беседками, статуями и бесчисленными затеями. Милейший владелец, как истинно-радушный хозяин, сам повел всюду дорогого гостя. Но тут-то мой князь и показал свою бестактность. Он не только ничему не удивлялся, ничему не отдавал должного, но напротив все без исключения критиковал беспощадно, нагло уверяя дядю, что у него в Курской губернии дом вдвое больше, конный и скотный завод гораздо обширнее и удобнее, а что касается прочего, то и смотреть не стоит. Константин Маркович, как старинный благовоспитанный барин, ничего не возразил своему гостю, но поспешил сократить свою прогулку и возвратиться в дом. Здесь я постарался развлечь его, и благодаря безграничной доброте этого идеально добродушного человека, мне удалось заставить его забыть испытанное неприятное впечатление, и час спустя он был уже весел, разговорчив, как всегда. В кабинете своем Константин Маркович, распахнув фалды сюртука своего, у камина, усердно грел спину и без умолку рассказывал нам эпизоды из войн в начале нынешнего столетия, а особенно подробно об Аустерлице, за который в петлице его красовался Георгиевский крест.

Только на четвертый день, вместо двух, пребывания нашего в Грузинах, мы soi-disant после раннего обеда выехали прямо на Медное. Софья Борисовна перед моим отъездом нежно поцеловала меня на воздух и в промежуток с большим чувством повторила просьбу не пить кофе: “il porte a la tete, mon cher!”, а дядя от души целовал, крестил, благословлял, выражая сожаление, что не может проводить меня до Москвы, где бы он непременно свозил меня к старому, высоко им чтимому начальнику и другу своему Алексею Петровичу Ермолову, так как, по его убеждению, всем проезжающим на Кавказ через Москву, безусловно, подобает поклониться Иверской Божьей Матери в Кремле и Ермолову на Пречистенке…

В Воронеже расстался я со своим спутником, не скажу, чтобы с большим сожалением. От Воронежа до Новочеркасска 533 версты я осилил втрое суток. Около Аксая встретил лихую тройку в санях, с седоком в адъютантской форме. Казак-ямщик мой, обернувшись, пояснил мне, что “это кульер, вишь как гонит”. Когда я, наконец, дотащился до станции, [50] смотритель поспешил сообщить мне, что проехавший курьером адъютант наместника кавказского отправлен в Петербург с донесением государю императору о славной победе над самим Шамилем, у которого отняли пушку и секиру; что последнюю адъютант везет с собой и только что ее показывал ему. “Важнеющая штука, — добавил он про секиру: — но уж не очень, чтобы сказать, вострая!” — Заглянув в книгу проезжающих, я увидел, что курьер был адъютант главнокомандующего кавказским корпусом поручик Давыдов (Ростислав).

Увидев курьера, спокойно катившего в санях, мне страшно захотелось тоже продолжать путь мой не на колесах: до того измучил и избил мне бока мой грустный экипаж; но смотритель ни за что не соглашался отправить меня в санях; даже приобретение безвозмездно фургона в свою пользу не соблазняло его. “Да отчего же курьеру вы дали сани, а мне не хотите?” — “То адъютант наместника, князя Воронцова, он может все требовать и вне закона, не только на Кавказе, но и во всей России!” — порешил смотритель, наотрез отказав исполнить просьбу прапорщика. Делать нечего, опять поплелись через пень-колоду. С каждым днем погода портилась, шел дождь со снегом, потом стало студить, повалил снег хлопьями, прилипал к колесам и ступицам. Подвигались мы безобразно тихо, по 5 и 6 верст в час, на душе было не весело, а телу очень холодно. За 30 верст до Ставрополя, на станции Московской, познакомился я с милейшим, добродушнейшим инженер-полковником Эггером, который сжалился надо мною, взял меня в свой дормез, и мы уже вместе продолжали путь. Артур Федорович Эггер был старый кавказский служака, много видевший и слышавший на своем веку. Словоохотливый от природы, он своими рассказами доставил мне истинное удовольствие. Зеленому прапорщику очень интересно было узнать особенности кавказской войны и жизни, которые сложились здесь совсем иначе: иные обычаи, исключительные отношения.

Около Ставрополя, миновав вторую станцию, мы проехали казачий пост, привлекший мое внимание. Эггер по этому случаю рассказал мне грустное происшествие, три года назад случившееся на этом самом месте с Глебовым, тем самым Глебовым, которому в чемодане я вез письмо от графа Сологуба. В конце 1843 года Глебов, будучи адъютантом командира кавказского корпуса генерала Нейдгарта, отправлен был курьером из Тифлиса в Петербург. От Владикавказа до ст. Прохладной был колесный путь, а тут уже выпал снег, и хотя зимний путь еще не установился, но Глебов, разбитый скачкой на перекладной, потребовал сани и покойно уже поскакал далее. Перед сумерками, в семи верстах от станции Базовой, на [51] самом том месте, где мы видели казачий пост, из глубокой, с крутыми берегами балки на проезжающего Глебова бросилось 8 человек горцев; ямщик погнал лошадей, а всадники пустились в погоню. До станции оставалось версты 4, не более, но на самой дороге был курган, который обыкновенно объезжают кругом. Глебов, взглянув назад и видя неприятеля очень близко, желая сократить путь свой, приказал ямщику валить напрямик через курган. Лихая тройка быстро вынесла сани на вершину, но здесь на верхней тоже кургана ветром смело снег, железные подреза въехали в песок, и тройка сразу стала, как вкопанная. Несколько мгновений спустя, горцы окружили сани, выстрелом убили коренника, а на пристяжных лошадей посадили со связанными ногами Глебова и денщика его и быстро увезли их по балке, наутек. Ямщик, в первую же минуту бросившийся бежать, добрался до станции благополучно и, конечно, поднял там тревогу. Казаки выскочили и погнались за хищниками, но при наступившей темноте ночи потеряли след и дали возможность горцам увезти пленников за Кубань. Храбрый всегда до безумия, Глебов в этом несчастном случае, не имея оружия в руках, был взят в плен, как баран, и в течение более года у шапсугов переиспытал неимоверные истязания и муки. В выкупе его, как общего любимца всего Кавказа, приняли участие не только местные войска, но и гвардия, так как он, Мишка Глебов, служил в Конной Гвардии, где оставил о себе лучшие воспоминания. Так как катастрофа с Глебовым и другие подобные случаи еще были свежи в памяти, то в горах от самого Ставрополя до станции Ларс проезжающих не пускали ночью со станций; курьеров же и почту сопровождали конные казаки. Утром, в ясный ноябрьский день, дивная панорама представилась глазам моим! Я

увидел отчетливо перед собой весь Кавказский хребет, с высокою белою шапкою Казбека, а на западе величественный Эльбрус. Освещение самых вершин всего снежного хребта красными лучами восходящего солнца было чудно неподражаемо. Я разинул рот и от восторга не мог вымолвить слова. “А как вы думаете, юноша, близко от нас эти горы?” — спросил меня Эггер. — “Версты три или четыре”, — с убеждением отвечал я. — “До Казбека, который как будто бы висит над нами, около 150 верст, а до Эльбруса гораздо более”, — с улыбкой осадил меня Эггер. Я не верил словам его, но двое суток пути нашего по прямому направлению к горам поневоле убедили меня в истине его слов. Великолепный вид на Кавказские горы скоро исчез, небо заволокло густыми облаками, и за ними скрылись Казбек, Эльбрус и весь хребет.

24-го ноября, в третьем часу по полудни, торжественно въехали мы, наконец, в град Тифлис и остановились на Головинском [52] проспекте, в лучшей тогда гостинице Крылова. Ух! — сказал я с облегчением: не легко одолеть было в осеннюю пору три тысячи верст от Петербурга.

II.

Знакомство с Кауфманом. — Князь Михаил Семенович Воронцов; княгиня и князь Simon. — Новые знакомства, нравы и обычаи; Глебов, Щербинин, Дондуков, Васильчиков и друг. — Грузинские праздник. — Прощание с Тифлисом. — Терская линия. — Крепость Грозная. — Фрейтаг и барон Мелдер-Закомельский. — Прием и письмо наместника. — Приготовление к походу. — Выступление. — Алдинские хутора. — Костырко, Греченевский и 7-я рота. — Дело 15-го декабря. — Обычаи походной жизни. — Опять Грозная. — Воздвиженское. — Жизнь в штабе полка.

По приезде в Тифлис Эггер первым делом еще в гостинице поспешил навести справки, в Тифлисе ли теперь друг его инженер Кауфман, и, получив утвердительный ответ, сейчас же на извозчике, послал за ним. Не успели мы еще расположиться в отведенном нам номере, как на зов явился Кауфман; после самых искренних объятий старых друзей, Эггер познакомил меня с Константином Петровичем фон-Кауфманом, инженер-штабс-капитаном, очень тогда добродушным, любезным и сообщительным. Обед и весь вечер прошли в рассказах Кауфмана о всем случившемся в Тифлисе и на всем Кавказе; говорил он умно, весело и приятно, и время пролетело незаметно.

На другой день, с утра, надев парадную форму, мы вместе с Эггером явились в комендантское управление, откуда старик комендант повел нас всех, к нему явившихся, во дворец главнокомандующего. Представляющихся наместнику было два генерала, кажется, пять штаб-офицеров и до 20 обер-офицеров. Нас выстроили всех в большой приемной зале и, конечно, меня с левого фланга. После нескольких минут ожидания, вошел с дежурным адъютантом и несколькими лицами своей свиты главнокомандующий князь Михаил Семенович Воронцов. Я прежде еще, при вступлении моем в пределы Кавказа, на всех почтовых станциях смотрел и внимательно изучал фигуру и физиономию князя по литографированным его портретам, но когда я его увидел не на бумаге, а в действительности, то не мог не удивиться. Славный участник всех войн с первых годов нынешнего столетия, герой Отечественной войны, бессмертный виновник Краона и победоносный полководец в стольких битвах, кончая знаменитой здесь Даргинской экспедицией, — князь Воронцов наружностью своей и

манерами был [53] более похож на высшего дипломата, на гражданского сановника, но не на военного, закаленного в делах генерала…

Высокого роста, стройный, худощавый, с очень тонкими чертами лица и тончайшими губами, с седыми, под гребенку остриженными волосами, тщательно выбритым подбородком и без малейшего признака усов, — вот по наружности князь Михаил Семенович, одним только куринским мундиром и большим крестом св. Георгия 2-го класса напоминавший о своем военном звании, о боевых заслугах, оказанным им так беспримерно славно своему отечеству. Даже аристократические его приемы, изысканные и исполненные утонченной вежливости, но обнаруживали вовсе солдата, проливавшего столько раз кровь свою на полях битв…

С улыбкой на тонких губах, князь приветливо и ласково разговаривал со всеми ему представлявшимися, любезно пожимая им руки. Дотла очередь до меня.

— А, здравствуй, мой милый Полторацкий, очень рад тебя видеть, — три раза обняв меня, сказал главнокомандующий, — Как ты чувствуешь себя в твоем здоровье? — отведя меня на пять шагов в сторону, продолжал он, распечатывая мною поданное ему письмо Киселева. — Очень, очень рад твоему приезду. Теперь поживи с нами, ознакомься в Тифлисе, и прошу тебя, когда не будешь иметь другого ангажемента, то, пожалуйста, приходи к нам обедать, всегда к 6-ти часам.

Обвороженный ласковым приемом князя, я доложил его сиятельству, что желал бы представиться супруге его, имея к ней поручения и передачу книг от графа Сологуба, на что князь Михаил Семенович не только изъявил согласие, но предложил мне лично отрекомендовать меня княгине, а потому, раскланявшись со всеми остальными, князь приказал узнать, примет ли его с гостем Елизавета Ксаверьевна, и в ожидании ответа отошел к окну залы и стал читать письмо графа Павла Дмитриевича.

Когда камердинер княгини доложил, что она принимает, князь Михаил Семенович, взяв меня за руку, повел по длинным переходам и залам на половину его супруги. Княгиня Елизавета Ксаверьевна встретила нас в своей богатой гостиной и, допустив меня к ручке, очень милостиво выслушала переданные мною поручения от графа Сологуба и выразила желание получить книги, на что князь-супруг поспешил сказать ей, что я буду к обеду и, вероятно, привезу ей посылку.

Елизавета Ксаверьевна, рожденная графиня Браницкая, дочь знаменитого графа Ксаверия, была не первой молодости, но еще настолько свежа и привлекательна, что верится легко о воспетой ее красоте. Довольно полного сложения, она сохранила чудный цвет лица, много оживления в прекрасных глазах и [54] очарования в обращении. Выслушав и от княгини приглашение к обеду, я вернулся домой, захватил письма к молодому князю Семену Михайловичу и Глебову и, заехав сначала к Глебову, не оказавшемуся дома, представился молодому князю. Молодой Воронцов, лет 25 или 26, не более, был высокого роста, блондин, с большими рыжеватыми баками и представлял из себя тип Джон-Буля. Резкие черты лица его с нависшими густыми бровями придавали ему очень угрюмый вид, а туалет дэнди и непринужденные движения носили особый отпечаток своеобразия и оригинальности заморских друзей наших — англичан. Не будучи наружностью вовсе похож на отца своего, он и характером и гибкостью ума не напоминал его. Приняв меня вежливо, даже любезно, князь Семен Михайлович внимательно прочел послание к нему Сологуба, через письмо пристально разглядел меня и, но зная, с чего начать разговор, долго жевал что-то в роту и наконец,

предложив мне прекрасную одесскую папиросу, причем обязательно подал мне зажженную свечу, начал разговор с вопроса: “каких лошадей предпочитаю я, английских или русских”. Не ожидая вовсе подобного предмета разговора, я что-то пробормотал в ответ, по поводу чего князь Simon оживился и стал доказывать мне несравненные превосходства кровных английских лошадей над нашими скаковыми, даже лучших заводов, и в подтверждение доводов своих пригласил меня взглянуть на двух гунтеров, только что доставленных ему из Лондона. Лошади, в особенности одна, темно-гнедая, были по правде прекрасные, но и цена им была немалая, до 500 фунтов стерлингов каждая. Вернувшись в гостиную князя, я познакомился с рыжим бароном Николаи, очень натянутым чиновником особых поручений при канцелярии наместника, и от него узнал адрес Щербинина, к которому я имел письмо из Петербурга от князя Вяземского.

За обедом у главнокомандующего, роскошно сервированным, было до двадцати приглашенных. Хозяин был очень внимателен и разговорчив, но я заметил, что сам он почти не ел и ничего не пил. После обеда я познакомился с ротмистром и адъютантом князя Глебовым и, передав ему письмо Сологуба, тут же получил приглашение непременно переехать к нему из гостиницы. Удивительно была симпатична личность Глебова, с первой минуты внушающая любовь и доверие. “Как могли шапсуги, — вот первая мысль, мелькнувшая во мне, когда я глядел на открытую, полную добродушия и честности физиономию Глебова: — мучить и терзать подобного человека!” Вечер провел в гостинице с Эгтером, Кауфманом и Вастеном, тоже чиновником канцелярии наместника, очень веселым, игривым и умным. [55]

Следующая затем неделя прошла крайне беспорядочно, но быстро. Перебравшись к милейшему Глебову, я в несколько дней познакомился с массою личностей, частных и по службе. Первый визит после главнокомандующего был к начальнику штаба Кавказского округа, генерал-адъютанту Коцебу. Очень маленький ростом, но крупный по способностям, Коцебу, хотя, как начальник, далеко не мягкий, пользовался репутацией весьма дельного и честного генерала. Прием его был вежлив, но не выходил из рамки строгих служебных отношений. Второй визит был к тифлисскому губернатору Сергею Николаевичу Ермолову, племяннику Алексея Петровича. Он был первоклассный добряк; со мною был не только любезен, но познакомил меня даже со своим семейством, отдал мне визит и пригласил на обед по случаю именин жены. Из штабных я познакомился почти со всеми, кто был тогда на лице: Минквиц, бывший лейб-гусар, теперь полковник и адъютант князя, приятный, веселый и хороший господин, Моллер Эдуард, старший брать нижегородского драгуна Александра; Лисаневич — адъютант главнокомандующего; князь Дондуков-Корсаков, Виртембергского гусарского полка штабс-ротмистр; он был раньше при генерале Нейгардте, и вместе с Глебовым они только двое были оставлены князем Воронцовым из всего штаба его предместника. Дондуков очень бойкий, ловкий и способный, но, по общим о нем отзывам, не чужд интриги; тем не менее, игривостью и гибкостью ума, развязностью разговора и всем светским обращением он едва ли по умственным способностям и образованию не занимал первого места в блестящей свите князя Воронцова. Но кто особенно завладел моим сердечным расположением, это — князь Сергей Васильчиков, сын друга отца моего, князя Иллариона Васильевича. Трудно было найти человека честнее, добрее и с более возвышенными правилами. Васильчиков пользовался общим расположением как в среде сослуживцев своих, так и во всем тифлисском обществе. Меня он совсем победил теплыми воспоминаниями о покойном отце моем, которого он хорошо знал и очень уважал со времени пребывания его у

них в селе Выбити, Псковской губ., когда наши старики охотились в 1840 году вместе с дядей его, обер-егермейстером Дмитрием Васильевичем Васильчиковым.

Встретился я здесь и с князем Ираклием Грузинским. Он уже был поручиком и адъютантом главнокомандующего; злополучный выход его юнкером из пажеского корпуса не повредил его карьере. Хотя Ираклий среди туземцев играл исключительную роль по своему царскому происхождение, но со мною встретился, как со старым приятелем и однокашником. Граф Галатери, князь Андронников, граф Гейден-Фриц, князь Гагарин, Понсет, брат Натали Милютиной, князь Сергей [56] Кочубей, Вастен, Токарев, Челяев, Крузенштерн, Кулебакины и многие другие быстро стали моими добрыми знакомыми.

Тифлис, как город, замечателен своей наружностью; раскинутый в котловине, по обоим берегам быстрейшей в Грузии реки Куры, он стеснен со всех сторон высокими скалами. По наружному же виду, по внутреннему образу жизни, по населению и даже по обычаям, Тифлис представляет смесь Европы с Азией. Дома строгой европейской архитектуры красуются рядом с восточными постройками и плоскими крышами. На Головинском проспекте и Эриванской площади здания большие, высокие, прекрасно отделанные, с магазинами всех европейских национальностей, с галантерейными предметами высшей роскоши и цивилизации, а рядом армянский базар, где на узких улицах олицетворялась восточная жизнь, во всех ее подробностях: мастерские, пекарни, кухни, лавки, кузницы и проч., все это наружу, на виду, с беспрерывной толкотней, вонью, криками на всех наречиях востока. В то время был там театр русский и армяно-грузинский, но что удивительнее всего — и итальянская опера. Князь Михаил Семенович горячо содействовал развитию общественной жизни в Тифлисе, и благодаря его инициативе, скоро европейская цивилизация должна была вытеснить оттуда остатки полудиких обычаев Азии. Балы и праздники у наместника и представителей как русского, так и грузинского общества по богатству могли соперничать с обеими нашими столицами, но по роскошной красоте своих женщин они, конечно, стояли гораздо выше. Общество, окружавшее князя Воронцова, было изысканное. Он употребил все силы, чтобы привлечь сюда на службу людей с блистательным положением, образованием, именем и средствами, и, надо сознаться, успел в этом.

На одном из обедов князя я получил приглашение вечером на грузинский праздник, в своем роде очень любопытный и веселый, хотя, к сожалению, на это собрание не допустили женщин, а приглашенные были одни мужчины, все молодые люди свиты и канцелярии наместника. В больших, высоких комнатах князя Чавчавадзе вся компания расположилась на тахтах и лежа на коврах, по восточному обычаю; подавали шербет и сласти, играла персидская музыка, которую заглушала пронзительная зурна, а несколько туземцев виртуозов выводили горлом непостижимо высокие и протяжные ноты, убийственно грустного тона. Когда на столе появился шашлык из молодого барашка в разных формах и видах, а вместе с ним громадные горы пилава, четверо бичо втащили за ноги бурдюк, т. е. шкуру с целого вола, налитую сполна лучшим кахетинским вином. Не хозяин, а избранный тулум-баш князь Туманов вступил в свои обязанности и права. Тулум-баш на всех пиршествах [57] Грузии есть неприкосновенный деспот и распорядитель. Его велениям должны все подчиняться, и тосты, им предложенные, осушаться быстро и безапелляционно. Когда все общество пришло в оживление, на арену залы вышел сначала один, а за ним другой из туземной аристократической молодежи. Музыка заиграла веселый мотив, и ловкие юноши пустились танцевать лезгинку, под хлопанье ладошами в такт всей окружающей публики. Замечательно грациозный и вместе

воинственный танец лезгинка! Без нее здесь не проходит празднества как у туземцев, так и у европейцев. На балах у князя наместника, мне рассказывали очевидцы, когда среди французских кадрилей, полек и вальсов вдруг раздается туземная музыка, и на средину залы выйдут танцующие пары для лезгинки, то зрители из самых отдаленных комнат бегут в залу, а сам хозяин главнокомандующий бросал партию свою в карты и спешил туда же полюбоваться танцем, выполняемыми, обыкновенно мужчиной и женщиной. Последних на нашем празднике не было, а, все-таки, неподражаемая лезгинка и вино сделали свое — через несколько часов во всех углах неподвижно покоились трупы гостей, а посреди комнаты — одного пустого бурдюка!

Несколько дней спустя, обедал я опять у наместника. Вставь из-за стола, князь с улыбкой спросил меня, нравится ли мне Тифлис, веселился ли я, многих ли приобрел знакомых, а затем, пожимая мне руку, ласковым голосом добавил: “завтра, мой милый Полторацкий, заезжай ко мне, мы поговорим с тобою”. Когда князь отошел от меня, я долго не мог сообразить, о чем именно может быть разговор его сиятельства главнокомандующего с прапорщиком Куринского полка. Но когда на следующий день князю угодно было потребовать меня из приемной комнаты, где я с час проболтал с дежурным адъютантом, — в кабинет свой, я робко вошел и раскланялся.

— Садись, милый друг, и потолкуем, — встретил меня князь прежней фразой, а затем продолжал: — я уверен, что ты не только стремишься нести честно службу на Кавказе, но и теперь желаешь уже принять участие в предстоящих военных действиях, не так ли? А потому я пригласил тебя, мой друг, чтобы передать и мое желание об отправлении твоем в полк, для участия в зимней экспедиции. Когда думаешь ты ехать?

— Завтра, ваше сиятельство! — встав с места, доложил я.

— Нет, нет, мой милый, не завтра, а послезавтра, — возразил князь. — Я приготовлю с тобою письмо твоему полковому командиру, барону Меллер-Закомельскому, которому тебя отрекомендую и попрошу взять тебя в экспедицию, а затем я уверен, что ты, мой друг, с честью выйдешь из испытания и вполне заслужишь доброй славы в отличном Куринском полку. Не правда ли? — [58] любезно протягивая мне руку, спросил князь Михаил Семенович и тут же добавил: — А когда ты послужишь во фронте и приобретешь некоторую опытность в пороховом дыму, я с особенным удовольствием исполню желание моего душевного друга, графа Павла Дмитриевича, и возьму тебя к себе адъютантом.

Три раза обняв меня, но еще не простившись со мною окончательно, главнокомандующий отпустил меня, с приглашением сегодня к себе обедать. После обеда, вручив мне собственноручное письмо свое на имя Меллер-Закомельского, поцеловал три раза, перекрестил и простился со мною. Елизавета Ксаверьевна тоже очень любезно протянула мне свою изящную руку и выразила сердечные пожелания всего лучшего. Отъезд мой из Тифлиса, конечно, лишал меня веселой здесь жизни и приятного общества, но с другой стороны ведь не бражничать я сюда приехал; надо было себя испытать. Глебов и Васильчиков от души меня благословили и напутствовали самыми искренними советами. На душе у меня было светло, как на воздухе. В этот день, 3-го декабря, на солнце было 26° тепла, и на Головинском проспекте все барыни гуляли в одних кисейных платьях, а там, за северным склоном, куда я отправлялся, мороз и снег, но Глебов уверял, что и там может быть жарко, смотря по ходу экспедиции.

Обратное путешествие мое из Тифлиса по Военно-Грузинской дороге до Екатеринодара, а затем по Терской линии до станицы Червленной, совершилось благополучно. На перекладной от Тифлиса до Квишета, на шести парах волов в Кайшаурскую анафемскую гору, с Кайшаура до Ларса на санях и опять на перекладных до Владикавказа — провезли меня без всяких приключений в тридцатичасовой путь. Миновав Екатеринодар, а с ним вместе предел возмутительной грязи, ямщик оправился, подобрался, вскрикнул, и лихая тройка вихрем понесла по гладкой дороге неизмеримо просторной степи. Где же эти кавказские трущобы? Где черкесы в их кольчугах и злые чеченцы, ползущие с кинжалами на берег Терека? Терек вправо от нас течет уже здесь широкою рекою, но так же спокойно и безобидно для проезжающих, как Волга или Тверца в Тверской губернии. Быстро проехав в два перегона 35 верст, мы очутились в Моздоке, более, чем Екатеринодар, имевшем гражданские права на звание города. На улицах в нем хотя и была та же убийственная грязь повсюду, но и красовалось немало каменных, даже двухэтажных домов и лавок, а на базарной площади толпилось такое множество народа, всевозможных наций и восточных костюмов, что мы с трудом добрались до станции. Пообедав здесь каким-то супом и жареным фазаном и захватив несколько великолепных арбузов, которых здесь в изобилии, [59] я поспешил выехать по дороге к станице Наур, где смотритель задержал меня на ночлег, причем в виде утешения сообщил мне, что и приехавший раньше меня господин офицер тоже по необходимости остался ночевать на станции. При известии, что я силою случайных обстоятельств встречаюсь и могу сойтись с кавказским офицером, может быть, даже и Куринского полка, который посвятит меня во все тайны предстоящей драмы в Чечне, — я не только смиренно покорился, но даже мысленно возрадовался. Перешагнув через порог указанной мне комнаты, я увидел растянувшуюся на диване фигуру офицера; при появлении моем он вскочил на ноги и с заметным удовольствием неожиданной встречи с новым спутником поспешил отрекомендоваться: “Кременчугского егерского полка подпоручик Дорошенко”. Увы, разочарование мое было полное! Но по забавному совпадению обстоятельств и российский офицер испытывал его в той же степени. При виде входящего офицера в бурке, башлыки и прочих походных принадлежностях, он в полумраке счел его за закаленного в боях старого кавказца; но когда этот грозный воин сбросил с себя доспехи, а смотритель внес в комнату свечу, г. Дорошенко увидел перед собою безусого прапорщика. Но что делать? Мы одинаково горько ошиблись и, откровенно разъяснив ошибку, от души расхохотались.

Дорошенко был не первой молодости; долго тянул он лямку юнкером, а затем прапорщиком, и наконец вынул жребий ехать на год на Кавказ. Несколько часов проболтали мы о его житье-бытье в полку, о службе, караулах, смотрах и парадах, и решили дальше продолжать путь вместе, так как вам обоим одинаково приходилось представляться Фрейтагу и Меллер-Закомельскому.

10-го декабря, отдохнув в первой попавшейся хате в Грозной, мы оба облеклись в парадную форму, в сущности присвоенную обычаями только на Кавказе, а именно: мундир без эполет, форменная папаха, верблюжьего желтого сукна с малиновым шелковым канаусовым очкуром, широкие шаровары, заправленные в высокие походные сапоги, чеченская шашка на тонком через плечо ремне и шарф с кистями. В этом блестящем на ряде мы долго, но напрасно, хлопотали о средствах к передвижению в экипаже; все усилия оказались, по неимению такового, тщетными, и волей-неволей пришлось по невообразимой грязи понтировать пешком сначала к коменданту крепости, полковнику Неверовскому, а от него к начальнику 20-й пехотной дивизии и вместе левого фланга Кавказской линии, знаменитому Фрейтагу.

Неверовский нас принял снисходительно ласково, просил присесть и в разговоре, между прочим, сообщил, что командир Куринского полка Меллер-Закомельский живет [60] постоянно в штабе полка, в крепости Воздвиженской, за 30 верст от Грозной, но завтра ожидается сюда, для окончательного обсуждения с начальником фланга предстоящей экспедиции, а, следовательно, нам обоим надо дождаться его приезда в Грозной. От коменданта мы поплелись к дому его превосходительства начальника дивизии. Генерал был дома. Около четверти часа провозились мы в передней с приведением в приличный вид ног наших и затем уже вступили в залу.

Дорошенко, как старший чином, стал правее меня, и мы молча и недвижимо стали ожидать появления начальства. Впереди нас была анфилада комнат, и в дверях между второй и третьей из них, на взгроможденном сверх стола стуле, а сверх стула на скамейке, копошилось какое-то живое существо, по-видимому, прибивающее молотком портьеру.

Ординарец, приседая на цыпочках, чтобы не произвести сапогами своими непочтительного при начальстве стука, устремился прямо к этому призраку, и по докладе о нашем прибытии мы услышали отрывистый ответ: “сейчас!”, а вслед затем увидели слезающую, как с эшафота, небольшую, лысую фигурку, со спущенными на животе военными рейтузами, без помочей, без галстука, без сюртука, в одной рубашке, быстрыми шагами направившуюся к нам. По описанию наружности, но никак не по костюму, мы узнали генерала Фрейтага. Легким наклонением головы и вопросительным на нас взглядом он вызвал на стереотипный, законом указанный, речитатив:

— Вашему превосходительству честь имею явиться, Кременчугского егерского полка, подпоручик Дорошенко, назначенный в прикомандирование к Егерскому князя Воронцова полку, на время зимней экспедиции.

— Хорошо! — был ответ Фрейтага, уже обратившего голову ко мне.

— Вашему превосходительству и т. д. прапорщик Полторацкий, — проговорил в свою очередь и я.

— Хорошо! — был снова лаконический привет его превосходительства, не замедлившего движением головы показать на дверь, за которой мы и поспешили исчезнуть.

Очутившись на улице, мы в один голос разразились в порицаниях прославленному герою за неблагосклонный прием.

На следующий день, узнав о приезде командира полка в Грозную, мы опять облеклись в парадную форму и с прежними же маневрами на пути к дому Меллер-Закомельского победили все жидкие препятствия. Причалили к берегу, но, увы! на вопрос, обращенный к куринцу-ординарцу, дома ли командир, получили ответ: “дома, кушают, ваше благородие!”. Что делать? уходить, чтобы возвратиться опять по грязи, в наступающих сумерках было [61] невозможно; решили посидеть у дома, на завалинке. Проходит полчаса, опять вопрос и тот же ответ куринца: “еще кушают, ваше благородие!”. Ждем еще; в окнах соседних домиков показались уже огни, на улице же стало темно, хоть глаз выколи. Опять встаем и с тем же вопросом обращаемся на этот раз не к ординарцу, а к партикулярно одетому приличному человеку.

— Сейчас доложу, — ответил он и через минуту объявил: — пожалуйте!

Мы вошли: Дорошенко впереди, я за ним. В первой комнате, в столовой, где еще не убраны были со стола приборы, — сначала ничего не было видно, С трудом оглядевшись, заметил я вдоль стены несколько человеческих фигур, а одну — сидящую у окна на стуле; во рту у нее был длинный чубук, а огонь в трубке служил единственным освещением всей комнаты. Тень эта встала и размашистыми шагами, перекачиваясь из стороны в сторону, приблизилась к нам.

— Господин полковник, честь имею явиться, подпоручик Дорошенко, — стоя на вытяжку, отчеканил мой сожитель.

— Хорошо-с! — с прищелком ответила темная тень.

— Господин полковник, вверенного вам полка прапорщик Полторацкий.

— Хорошо-с! — еще более прищелкнув, повторила та же фигура. — Ступайте.

Дорошенко уже повернул в переднюю, а я осторожно, вынув из кармана письмо князя Воронцова, несмелыми шагами подошел к тени, уже усевшейся на прежнем своем месте.

— Что вам угодно? — резко обратилась она.

— Позвольте, полковник, передать вам письмо, — протягивая руку, скромно промолвил я.

— Какое письмо? — чуть не с криком, еще резче оборвала меня фигура.

— От главнокомандующего князя Воронцова.

— Алексей, Алексей, подай скорее огня! — закричала вскочившая на ноги тень. — Полторацкий, садитесь, пожалуйста, будьте, cher ami, как дома! — несколько раз повторила засуетившаяся около меня тень, пока две свечи, внесенные Алексеем, не осветили его наружности.

В то время, как он распечатывал и внимательно разбирал не четкое, но длинное письмо князя Михаила Семеновича Воронцова, я успел рассмотреть таинственную до той минуты фигуру Петра Петровича, под прямым начальством которого мне, по воле судеб, суждено было начать боевую мою службу. Среднего роста, с рыжими волосами и того же цвета густыми усами, с лицом, сплошь покрытым веснушками, но с очень умными и выразительными главами, Петр Петрович движениями и ухватками [62] своими показался мне сразу каким-то развинченным, но вместе с тем оригинально-симпатичным. Вдоволь насмотревшись на него, я окинул глазами и остальных.

— Ярцев, — сказал Меллер одному из них, не отводя, однако, своих глаз от священного талисмана, письма князя Воронцова: — прапорщика Полторацкого приказом по полку сейчас же зачислить в 7-ю егерскую роту прибывшим к полку... С которого, mon cher, желаете числа? — обратился он ко мне, — Вы ведь, вероятно, просрочили?

— Нет, полковник, я произведен 12-го августа, а сегодня 11-е декабря, — ответил я.

— Ну, так покажите, Ярцев, прапорщика Полторацкого прибывшим в полк до определенного срока, — порешил полковник и, взяв меня за руку, ввел в соседнюю комнату. — Садитесь, пожалуйста, mon cher, хотите курить? Расскажите мне про Тифлис, про главнокомандующего, как вы доехали, как устроились. Не нужно ли вам чего-нибудь перед выступлением в экспедицию? Ведь я назначил пас, по желанию главнокомандующего, в 3-й батальон, который

идет в поход, в 7-го роту, к хорошему командиру. А обедать прошу вас являться ежедневно. Да, может быть, вам, юноша, нужны деньги? — забрасывал меня вопросами командир полка любезно, ласково, предупредительно донельзя, — Чаю, Алексей! Чаю, скорее! Вы верно еще не пили?

Через полчаса в теплой и светлой гостиной барона, за третьим стаканом чая, поданным в щегольском сервизе, я совершенно, был в своей тарелке и, Забыв прежнее смущение, откровенно рассказал Петру Петровичу о всем случившемся со мною со дня отъезда из Петербурга. В два часа ночи, узнав о моих скудных финансах и ссудив мне 200 рублей, он приветливо простился, пригласив меня назавтра к себе обедать.

“Вот оно” письмо-то от главнокомандующего, — думал я, входя к себе в комнату, где шагал еще, прозябший на завалинке, бедный подпоручик Дорошенко.

На другой день я еще не был одет, как вошел ко мне поручик Ярцев, полковой адъютант. Он приехал верхом от барона Меллера с поручением научить меня уму-разуму, другими словами подробно объяснить мне все, о чем заблаговременно я должен позаботиться к завтрашнему выступлению в экспедицию, а именно: покупкой верховой лошади, седла, полушубка и прочих хозяйственных мелочей. С его помощью я за 24 рубля купил очень хорошее с полным прибором кабардинское седло и за 35 рублей доброго коня, хотя и не кабардинского. К вечеру я уже был готов. На другой день, на рассвете, выступили мы [63] из Грозной, переправились через Сунжу и среди Алдинских хуторов соединились с Фрейтагом. Люди шли бодро и весело, но без песен и громких разговоров. Всюду царила тишина, спокойствие и некоторая торжественность. Мы вступили в пределы неприятеля — Малую Чечню. Фрейтаг на вороном коне, известном в крае своим ходом, двигался вслед за линейцами, впереди пехоты и, не выпуская из зубов коротенькой трубки, упорно хранил молчание. Где-то был он мысленно? Впереди среди виднеющихся Чеченских хуторов или позади в будуаре своей молодой жены? Я с любопытством рассматривал фигуру и осанку знаменитого кавказского бойца, так непохожего теперь на нежного поклонника прекрасного пола… Гурьбой за ним толпилась свита его, среди которой, в двух шагах от генерала, молодец-казак с крестом и бантом вез значок большой, белой, шелковой материи, с вышитым фамильным гербом его. У линейцев-казаков тоже в каждой сотне на высоких древках ярких цветов значки развевались по ветру и очень оживляли общую картину. Увидев меня, Меллер подозвал меня к себе и со словами: “поедемте со мною!” — пустился к своей колонне. Указав рукою в левую от нас сторону, он обратился ко мне: “вон 3-й батальон, ступайте туда и там найдете 7-ю роту”. Еду по назначенному направленно и, встретив на пути двух солдатиков, спрашиваю их, где командир 3-го батальона. “А вот они, ваше благородие, стоят верхом, в шинели!” — Тогда только заметил я в нескольких шагах от себя оригинальную по наружности фигуру, в длинной с капюшоном шинели, в папахе на самом затылке и с длинным хлыстом в руке. То был подполковник Фома Васильевич Костырко, ветеран кавказский, старейший куринец, командир 3-го батальона. Приложив руку к папахе, я явился ему по общепринятой форме, но к удивлению заметил, что неожиданность моего появления как будто бы смутила его. Поправив рукою папаху и при этом, почесав себе голову, Костырко несвязно проговорил: “Да, да, да, да, я уже знаю, барон уже говорил, да — да, в 7-ю егерскую роту, так, так! да, да, вон она!” — и, хлыстом указав мне направление, круто повернул лошадь и стал ко мне спиной. — “Что за оригинал?” — подумал я, подъезжая к указанной мне кучке солдат, стоявших тут невдалеке. Я впился глазами в эти фигуры, достойный удивления и той громкой славы, которая гремит о них на всем Кавказе…

Со вниманием рассматривал я их энергические лица, осанку и костюмы. Все до одного были в исправных дубленых полушубках, папахах черного дурнея, в высоких сапогах по колено, а через плечо в черных ремнях, поддерживающих поясные патронташи; у каждого в руках было со штыком ружье, которое держали они свободно, у [64] ноги. Несколько минут я любовался этими молодцами, как вспомнил, что надо прежде всего представиться командиру роты, о котором я уже так много слышал и от начальства, и от сослуживцев его, а потому, увидев отдельно стоявшего человека, в таком же полушубке, как были все остальные, и не рассмотрев, что вместо ружья у него была через плечо шашка, я обратился к нему с вопросом: “Любезный, а где здесь ротный Командир?” — “Я-с ротный командир. Что вам угодно?” — скромно отвечал мне подпоручик Греченевский. Смущенный своею неловкостью, я соскочил с лошади и, желая поправить свою невежливость, поднял руку к папахе и только успел сказать: “Господин подпоручик, имею честь…” — как он схватил меня за руку и в самых радушных выражениях стал упрекать в излишних, нигде на Кавказе не принятых формальностях и кончил свою не красноречивую, но сердечную речь предложением жить и служить по-товарищески, дружно; при этом он поспешил объявить мне, что сам полковник ему уже говорил обо мне, и что он весьма доволен и польщен назначением меня в 7-ю роту.

— Почему же вы довольны, господин подпоручик?

— Не называйте меня так, это у нас не принято: я-с Александр Григорьевич, а попросту Греченевский, — рад же очень, что вы назначены ко мне потому, что в роте нет настоящего субалтерн-офицера, то есть, если хотите, есть один, да болезненный и для службы совсем бесполезный. Вот и теперь его нет на лице. А вас-то я еще немного побаивался, — тихим голосом прибавил Греченевский.

— Меня побаивались? Почему же? — с изумлением спросил я.

— Да ведь вы, говорили мне, аристократ.

— Как? Чем? Объясните Бога ради!

— Да как же, ведь вы из Пажеского корпуса, значит сын генерала, да притом и фамилия, и связи, и все прочее… да вот хоть бы и шинель у вас с бобрами, а мы ведь голь отпетая, мы-с без образования.

Я остановил поток речей его искренними уверениями в моем к нему уважении и, тотчас же попросив его познакомить меня с его лихою ротой, как видно, доставил ему этим большое удовольствие.

Пока мы, усевшись на барабанах, болтали с Греченевским, люди 7-й роты развели костры и разбили палатки. Принесли приказание: на завтрашний день, в 8 часов утра колонна в составе трех батальонов Егерского князя Воронцова полка, восьми орудий и полка кавалерии под командой полковника Меллер-Закомельского назначалась идти жечь неприятельские аулы, следовательно, верно ожидается дело. [65]

Наступило это завтра, 15-е декабря. В этот день я узнал, что такое опасность, и сделал экзамен самому себе. Подробно помню я мое первое дело. Было еще темно, когда я вскочил на ноги, оделся, вооружился, у костра выпил стакан горячего чаю и нетерпеливо ожидал выступления нашего батальона. Скоро зашевелились все роты, выстроились и двинулись вперед, после чего, сомкнувшись в общую колонну, встретили барона Меллера. Он торопливо объехал роты,

поздоровался с ними и повел вперед, но куда? — никто определить не мог, так как кругом была мгла, туман ложился сильный, в воздухе было сыро, моросил мельчайший дождь. Впереди за Меллером и его проводниками, вслед за кавалерией, шел 1-й батальон наш, за ним 2-й и 3-й. Рассыпанные стрелки от рот 1-го батальона, с их резервами, тотчас же исчезли у нас из виду; местность была переученная, лесистая. Мы шли усиленным шагом, солдатам случалось даже бежать, чтобы не отстать от передних и не потерять направления пути. В двух шагах в сторону нельзя было разглядеть окружающей местности; знаю только, что из лесу мы шли, или полубежали, по полянам, потом опять лесом, опять полянами; на дороге нашей встречались одиночные чеченские сакли, со свежими признаками недавнего жилья в них; но мы не останавливались, спешили вперед и совершенно неожиданно наталкивались на остановившиеся впереди части. Опять марш! Двигаемся вперед то медленно, то бегом; растягиваемся по узкому пути, а, выйдя на поляну, чтобы стянуться, бежим опять со всех ног. Определить время и пройденное пространство было бы невозможно. Стало несколько светлее в воздухе, туман редел, и сквозь него иногда и кое-где различались фигуры солдат соседних рот.

Нас остановили. Батальон в ротных колоннах взял ружья к ноге и от бестолковой беготни перевел дух. Фома Васильевич Костырко, на том же, как и вчера, коне, в той же шинели, с хлыстом в руке, еще глубже насунув папаху свою, смотрел как-то сумрачно и, не обращаясь ни к кому отдельно, беспрерывно шевелил губами и что-то шептал себе под нос. Греченевский, очень сосредоточенный, обходил ряды своей роты, о чем-то внушительно толкуя в полголоса с унтер офицером. Бернард с Оболенским в соседней 8-й роте тянули из фляги водку, закусывая холодною курицей, разложенной кусками на бумаге на ротном барабане. Солдатики садились на корточки и, застилая с ветреной стороны свои полушубки, зажигали отсыревшие серные спички и закуривали тютюн в безобразно коротких своих трубочках. Не раз сквозь густой туман виднелись нам одиночные всадники, подъезжавшие к Костырке и [66] тотчас же снова исчезавшие. Но вот выстрел, один, другой, точно щелкнули орехи: звук короткий и сухой. И несколько секунд спустя раздаются выстрелы громкие и протяжные. “Ага, вот он начинает!” — послышалось в рядах. И точно: щелкнувшие орехи оказались чеченскими выстрелами из винтовок, а звук протяжный — из наших кремневых ружей, с 3-й батальон, в пол-оборота налево, вперед, бегом!” — торопясь передал Костырке подскакавший поручик Ярцев, и в мгновение роты одна за другой бежали, путались, спотыкались. Впереди раздающиеся выстрелы трудно различить: чеченские и наши слились в одно, и в ушах раздавалась общая, единая трескотня… Выбежав на ближайшую поляну, батальон развернулся фронтом, в ротных колоннах, карабинеры на правом фланге, а 9-я рота на левом, тут же вызваны стрелки в цепь, Я повел своих 7-й роты, в связи с цепью слева 8-й роты и имея с правой стороны 3-ю карабинерную роту при двух полевых орудиях.

Впереди нас увидели мы разбросанные сакли, на этот раз не пустые. Между ними замелькали тени, и при приближении нашем щелканье орешков разъяснило положительно, в чем дело. Не отвечая на первые выстрелы, мы ринулись вперед и, заняв сакли, оттеснили чеченцев в лес, примыкающий к самым хуторам. Приказывать, указывать и распоряжаться мне не приходилось. Люди мои так твердо знали дело свое, так проворно и находчиво занимали местные прикрытия и с такою уверенностью и хладнокровием осматривали свои ружья, готовясь встретить неприятеля дружным свинцовым гостинцем, что мне пришлось только удивляться и самому учиться у них. Но вот чаще защелкали пули, открыли огонь и наши, пошла потеха опасная, страшная… но опьяняющая. За цепью, шагах в полутораста сзади,

спокойно стояли резервы наших рот. Обернувшись к ним, я увидел Греченевского, посылавшего горниста взять у меня лошадь, так как она при препятствиях в занятой нами местности стесняла все мои движения. Проворно соскочил я и пешком пошел вдоль цепи. Перестрелка разгоралась с обеих сторон. Подходя к четвертой паре, я увидел пошатнувшегося солдатика: со стоном выронил он из рук ружье свое и грохнулся на землю. Подбегаю узнать, в чем дело: ранен бедный в живот пулей. Унтер-офицер Ефремов живо распорядился унести раненого к резерву. Пули щелкают близко и почти беспрерывно. Туман, немного поредевший, от порохового дыма становится еще гуще и плотнее. В десяти шагах впереди нельзя ничего рассмотреть, и наши пули пускаются во тьму, наугад, без всякого прицела. А чеченцы близко: их голоса, крики и ругань слышны внятно. “Не зевай, ребята!” — решился наконец и я вставить внушение свое солдатам… [67]

— Прапорщик Полторацкий! Где прапорщик Полторацкий? — неистово кричал в тумане голос слева.

Спешу в ту сторону и вижу бегущего ко мне штабс-капитана Бернарда.

— Бога ради, прикажите вашим левофланговым не отрываться от моих! Беда будет при отступлении! — предсказывал разгоряченный экс-гусар. — С моими стрелками в цепи князь Оболенский, не теряйте, Христа ради, их из виду.

Отдав приказание левофланговому унтеру быть постоянно в связи со стрелками 8-й роты, я повернул назад и пошел вдоль своей цепи. Солдаты зорко всматривались перед собою и, только что замечали мелькавшие в тумане тени, вскидывали ружья и пускали пулю. Со всем тем, проходя мимо самых пар, я заметил, что при приближении моем они с видимым любопытством глядели на меня, изучали мое состояние духа… На душе было жутко. Раненых прибывало ежеминутно. На глазах вот двое убито наповал, а третий Мамченко, падая возле меня с разбитою вдребезги головою, мозгами своими обрызгал мой полушубок. Я вынул платок и обтер им платье, по-видимому, невозмутимо, но сердце стучало сильно, и подлые кошки скребли его… В эту минуту я не взглянул на ближайших ко мне людей, но инстинктивно чувствовал, что все взоры их непременно устремлены на меня, и что репутация моя теперь, в эту минуту, поставлена на карту. Облегчив свои нервы, я твердым голосом и громко сказал: “Царство ему небесное, братцы!”. Человек пять сняли шапки, перекрестились, но никто не молвил слова, со всем тем я уже чувствовал некоторую победу над собою и над ними…

Направившись к правому флангу моей цепи, я наткнулся на близь стоящую карабинерную роту, среди которой в ухарской позе громко ораторствовал усатый Доможиров. Прикрытый спереди высокою саклей, он избрал себе, роте и орудиям безопасное местечко и, не принимая к сердцу положения соседних цепей наших, как у себя дома, распоряжался закуской своей. Меня поразило его равнодушное бездействие, о чем я и сказал ему, но получил в ответ: “вот при отступлении я вам покажу себя и каковы орудия мои, а теперь еще рано. Я слепо поверил ему и отошел к средине моей цепи. Подъехал Греченевский узнать, все ли у меня благополучно, и, отозвав меня от солдат, на несколько шагов в сторону, не обращая внимания на летающий рой пуль, отчетливо передал мне приказание: когда будет подан сигнал к отступлению, вести людей как можно тише и в порядке, строго следя за равнением цепи. “Поддерживать вас я буду, но вмешиваться в ваши распоряжения не стану”, — добавил он, уезжая. Через несколько времени [68] по приказанию начальника колонны вспыхнули все

окружающие нас сакли. Туман, дым пороховой и дым пожарища сгустили воздух до неимоверной степени. Ветер урывками наносил на нас тучи черного дыма, который страшно ел глаза; хаос спереди и с боков, а стрельба не умолкает, напротив крики чеченцев слышны отчетливей и гораздо ближе. Раздается сигнал отступления. Не успели стрелки мои сделать и пяти шагов назад, как раздались отчаянные крики чеченцев, и оглянувшись, мы ясно увидели громадную толпу их, с обнаженными шашками, бросившуюся вслед за нами. “Стой, налево кругом!” — громко на всю цепь закричал я, и солдаты ружейным огнем, а некоторые штыками, отбили яростный натиск, но не успели мы отойти и десяти шагов, как крик тысячи шакалов оглушил воздух, и чеченцы насели на нас снова. Впереди их, в белой чалме мулла, прыгая, как зверь, и громко взывая к сынам Магомета, собственным примером увлекал их за собою. Нас разделяло шагов 10, много 15. “Стой, стой, стой! Налево кругом, ура!” — крикнул я, бросаясь назад… “Ура, ура, ура!” — услышал я сзади себя и действительно, оглянувшись, увидел, как за мною вся цепь перешла опять в наступление и снова ударила в штыки. Исход был тот же. С быстротой улетучились чеченцы и будто провалились сквозь землю. “Вот бы теперь их картечью”, мелькает в мыслях у меня, но орудий наших не видно, не слышно, напротив, унтер-офицер Подколодный с правого фланга цепи бежит ко мне и в смущении докладывает, что 3-я карабинерная рота с орудиями давно уже отступила, и что справа у нас нет никого, а неприятель сильно наседает. Я сейчас же стянул недостающие пары к моему обнаженному флангу и приказал отступать. Оставалось до открытой поляны шагов двести, но до нее надо было пройти между пылающими саклями и плетнями. Здесь уследить за порядком отступления было крайне трудно, даже невозможно. Я запыхался и в несколько минут потерял голос. Едва горцы заметили опять наше движение, как густою толпою с пронзительным, потрясающим гиком снова ударили в шашки. “Стой, налево кругом!” — что было силы, крикнул я, но не все люди мои исполнили приказание, некоторые из них, как бы не слышав слов моих, удвоили шаги по направлению к резерву. “Стой!” — изо всей мочи, осипшим голосом повторил я команду, но и на этот раз было тоже. “Стой, а то убью”, — заревел я в исступлении, уже видя настигающих чеченцев в пяти шагах от цепи… Но паника взяла свое, и я уже предвидел роковую развязку… Не одни только передние солдаты прибавляли шагу, но и все остальные в поспешном отступлении видимо искали своего спасения. Крики мои не помогали, а во что бы то ни стало надо было остановить [69] оробевших людей. Впереди один струсивший окончательно солдатик пустился бежать. Пример этот грозил общею гибелью… Я выхватил шашку и, бросившись за ним, в несколько отчаянных прыжков через горящие головни и тлеющий плетень нагнал его и со всего маху нанес ему по плечу удар. Клинок, разрубив ремень и полушубок, как по маслу, дошел до поясницы. Удар был смертельный… Как сноп, свалился несчастный к ногам моим, и я с трудом и ужасом выдернул из него шашку, обагренную теплою, алою кровью… Мгновенно отрезвленный убийством, я был поражен; сердце во мне остановилось, но… моментально остановилась и вся цепь моя. “Ура, ура!” — раздались крики в рядах, магическою силой обращенных снова лицом к чеченцам. “Ура!” — послышался мне внятно голос Греченевского… Несколько минут спустя, я вздохнул свободно, неприятель отстал от нас, и я со взводом своим вышел из ада на поляну, среди которой стояла 7-я рота. “Ура, Полторацкому, и вам, ребята!” — подняв шапку, вскрикнул Греченевский. Вместе с командиром все люди 7-й роты были очевидцами происшедшей драмы, но приняли ее по-своему. Греченевский соскочил с лошади и бросился обнимать меня, а старые солдаты вслух повторяли: “молодец, ай да молодец!”. Мои же нервы были жестоко потрясены всем случившимся. На обратном пути к лагерю известие это быстро разнеслось. Меллер, переговорив с Греченевским, тоже подъехал ко мне и, подав мне руку, во всеуслышание

сказал: “Поздравляю вас с крещеньем в бою! Вы были совершенным молодцом и со славою понюхали пороху”. Фрейтаг также выразил мне свое одобрение. Погибший от руки моей Ковальчук, прости мне смерть свою! Потеря в трех взводах нашего батальона была свыше 40 человек. Но отчего произошла она, когда при поддержке нас действием артиллерии мы могли бы отступить благополучно? Разъяснение сначала передавалось шепотом, а потом и громко. Доможиров, как только зажглись сакли, под предлогом опасения взрыва ящиков со снарядами, заблагорассудил улепетнуть с ротою и орудиями восвояси в самую критическую минуту нашего отступления.

Снова вернулись мы в Алдинские хутора. Погода стояла холодная, днем еще сносная, но ночью, особенно перед рассветом, совсем жутко становилось. Солдатики вырыли среди моей палатки яму и с вечера наносили жар, т. е. горячие уголья, прямо на лопатах из костров своих, а во избежание угара посыпали их поваренной солью. Без всякого приказания с моей стороны они постановили между собою, “жалеючи своего прапорщика”, попеременно носить жар в яму, и я, благодаря им, мог даже спать раздавшись, как дома. Время проходило в постоянных тревогах и экскурсиях; отражали набеги кабардинцев, навагинцев и опять [70] чеченцев; местность кругом Алдинских хуторов все пустела: аулы сжигались, и их обитатели оттеснялись дальше в леса. Цель экспедиции в Малой Чечне была достигнута вполне и с незначительною потерею. Теперь черкесы были лишены возможности безнаказанно уходить обратно в летнее время в трущобы свои в Алдах, так как плоскость Малой Чечни в треугольник между крепостями Грозной, Воздвиженской и Закат-Юртом очищена совершенно от жилищ и лесов. Отдан был приказ к возвращению в Грозную и Воздвиженскую. Переправа через Сунжу совершилась благополучно, не смотря на неумолкаемый огонь чеченцев. В Грозной мы пробыли только день и двинулись в Воздвиженскую, где и пришлось коротать скучнейшее мирное время. Самое положение крепости безотрадное. За стенами к Грозной прилегает степь к Аргунскому ущелью дремучий лес, а на р. Аргуном хищное гнездо злейших врагов наших на всем Кавказе жителей Большой Чечни. За крепостные ворота выйти было нельзя из опасения быть подстреленным, как ворона; даже в мирные аулы, построенные под самой крепостью, ходить было строго воспрещено, следовательно, не только охота, но и все остальные развлечения деревни здесь были не мыслимы.

Журналы и письма приходили с оказией, и то устарелые, с двухнедельными новостями. Год подходил к концу, но впереди предвиделось мало разнообразия. Оказии или командировки частой: в лес за дровами и строительным материалом набивали оскомину самым терпеливым, а прогулки в лес бывали через день и с утра до вечера, под дождем и снегом или густым туманом. Всегда коварные чеченцы мастерски пользовались выгодными для них обстоятельствами, чтобы нанести нам существенный вред. Зная отлично незнакомую нам в их дремучих лесах местность, чеченцы подползали незаметно к нашим цепям и, увидав оплошность солдат, как хищные звери, бросались на свои жертвы и беспощадно рубили и кололи несчастных зевак. Поэтому требовалось беспрерывно-напряженное внимание, конечно, очень утомительное для солдата. В лес ходило всегда шесть рот при двух орудиях, которые сразу строились ящиком, среди которого помещались повозки; кроме того, везде в чаще расставлялись сторожа из стрелков попарно. Чинар и карагач гигантских размеров падали под ударами сотен топоров, тут же распиливались и с дружным криком взваливались на роспуски, запряженные тройками полковых лошадей. Материала требовалось много, так как Меллер строил в этом году Новые, просторные и светлые казармы на каждую роту отдельно и сам с утренней зари был на ногах и бегал по всем закоулкам крепости. [71]

III.

1847-й год. — Отпуск Греченевского и назначение меня командующим 7-й ротой. — Оклобжио. — Набег Дубы. — Смерть Сухецкого. — Мщение — тризна по нашим товарищам в ауле наиба. — Одобрение наместника. — Приезд его и свидание с ним в Сунженской станице. — Иедлинский. — Представление главнокомандующему в Грозной. — Обед; вести о Русанове. — Отказ взять меня под Гергебиль. — Отпуск. — Свидание с матерью и графом Киселевым. — Разочарование и обида. — Возвращение в Воздвиженское. — Жизнь с Ушаковым и Голицыным. — Рассказы о Гергебиле. — Смерть Миши Глебова. — Холера на Кавказе.

Первого февраля уехал в отпуск Греченевский после пятилетней разлуки с семьей, а накануне состоялся приказ о назначении меня командующим 7-й ротой; и был очень этим польщен, сожалел только, что под командой у меня не было офицеров: I'etals sent et unique dans mon genre в 7-ой егерской роте. Прейдя однажды к барону утром с донесением, я застал у него нового подпоручика — Оклобжио тут я вспомнил, что в бытность мою в Тифлисе в прошлом декабре месяце, проезжая по Головинскому проспекту, я заметил проходящего по тротуару статного, высокого, в очень оригинальном костюме: феске, широкой белой юбке, ярких шароварах и гетрах, красивого собою черногорца. Из богатой шали кушак его, за которым был воткнут дорогой с золотою насечкою кинжал, прочее блестящее оружие и общий воинственный вид чужеземца привлекали внимание встречной публики, а толпа любопытных мальчишек неотвязно следила за ним. В тот же вечер, на мои расспросы, князь Сергей Васильчиков сообщил мне, что это черногорец по фамилии Оклобжио фон Кокбург (почему было последнее прилагательное, он, впрочем, объяснить не сумел), австрийской службы подпоручик, желающий перейти на нашу службу, и что князь-наместник, в силу ходатайства о нем сестры своей леди Пемброк, вошел в Петербург с представлением о принятии Оклобжио в егерский его имени полк, в том же подпоручичьем чине. И действительно об этом состоялся Высочайший приказ, и Оклобжио явился в наш полк, но уже не в национальной своей юбке, а в мундире Куринского полка, который с непривычки он носил далеко не с тою грацией, как свой оригинальный. Оклобжио по-русски не знал ни единого слова и с командиром объяснялся на ломанном французском языке, что, однако, не помешало Меллеру не только хорошо понять, но и очень ласково обойтись с ним по той же причине, которая так резко изменила его тон при приеме и меня в Грозной, т. е. по милости собственноручно писанной рекомендация князя Воронцова. Оклобжио зачислили в 1-й батальон и в числе немногих избранных пригласили ежедневно бывать и обедать. [72]

Несколько дней спустя, утром, когда я еще лежал в постели и спокойно попивал чай, мой кейф внезапно был нарушен возгласом: “тревога!” В несколько секунд я вскочил, оделся и поскакал на площадь; моя 7-я рота, запыхавшись, уже выбиралась из низового укрепления на кручу. Что случилось? Где неприятель? Оказалось нападение на наших в лесу близь Аргунского ущелья. Выскочив с ротой за Чах-Киринские ворота и соединившись по дороге с 6-ю ротой поручика Шидловского, мы устремились на выручку нашей колонны. Приближаясь к лесу, мы отчетливо слышали ружейную и орудийную пальбу, а дальше и крики нападающих, стоны умирающих и раненых. У опушки леса мы пустились бежать по плохо наезженной лесной дороге, перепрыгивая через поваленные деревья и подготовленные кряжи. Наконец наткнулись на несколько солдат 2-й карабинерной роты и, между прочим, на юнкера Желтухина. Боже, в каком виде был злополучный юноша! Бледный, пена у рта, все лицо, замаранное порохом, он в исступлении не мог дать мне должного объяснения, бессильно

махая руками и что-то бормоча. Соседний с ним карабинер тоже не совсем ясно доложил мне, “что он (неприятель) напал на их цепь и шашками зарубил командира и видимо-невидимо карабинеров”… Дальше представилось раздирающее зрелище. Около оставшихся в живых людей 1-го взвода лежала большая груда тел, порубленных на смерть солдат 2-й карабинерной роты, а впереди их обезображенный труп храброго капитана Сухецкого. Тут же в нескольких шагах на перевязочном пункте охали и стонали раненные, все без исключения холодным оружием. Подъезжая к ним, я встретил двух конных “гаврилычей” (так зовут на Кавказе донских казаков). Они на длинной веревке волокли за собою привязанный за голые ноги истерзанный труп чеченца, бритая голова которого вся в крови и грязи, с открытыми глазами, подпрыгивала по неровностям дороги… Это было мщение над единственным трофеем неравносильного боя.

Пальба утихла, неприятеля не было ни видно, ни слышно, Он сделал свое дело и ушел восвояси. Начальник колонны, линейного батальона майор Аронов, сумрачный и совершенно растерянный, молча, как автомат, сидел на пне; не завидно было в ту минуту положение злополучного полководца. Когда, наконец, тронулась колонна в обратный путь к Воздвиженскому, впереди вытянулись донцы, прискакавшие в лес на тревогу; в поводу вели они тощих коней своих с перекинутыми через седла пяти десятью трупами павших карабинеров, а вслед за ними на руках несли куринцы еще до 30 раненых товарищей своих… Случилось это так: барон Меллер, имея часть своего полкового хозяйства на Терской линии, отправился через [73] Грозную в станицу Щедринскую, передав на время командование линейным батальоном полковнику Гюлингу. Вопреки инструкции, данной Меллером, ничего не изобретать нового в его отсутствие, Гюлинг вздумал выкинуть особенную штуку.

Вечером 26-го февраля, узнав от лазутчиков, что соседний нам наиб Дуба собрал большую партию и тронулся с нею за Сунжу, через Малую Чечню, Гюлинг, думая похвастать своею распорядительностью, отправил колонну в 6 рот под начальством неопытного Аронова в цельный, никому из нас незнакомый, участок дремучего леса, близь самого Аргунского ущелья. Чеченцы напали так неожиданно, так изумительно быстро на цепь, что большинство карабинеров не успели даже дать хоть один выстрел, а сам их капитан Сухецкий не имел времени даже сбросить бурку и обнажить шашку, как уже пал от удара по голове, смертельно раненный. Порубив почти безнаказанно до 80 солдат, чеченцы, при виде бегущего секурса с других фасов нашей позиции, бросились наутек.

Меллер с экстренной оказией вернулся в Воздвиженское; он был страшно огорчен происшествием и решился жестоко отомстить за него Дубе.

5-го марта, в 10 часов ночи, фельдфебеля принесли командирам рот приказ о немедленном выступлении, и через полчаса все были на месте сбора, за Атаги неким и воротами. Меллер лично повторил нам внушение принять все возможные меры к соблюдению во время движения полной тишины, строго запретив не только громкие разговоры, но даже курение табаку, а затем, возгласив: “с Богом”, тронулся в головной части. Солдатики набожно перекрестились и в торжественном молчании зашагали вперед. Ночь была звездная, совершенно тихая, но темная и очень свежая. Отряд ходко подвигался по открытой местности к реке Голте. Шли мы часа два, соблюдая мертвую тишину и молчание, и уже было далеко за полночь, когда голова колонны, взяв правым плечом вперед, втянула за собой весь отряд в сплошную, лесную трущобу, к гнезду, густо тогда населенному всеми жителями Малой Чечни, бежавшими сюда из разоренных нами Алдинских хуторов. Здесь движение колонны встречало

затруднения на каждом шагу, а необходимая расчистка пути для провоза орудий вызывала некоторый шум и говор людей. Тем не менее, неприятель, по-видимому, спал мертвым сном. Нигде не слышно было выстрела тревоги, кругом царила тишина и глубокое спокойствие. Медленно подвигаясь вперед, мы наткнулись на одинокую на полянке саклю. Наружная дверь ее отворилась, и пылающий в очаге огонь ярко осветил глазам нашим показавшийся на пороге силуэт старухи-марушки; молча взглянув на массу тянувшихся мимо нее солдат, она быстро [74] захлопнула за собою дверь, и мы снова очутились в глубокой тьме, но ни крика, ни жалоб, к великому удивлению нашему из сакли не раздалось, и мы беспрепятственно продолжали путь наш вперед еще персты две или три.

Остановились. Я вынул часы и с трудом разглядел черную стрелку на белом циферблате Мозеровского хронометра и увидел ее на четверти четвертого. До рассвета было близко. Через час, а может и раньше, должна была разыграться ужасная драма. Казаки спешились, пехота повалилась на землю, сырую от ночной росы. В нескольких шагах от нас, в стороне, слез с лошади Меллер и, присев на брошенной бурке, стал шептаться с переводчиком Али-Беком и другим чеченцем-проводником, наглухо закутавшим свою голову белым башлыком. Это был родной племянник наиба Дубы, подкупленный вместе с братом своим за хороший куш из кармана Меллера. Оба родственника наиба вошли в соглашение с русским военноначальником не только за деньги указать путь отряду в аул их родного дяди, но и по возможности его самого предать в наши руки. И вот в то время, как один из двух был, как аманат (заложник), арестован на гауптвахте в Воздвиженском, другой со спокойной совестью и духом вел неприятельский отряд в родное гнездо свое. И не один племянник Дубы помрачил совесть свою преступною изменой. Многие из доверенных стражников наиба и даже старуха-марушка, подкупленные Меллером, своим упорным молчанием много содействовали успеху нашего дела. Правда, нашлись и истинно преданные Дубе люди из наших же мирных аулов, поспешившие заблаговременно предупредить наиба о грозившей ему опасности; но он не поверил им, возражая, как мы потом узнали, что Меллер слишком хитрый человек, чтобы гласно собираться к нему в гости, и раз он об этом говорил, то это вернейшее доказательство, что никогда не дерзнет он показать свой нос в окружающие наиба страшные трущобы.

Итак, он мирно спал, а с ним и все население, аула, в ту роковую минуту, когда за полверсты от него таился отряд людей, жаждущий крови и мщения. Мало-помалу стало светлее. Заря занималась на востоке, и все таинственно окружающие нас предметы, деревья, кусты и люди стали яснее выделяться на сером фоне. “Марш!” — передалось из роты в роту, и колонна заколыхалась вперед. В ауле, за несколько сот сажен, слышался усиленный лай собак, но выстрела… ни одного. Казаки пошли рысью в обхват аула и скоро перешли в карьер, чтобы занять овраг в лесу. 1-й батальон широким шагом направился налево, а наш 3-й направо к самым стенам селения. Две роты 2-го батальона оставлены в резерве на месте, [75] а 2-я карабинерная и за нею 6-я приготовились ринуться в самое сердце вражьего аула. Высоко взлетела ракета и, обрисовав спиралью яркий путь свой по темно-серому небосклону, с треском разорвалась на противоположной стороне аула. С разрывом ракеты слилось громкое неистовое “ура!”, и ожесточенные, вновь наэлектризованные возбудительными возгласами своих начальников, разъяренные мстители за павших братьев, карабинеры и егеря страшною волною ворвались в аул, беспардонно на всем пути обливая все теплою чеченскою кровью… Ружейных выстрелов послышалось два, три, не больше, — видно, что в ходу был русский штык, без промаха и милосердия разивший виновных и невинных. Стоны умирающих,

застигнутых врасплох, доносились со всех сторон и раздирали душу. Резня людей всех полов и возрастов совершалась в широком, ужасающем размере…

Казаки, подскакивая к оврагу, пересекающему весь аул, увидели двух людей, бежавших к лесу. Передовому удалось вскочить в опушку, второго же достиг “гаврилыч”, уже нацелившийся пронизать беглеца пикой. “Не тронь, я русский”, — падая на колени, вскричал он. Его связали; это был за два месяца назад бежавший ночью из крепости денщик штабс-капитана Бернарда — Фрол Матвеев, служивший наибу Дубе в почетной должности его лейб-повара. “А где, говори, мерзавец, сам наиб?” — допрашивали окружающие его донцы. “А вот впереди меня бежавший, то и был сам Дуба”, — дрожа всем телом, проговорил оробевший Фрол… Но из всех жителей обширного аула вряд ли кому-нибудь, кроме одного грозного повелителя их, Дубы, удалось еще раз увидеть восходящее солнце. При самом отчаянном сопротивлении некоторых, большинство, застигнутое врасплох полунагими, стар и млад, женщины, дети и грудные младенцы, утонули в своей крови от остро наточенных штыков, никого не помиловавших, не пощадивших…

Минут десять после начала кровавых действий на улицах и в саклях, когда Меллер подъехал к расположению нашего 3-го батальона, к нему подскакал ординарец его, разжалованный в рядовые, Лауданский, с докладом, что разъяренные солдаты обеих рот не внемлют его убеждениям и наотрез отказываются кого-либо брать в плен. “Избиение в ауле, — добавил Лауданский, — идет страшное, невообразимое!” Меллер отправился к 1-му батальону, послав ординарца куда-то с новыми приказаниями.

Движимый любопытством поближе взглянуть на разгоревшуюся драму, я толкнул лошадь и пустился по улице, ведущей к двухэтажной сакле, среди аула, но жестоко был наказан за мое малодушие. Глазам моим представились картины ужасного [76] кровавого погрома, жертвы которого, в самых отвратительных позах, своей массой запрудили мой проезд по узким переулкам селения. Гнедой мой, прижав уши, во многих местах отказывался идти далее, и потребовалась нагайка, чтобы принудить его перескакивать через груды тел, валявшихся по дороге. И как изуродованы были трупы эти! Там преклонных лет старик, с глубокими ранами от штыка в живот и грудь, распростертый, почти нагой, среди улицы, успел уже остыть, а возле него, не обращая внимания на кровь, алой струей бьющую из порубленной руки своей, миловидный мальчуган лет пяти силится криком и слезами добудиться старика, вероятно, деда своего… Здесь в двух шагах от сакли, совершенно обнаженная, навзничь растянулась красивая, лет 17, девушка. Роскошная черная коса ее купалась в луже крови, а под левым соском девственной груди бросалась в глаза темная, уже запекшаяся, трехгранная рана… Несколько десятков тел, с отрубленными ногами и руками, валялись тут же в разных положениях; обезображенные лица их явно указывали на мученические истязания насильственной смерти, жестоко косившей всех без разбора.

Вижу у плетня двух человек, обнявшихся между собою. Подъезжаю к ним… Оба — мертвецы со сквозными трехгранными отверстиями в груди, поставленные в стоячее положение, как бы в приманку хищным птицам. Подло, омерзительно! Спазмы схватили горло, а слезы так и просились наружу. Вот она, неизбежная обстановка ремесла военного. В бою, честном и равном, нет убийства, потому что, убивая, подвергаешь опасности в равной мере и свою жизнь, но тут… Повернув обратно лошадь и сильно ударив ее плетью, я, не помня себя и зажмурив глаза, стремглав выскочил из этого душу раздирающего ада. Уже подскакав к моей роте, я оглянулся назад и увидел высокую саклю Дубы, пылающую со всех сторон. Она как будто

послужила сигналом к общему пожарищу, и вслед за нею со всех концов аула вспыхнули все до единой сакли. Густой черный дым и столбы огненных языков с мириадами искр понеслись высоко к облакам, затмив собою красное, восходящее солнце. Резко раздался сигнал штаб-горниста: “слушайте все!”, а затем “отступление”. Бегом стянувшиеся люди 2-й карабинерной роты приволокли за собою 9 человек пленных: трех беззубых стариков и шесть женщин, оборванных, жалких и, вероятно, сильно избитых, но единственных счастливцев, для которых Лауданскому удалось завоевать пощаду. После пребывания в ауле Дубы приблизительно около часа началось обратное движение. Не смотря на краткость срока нашего пребывания, одного часа было достаточно, чтобы вызвать общую по соседству тревогу. Беспрерывные сигнальные выстрелы по всем направлениям в густо населенной той [77] местности по северному склону Черных гор и в лесной равнине возвестили на десятки верст кругом о появлении в их пределах не званных гостей — русских. Как саранча, массами и со всех сторон слетались к месту побоища громадные толпы пеших и конных чеченцев. В цепях завязалась живая перестрелка, ежеминутно усиливающаяся в арьергарде. Минуты были дороги, надо было спешить скорее выбраться из дремучего леса на поляну, но до нее было добрых три версты. Задача нелегкая, при ожесточенном преследовании неприятеля в густом лесу, среди завалов и природных препятствий, без малейшего признака дороги. Уже не слышны были голоса людские: треск ружейной пальбы и залпы батареи картечью заглушали командные слова, и всякий инстинктивно шел и действовал по собственному внушению или по примеру других. “В арьергарде очень плохо!” — подскакивая к полковнику, доносит один из его ординарцев. “Капитан Доможиров! — писклявым голосом кричит Меллер: — стяните вашу роту и ведите ее в арьергард!” Отчетливо долетали крики “ура” 1-го батальона. Опять несется ординарец с известием, что чеченцы с остервенением бросаются в шашки на арьергардные роты, и что два фейерверка у орудий убиты из пистолетов. “ Подпору чик Руденко, ведите один взвод ваш на помощь 1-му батальону!” — раздается снова суетливая команда Меллера. Но не прошло и пяти минут, как прискакавший из арьергарда Ярцев докладывает барону, что в 1-м батальоне очень большая потеря от холодного оружия, и что два наши орудия уже были захвачены неприятелем... “Подпоручик Мерклин, ведите бегом ваш взвод в арьергард, скорее, скорее!” — засуетился опять Меллер, хватая из левой цепи все, что ближе попадалось ему под руку. Мерклин подбежал к арьергарду в ту минуту, когда два орудия, влекомые за колеса чеченцами, в третий уже раз переходили из рук в руки. Медленно подвигались мы лесом, ежеминутно останавливаясь, чтобы не оторваться от арьергарда, где, не смотря на громадную потерю в людях, роты 1-го батальона всецело на плечах своих совершали неимоверно трудное отступление. По несколько шагов делая вперед, они на пронзительный гик свирепых чеченцев снова с отчаянным “ура” бросились назад в штыки. Жестокий бой уже длился около двух часов, убитых и раненных выносили много, и все чаще и чаще. Две сотни донцев посланы со специальным назначением поднимать тела убитых и подвозить раненных, беспрерывно выбывающих из строя, со всех фасов. У меня пока потеря была не велика. Но вот просвет, уже проглядывает поляна. Вот, наконец, кавалерия, авангард и головы цепей уже выбрались на простор. Горцы в отчаянии, сознавая наше спасение, с напряженными усилиями лезут в арьергард и дорого [78] продают жизнь свою. В свою очередь и куринцы дерутся стойко, отлично; ни одна часть в самые критические минуты не показала тыла. Когда на чистую поляну вытянулась вся левая цепь, оказалось, что единственный ротный командир в 3-м батальоне был я, так как все прочие с взводами были посланы в арьергард, и потому тотчас же я принял над нею начальство. Меллер неоднократно вертелся около меня и поощрял все мои распоряжения. Он видимо переживал тяжелые минуты и старался казаться более спокойным,

чем был на деле; несколько минут назад еще нельзя было ручаться за благополучное отступление арьергарда, но теперь, хотя рыло в крови, но наша взяла! Однако горцы не унимались, и когда отряд выбрался на поляну из леса, пеший неприятель сменился конным, большими партиями. Со всех сторон, как пчелы, они окружили колонну нашу и, поочередно подскакивая к цепям на полружейный выстрел, разряжали по нас свои винтовки. Вот мчится ко мне горсть всадников; один из них на темно-сером коне пригнулся к передней луке, из чехла выхватил винтовку и, грациозно ловко перекидывая ее со стороны на сторону, стремительно во весь карьер несется вдоль всей моей цепи. Батальным огнем, на удалую, провожают молодца все семь взводов наших, но он, целый и невредимый, вихрем летит вперед к авангарду и, завернув коня вправо, врезывается один в средину ошеломленных его дерзостью донских казаков. Ловко, отважно и лихо всадник сделал между ними обширный вольт и тем же путем не далее, как на 20 шагов от цепи, скачет снова мимо нее, не обращая внимания на возобновившуюся по нем пальбу, а только, поравнявшись со мною, дает, наконец, выстрел и сам невредимо и безнаказанно сворачивает скакуна своего к восторженно встретившей его толпе чеченцев. Но пуля этого сорвиголовы джигита не пропала даром, а вершка на два от моего левого колена глубоко засела в живот моего бедного гнедого. Он ткнулся передом к земле и отказался двигаться дальше; пришлось соскочить с него и, сняв седло и уздечку, двигаться дальше пешком; так как это было за 15 верст от Воздвиженского, то я сильно стал роптать на судьбу, когда Меллер, очевидец всего этого, прислал мне лошадь одного из раненных казаков, на которой я и добрался с грехом пополам в крепость.

Неприятель, утомленный, наконец, безуспешным преследованием, мало-помалу отстал, и Меллер остановил отряд для отдыха и перевязки раненных, причем приказал собрать сведения об общих потерях. Вся убыль наша: обер-офицеров ранено двое: Мансурадзе в голову и Шидловский в шею, нижних чинов убито 32, ранено 144 и без вести пропало 6; но, не смотря на это, Меллер ликовал, что отомстил Дубе и нагнал холоду на остальных горцев. [79]

По сведениям лазутчиков, отважный джигит на сером коне, ворвавшийся в самую средину “гаврилычей” и ранивший затем моего гнедого, был некто иной, как знаменитый наиб Саиб-дула, ближайший сосед и друг Дубы. Этот наездник и богатырь не впервые оказывал чудеса храбрости, чем и славился в Большой и Малой Чечнях и высоко ценился самим Шамилем.

Много было рассказов и анекдотов после нашего набега. В иных из них наивно выступала незнакомая до той поры натура некоторых товарищей. Так один из них, Кавешников, с особенным юмором повествовал, как один карабинер в сакле наиба второпях рванул с полки жестяной ящик-сахарницу, вероятно, из русского погребца и рассыпал на пол хранящиеся в нем до тридцати серебряных рублей. Карбованцы, конечно, рассеялись по всей сакле, и толкавшиеся тут солдаты жадно бросились подбирать их.

— В кармане у меня уже две недели не было ни гроша, — говорил Кавешников, — но хватать разбросанные рубли хотя и представляло громадный соблазн, но на глазах солдат мне казалось слишком постыдным, и я решился в ожидании их ухода только одну монету прикрыть ногою, крепко нажав ее ступней. Как только последний из мародеров оставил саклю, я поспешил нагнуться и взять из-под ноги заветный целковый. Но каково удивление мое? Разбойники ухитрились и его стянуть из-под подошвы совершенно для меня незаметно.

— Однако, как не стыдно было вам, Кавешников, — вмешался Швахгейм: — допустить в ауле зверское избиение неповинных женщин и детей? Ведь вы могли многих из них спасти.

— Нет, трудно было обуздать злобное настроение солдат. Они не слушали ни просьб, ни приказаний и, опираясь на разрешение командира мстить за убитых товарищей, не давали никому спуску. Вскочив в одну саклю в дальней части аула, около оврага, я застал молодцов в разгаре работы штыками. Они перекололи там мужчин и женщин, оставались в живых одни лишь дети. Дай, думаю я, спасу этих малолетков, поистине жаль мне стало невинных душ, и тут же схватив двух ребятишек, лет пяти, шести, вытащил на улицу и, не доверяя их солдатам, повел обоих сам за руки. Что же вы думаете? Кричать пострелята благим матом. Я их утешать, говорю — молчите, вам ничего дурного мы не сделаем, чурек кушать дадим, а они орут еще пуще. Не кричите, все якши будет, говорю им, но ничего не берет. Кажется, дуракам и по-русски, и по-ихнему толковал — ничего не вышло. Ревут, как будто их режут. Как ни жаль их, но ничего не поделаешь. Подадут сигнал отступления, надо собирать людей, а тут возжайся с этим добром... [80]

— Ну, что же вы придумали, Кавешников? — нетерпеливо спросил Руденко.

— Да что же оставалось мне делать? — как бы оправдываясь, замялся мягкосердый поручик. — Жаль их от души, но помочь нет возможности, все кричат громче и громче... Да что, господа, я пред вами покаюсь. Взял их обоих за шиворот, потряс немного, стукнул одного об другого и швырнул в кучу. Бог с ними!..

Несколько дней спустя, за обедом у Меллера, явился к нему начальник колонны из Грозной и передал конверт на его имя. Барон сорвал печать, просиял и, не скрывая полного удовольствия, прочел нам громко его содержание. Письмо было от князя наместника, переполненное выражениями самой искренней благодарности, самых лестных похвал, как самому барону Меллер-Закомельскому, так и всему полку своему за дело 6-го марта. Независимо от частного письма главнокомандующего, прилагалось и форменное извещение начальника штаба о назначении его сиятельством, помимо ожидаемого представления к наградам за отличия, 128 знаков отличия военного ордена для раздачи нижним чинам всего отряда. К сожалению, большей половины из них пришлось навешивать его в лазарете на койках.

Дни стояли хорошие, теплые, подошло и Благовещение, когда по поверью “даже птица гнезда не вьет”; у нас в тени было 16° по Реомюру. Войска отдыхали. 7-го апреля вернулся мой сожитель и отец-командир, Греченевский, и я сложил с себя свое высокое звание. Праздник Пасхи прошел очень скромно; из офицерства я сошелся еще с вернувшимся из отпуска майором Ушаковым, бывшим пажом, выпущенным из корпуса в 1839 году, в одно время с Лисаневичем, адъютантом князя Воронцова. Ушаков был замечательный оригинал, но умный человек и отличный офицер, заявивший свои военные доблести во всех делах на Кавказе с 1844 года. Особенно оказал он мужество в Даргинской экспедиции, считающейся эрой войны кавказской. Он был тогда тяжело ранен в бедро пулей, получил чин майора и уехал поправляться к себе в деревню, в Симбирскую губернию, а также в Петербурге. Теперь он вернулся, и мы довольно близко сошлись с ним. Редкий вечер мы со скуки не устраивали партии, но постоянным партнером нашим была далеко не симпатичная личность, Вадковский. Бывший капитан гвардейской артиллерии, этот господин, в итальянской опере, в присутствии государя императора, дал пощечину совершенно неповинному Саве Яковлеву, известному богачу-золотопромышленнику. Через три дня, когда выяснилось, что Вадковский всячески отклоняется дать требуемое Яковлевым удовлетворение, он был разжалован в рядовые, но в уважение государственных [81] заслуг его тестя, светлейшего князя А. С. Меншикова, в тот же

день произведен в прапорщики и выслан на Кавказ для выслуги полного помилования. Когда-то красавец собой, Вадковский в мое время уже очень обрюзг, опустился, но не прочь был сильно похвастать и присочинить...

3-го мая, после прогулки по Сунженской линии, мы выступили к Казакичу, где кое-как устроились бивуаком и ночевали под открытым небом, даже без палаток. На другой день вестовой требует меня к полковому командиру.

— Главнокомандующий вызывает меня, — объявил мне барон: — в станицу Сунженскую и добавляет в своей записке, что если Полторацкий в здешнем отряде, то привезти его с собою. Итак, едемте сейчас же!

Я бросился одеться и через пять минут был уже верхом у ставки Меллера, где конвой из полусотни казаков с неизменным спутником Али-беком ожидал его выхода. 12 верст до Сунженской прорысили мы менее чем в час времени и около 4-х часов по полудни слезли с лошадей у крыльца дома знаменитого командира Сунженского полка, Слепцова, у которого временно помещался князь Воронцов. В первой зале мы застали массу народа, а также и самого хозяина дома. Меллер был немедленно приглашен в смежную комнату к наместнику, а я, к своему удовольствию, успел познакомиться с храбрейшим из храбрых, Николаем Павловичем Слепцовым. Трудно представить наружность симпатичнее, открытее и энергичнее этого рыцаря без страха и упрека. Смуглое и выразительное лице его оживлялось блестящими черными глазами, внушающими полное доверие к его честности, решительности, соединенным вместе со скромностью красной девушки. Слепцов в несколько минут обворожил меня. Не прошло и четверти часа болтовни моей в зале со старыми знакомыми: Дондуковым, Васильчиковым, Ираклием Грузинским, Щербининым и многими другими, как дежурный адъютант князя, Лисаневич, пригласить меня к его сиятельству, занятому разговором с Меллером. Главнокомандующий при входе моем в его комнату встал с дивана и, сделав ко мне на встречу несколько шагов, обнял меня и осыпал самыми добрыми, самыми ласковыми выражениями высокого благоволения за мою службу.

— Полковой командир твой, барон Петр Петрович, — сказал князь, — так лестно отзывается о тебе, мой любезный Полторацкий, что я с особенным удовольствием спешу повторить обещание скоро взять тебя в мои адъютанты, а в настоящее время позволь мне выразить мою полную благодарность за отличную службу твою. — И при этих словах снова обняв меня, князь пригласил садиться, чем даль мне возможность из уст его [82] услышать личное мнение о громадной пользе и важности для общего дела погрома 6-го марта.

С особенным интересом расспрашивал князь у Меллера о мельчайших подробностях боя, особенно о сумасшедшей отваге и дерзости наиба Саибдулы.

— А ты, любезный Полторацкий, видел его? — ласково обратился ко мне Михаил Семенович.

— Но только видел, ваше сиятельство, — поспешил за меня ответить Меллер: — по Саибдула из винтовки убил под Полторацким лошадь.

На это главнокомандующий выразил мне свое сожаление и тут же предложил Меллеру на будущее время принять за непременное правило частно сообщать ему об убитых офицерских лошадях своего полка, за которых он будет высылать на имя командира по 60 рублей за каждую.

— Надеюсь, — встав на ноги и щелкнув шпорами, добавил главнокомандующий: — что ты, милейший друг Полторацкий, не откажешь мне сделать честь откушать с нами.

Окончательно изумленный не только лестным приемом, но признаюсь даже слишком утрированною любезностью мастистого старца в отношении безусого прапорщика, я почтительно поблагодарил его сиятельство и, раскланявшись, поспешил выйти в общую залу.

— От-то мне очень приятно с вами познакомиться! — радушно пожимая мне руку, особенным, ломанным с сильным польским акцентом и странным оборотом речи атаковал меня есаул линейного казачьего войска, Моздокского полка, — От-то, я Иедлинский! — отрекомендовался оригинальнейший из кавказцев, о котором я только знал понаслышке.

После получаса оживленного и самого забавного разговора с моим новым знакомым, дверь из кабинета отворилась, вошел князь Михаил Семенович в сопровождена Меллера, и все мы уселись за стол. Обед мне в этот день показался особенно вкусным, и я не доставил случая гостеприимному хозяину меня особенно потчевать, хотя и за столом главнокомандующий с полным радушием и вниманием неоднократно обращался лично к моей особе.

Часу в 10-м вечера мы выехали обратно к Казакичу, откуда завтра же должны были двинуться в штаб-квартиру полка, Воздвиженское, а к 15-му маю всем полком в Грозную для встречи его сиятельства, шефа нашего. Я твердо решил, во что бы ни стало, упросить главнокомандующего взять меня в Дагестанскую экспедицию, а потому, когда после 15-го миновались все парады, приемы и смотры, я через князя Сергея Васильчикова просил разрешения лично представиться его сиятельству. С [83] замиранием сердца явился я в его приемную. Князь встретил меня очень милостиво, но не так отнесся к изложенной мною просьбе; он выставил все препятствия к прикомандированию меня к войскам, назначенным в состав Дагестанской экспедиции, так как всякий временный перевод с одного фланга кавказской линии на другой влечет, по мнению князя, один только вред.

— Что же касается назначения тебя, любезный Полторацкий, — добавил князь с неизменной своей улыбкой, — в мою свиту, то оно в настоящее время совершенно невозможно, в силу уведомления, только что полученного от военного министра, о высочайшем замечании, что при мне состоит в прикомандировании слишком большое число лиц.

— Но что же буду я делать здесь? — невольно вырвалось у меня, причем голос мой задрожал, и на глазах навернулись слезы. — Здесь, ваше сиятельство, на левом фланге не предстоит теперь никаких военных действий, кроме гарнизонной службы под палящим солнцем.

— А в таком случае, мой милый, поезжай к своим в отпуск, я с удовольствием отпущу тебя на летние месяцы, под предлогом болезни твоей матушки, — порешил главнокомандующий, снова ласково обняв меня.

Соблазн увидеть семью, друзей, а к тому же продаться всласть моей страсти к охоте, был слишком велик, а потому, от души выразив его сиятельству мою признательность за милостивое разрешение, я поспешил к барону Меллеру с докладом о результате моего представления.

Накануне выезда наместника из Грозной в Дагестан через Кумыкскую плоскость, я снова удостоился приглашения обедать, причем князь повторил мне уверение в своем расположении и любезно поручил кланяться от него моему дяде Павлу Дмитриевичу

(Киселеву) и передать ему, что он очень и очень мною доволен. Приказ о моем отпуске уже состоялся по отдельному кавказскому корпусу, и я мог ехать в края родные.

За обедом у главнокомандующего услышал я о странном приключении с бежавшим весной из Воздвиженской в горы прапорщиком Русановым. По-видимому, его благородию очень-то повезло у Шамиля на службе, так как на прошлой неделе казаки укрепления Ачхая, преследуя незначительную партию горцев, напавшую на их скот, захватили в плен, умышленно отставшего от чеченцев, оборванного в черкеске всадника, назвавшего себя русским офицером. То был Русанов, немедленно препровожденный за конвоем сюда на гауптвахту. Главнокомандующий полюбопытствовал его видеть. Арестованного дезертира приводили к нему, и сам князь Михаил Семенович его расспрашивал о причинах, побудивших его к такому позорному [84] и пошлому проступку. Свидетели говорили, что ответы Русанова были непомерно глупы и несвязны, и вообще сам прапорщик производил жалкое впечатление. Замечательно сообщенное мне известие, будто князь-наместник написал письмо государю с изложением всеподданнейшего ходатайства: “Прапорщика Русанова не в пример прочим, без предания военному суду, лишить эполет и офицерского звания, возвратив на год или два в кадетский корпус, где и наказать публично розгами, как мальчика, но заслуживающего серьезного к нему применения, как к офицеру, общих военно-законоположений”.

Так и осталось неизвестным, какая воспоследовала на это высочайшая резолюция, а только прапорщик Русанов в то же лето умер от холеры, посетившей его на Грозненской гауптвахте.

Переезд из Грозной в Петербург совершился без особенных приключений, но здесь ждало меня великое разочарование. Мать, не предупрежденная мною о приезде, очень удивилась ему, и когда я бросился обнять ее, первым с ее стороны вопросом было: “Каким образом так скоро уже вернулся ты? Верно с тобою случилось что дурное?!”. Все уверения мои, что главнокомандующий князь Воронцов остался мною очень доволен и сам мне предложил съездить в отпуск для свидания с семьей, очень слабо убедили мать, и на лице ее — увы! — прочел я несчастье увидеть сына целым и невредимым, а только изумление и недоумение. Никогда и прежде я не увлекался верованием в любовь матери, как существовала она, например, у ней к Алеше, но такого холодного приема я, все-таки, не ожидал. У дядюшки Павла Дмитриевича прием был не лучше. Видно, мать его предупредила и в нем также возбудила недоверие к моим словам, потому что, когда я передал ему во всех подробностях обещания и поручения к нему князя Михаила Семеновича, он тоже с сомнением повторил тот же вопрос, что задавала мне и мать: “А почему же Воронцов не захотел тебя взять под Гергебиль (в Дагестан)?”. При этом Павел Дмитриевич посвятил меня в полученные от главнокомандующего донесения на высочайшее имя о неуспешной осаде неприступная в Дагестане аула, о громадных потерях в делах и эпидемических болезнях, свирепствующих в действующих войсках, и о малых надеждах довести экспедицию до желаемого конца в текущем году. “А тебя-то там и нет!” — как бы с упреком добавил Павел Дмитриевич, — Так и от него но удостоился услышать я слова одобрения за мою, хотя кратковременную, но все же добросовестную службу на Кавказе. “Нет пророка в своем отечестве”, — подумал я, прощаясь с дядюшкой. [85]

Дома, при одном разговоре ничего не смыслящих резонеров о последнем поражении наших войск в Дагестане, где будто бы, бросив осаду Гергебиля, au sais-aller, подступили уже к другому аулу — Салты, моя матушка, как бы скорбя за сына своего, не участвовавшего в этой неудачной, но очень опасной экспедиции, при посторонних свидетелях так многозначительно

на меня взглянула, что я, не имея возможности провалиться сквозь землю, выскочил из ее гостиной, убежал в глубину сада и там, каюсь, залился горючими слезами. Нервы были уж очень натянуты. На другой день я уехал в Вельможье, где весь остаток отпуска предался своей страсти к охоте и частым посещениям милейшего Константина Марковича Полторацкого в Грузинах.

По возвращении в Воздвиженское, я поселился с Ушаковым и Голицыным. Жизнь потекла с прежним однообразием, но с несравненно большими удобствами. Майор очень любил поесть, Козьма его был отличным поваром, и мы поэтому продовольствовались на славу. Для большего удобства совместной жизни, Ушаков выпросил у Меллера перевести меня из 3-го в его 2-й батальон, в 4-ю егерскую роту, к трижды раненному Руденке. Кроме Руденки, остальные командиры рот были следующие: князь Голицын, подпоручик Дробышев, подпоручик Вельяминов, а субалтерн-офицеры — Кирхман, Неелов, Муханов, Вальбек, Юргенсон и я.

В разговорах с Ушаковым подробно узнал я о всех неудачах, болезнях и очень чувствительных потерях в Дагестане, из которых самою главною, невознаградимою была смерть Миши Глебова, убитого в Гергебильских садах, при штурме аула, наповал. Этот честный храбрец и погиб славно, как подобает герою. Сидя верхом перед батальоном молодцов ширванцев, Глебов под градом пуль блестящим хладнокровием подавал изумительный пример отваги, пока внезапно не рухнулся с коня на руки до безумия его полюбивших солдат. Со смертью Глебова, Кавказ лишился одного из храбрейших своих детищ.

Все усилия начальствующих лиц под Гергебилем ее довели дела до желаемых результатов, так как в довершение всех неожиданных препятствий от климатических условий и эпидемии выяснилось, но, к сожалению, слишком поздно, что без крепостных, большого калибра орудий и мортир бомбардирование аула было невозможно. Гергебиль представлял необычайную твердыню. Весь аул был расположен по отвесным террасам, амфитеатром, Все отчаянные попытки штурмующих колонн разбивались, как мыльные пузыри, оставляя за собою лишь одни [86] потоки бесполезно пролитой крови. В одной из таких атак сложил голову дорогой Миша Глебов, в другой лишился ноги Юрий Гагарин, и сколько еще храбрецов поплатились жизнью. Между прочим, при одной из более других удавшейся атаке, где самурцы и апшеронцы ужо достигли едва ли не пятой террасы и с бешеной отвагой бросились на штурм ближайших сакель, — крыши под ними провалились, и они моментально все без исключения рухнули во внутрь подземных мазанок, где и нашли ужаснейшую смерть на кинжалах ждавших их тавлинцев. Тогда обратились всеми силами на соседнее большое же селение Салты, и это удалось вполне и очень быстро. Роспуск Дагестанского отряда был необходим по многим причинам: по безуспешной трате сил, болезни князя Михаила Семеновича, который за последний период экспедиции очень страдал глазами, и, наконец, по случаю появления страшной гостьи — холеры, которая немало вырвала жертв и на левом фланге в летние месяцы.

В. Полторацкий.

(Продолжение в следующей книжке)

Текст воспроизведен по изданию: Воспоминания В. А. Полторацкого // Исторический вестник, № 1. 1893

ПОЛТОРАЦКИЙ В. А.

ВОСПОМИНАНИЯ

(Продолжение. См. “Исторический Вестник”, т. LI, стр. 39.)

IV.

Князь А. И. Барятинский. — Кунаки кабардинцы. — Лагерь на Гойте. — Жаркие дела. — Голен-Гойта. — Ушаков, Вадковский и Голицыны. — Вечера у князя Барятинского, ужины и анекдоты (Иедлинский и Волоцкой). — Производство меня в подпоручики. — Карьера Тихонова.

В ноябре в Воздвиженское прибыли кунаки наши — Кабардинский полк с новым командиром своим, флигель-адъютантом князем Барятинским. Красавец собою, богатый, знатный, с громадными связями при дворе, он уже понюхал пороха на Кавказе в 1844 и 1845 годах в Дарго, где и получил георгиевский офицерский крест, командуя тогда 3-м батальоном Кабардинского полка, когда граф Бенкендорф командовал 1-м нашего полка. Оба они, как гласила молва, вели себя примерными молодцами и недаром были украшены белыми крестами за штурм ворот в Андию. Бенкендорф, тяжелораненый, лечился за границей, а Барятинский, успевший поразить по неосторожности сердце особы, слишком высоко стоящей, обречен был снова воевать на Кавказе, что, впрочем, тогда в его лета (31 год) при условии стоять во главе такого полка, как полк князя Чернышева, Кабардинский, далеко не внушало сострадания. Итак, 17-го [368] числа, на улицах нашей крепости послышались незнакомые песни удалых полков Кабардинского, Грузинского Гренадерского и линейных казачьих.

Все начальствующие лица отдельных частей, начиная с генерала Фрейтага, собрались у барона Меллер-Закомельского, а каждому из нашей братьи пришлось принимать и угощать у себя офицеров соответствующих номеров частей войск. Одной с нами бригады, Кабардинский полк состоял с незапамятных времен в тесной дружбе, в кунакстве, с куринцами; по законам, усвоенным долголетними на Кавказе обычаями, он валил к нам, или мы к нему, но как в гости, а совершенно, как в собственный дом, где всякая принужденность или церемония не могли найти себе применения. В казармах они находили приготовленную водку и сытый обед, а солдаты делились не только чаркой своей, но и койкой. Никому на Кавказе и в голову не могло прийти поступить иначе. Узы тесной дружбы и взаимного уважения кавказских полков достигают здесь чрезвычайных размеров. Сколько раз одна фраза: “Куринцы, на нас смотрят кабардинцы!” вызывала на самые отважные подвиги, или: “Кабардинцы, поддержите братьев куринцев, им плохо!” — и кунаки лезли на верную смерть, но грудью своей выручали гибнущих. С другой стороны, и соревнование между этими двумя полками было невероятное, неслыханное! Весною, при посещении главнокомандующим полкового лазарета в Хасав-Юрте на Кумыкской плоскости, рядовой Кабардинского полка, тяжело раненный двумя пулями в живот и голову, при приближенна к нему князя Воронцова, собрал последние силы, приподнялся на койке и, с угасающим огнем в глазах, отчетливо проговорил: “ваше сиятельство... совсем умираю... будьте отцом родным, скажите и утешьте на прощанье, мы,

кабардинцы, но ударили лицом в грязь перед куринцами?!". И не успел еще растроганный князь выйти из лазарета, как страдалец в последних судорогах закрыл глаза на веки.

Итак, после прихода кабардинцев отряд в состав девяти батальонов пехоты, двух пеших и одной казачьей батарей и линейной кавалерии, по дивизиону из полков: Гребенского, Моздокского, Горского и Владикавказского, 18-го числа ноября, под начальством генерал-лейтенанта Фрейтага, потянулся по знакомой уже нам дороге к реке Гойте и после четырехчасового движения занял позицию близь реки этой, на Черной поляне, кругом окруженной дремучими лесами. Целью настоящей экспедиции была вырубка лесов, соединение полян широкими пробками и истребление ближайших хуторов и аулов. Не обращая ни малейшего внимания на джигитовавших одиночных всадников, батальоны быстро разбили лагерь и правильными линиями [369] палаток обозначили четыре фаса позиции по обеим сторонам реки Гойты.

С 19-го начали мы систематическую рубку то под начальством князя Барятинского, то под начальством Меллера. Каждый раз убыль в колоне доходила до 60, 100 человек, потому что чеченцы дрались с остервенением и дорого уступали каждую пядь земли. Из всех стычек более серьезная была 21-го ноября, когда барон Иполит Вревский с колонною, ему порученною, вздумал открытою силою, среди белого дня, бросив рубку леса, направиться прямо в лоб на батареи, сооруженные неприятелем для бомбардирования нашего лагеря. Отважный полковник попал прямо под артиллерийский и перекрестный огонь с обеих опушек вновь прорубленной просеки; в полчаса времени, не завладев, конечно, ни одним неприятельским банником, Вревский вынес на носилках убитыми и ранеными более 200 человек, нисколько при этом не деморализовав неприятеля, так как он в тот же вечер в 11 часу открыл канонаду по лагерю. Помимо потери в людях и лошадях от ночной артиллерийской стрельбы, мы, злополучные, то есть артель наша (Ушаков, Голицын, Вадковский и я), потеряли еще в тот вечер жаренную индейку! Ее нес с походной кухни к нам на стол денщик мой Иван Ильич, но в это время над его головой с шумом и треском пронеслась огненная граната, он испугался и вместе с блюдом бросился прямо в грязь, наземь. Потеря эта оказалась особенно чувствительней для Ушакова.

Ее дешево досталась нам так же новая позиция в неприступном ауле Голен-Гойта. Аул этот был расположен по обоим берегам реки, в местности очень крепкой, населен он был самыми отважными джигитами Малой Чечни и усилен еще за последний год водворившимися в нем жителями из разоренных Алдинских хуторов, что составляло вместе до 2-х тысяч отчаянного люда. Чеченцы долго держались, дрались отчаянно и каждую саклю защищали с остервенением, но, в конце концов, должны были уступить и отретироваться на левый берег реки, куда Фрейтаг, не смотря на усиленный огонь неприятеля, переправил половину отряда. Куринцы ворвались в аул на левом берегу, и работа штыками пошла на чистоту. Этой минутой воспользовались батальоны Тенгинские и Грузинский Гренадерский, выдержавшие во время нашей переправы весь отчаянный натиск в упор их бившего неприятеля; они бросились так же по грудь в воду, молодцами вскарабкались на крутой берег с фронта и одновременно с подоспевшими справа кабардинцами, с трех сторон, ужасающею, все истребляющею лавою, врезались в самую средину гнезда чеченского. Не прошло и часа, когда обгоревшие остовы сакель и на земле почерневшие густые лужи крови и всюду [370] разбросанные людские трупы напоминали о так недавно существовавшем богатом ауле Голен-Гойте... Потеря неприятеля

была громадна, но и наша не пустая. Убитых офицеров 4, раненых 21, нижних чинов убито 168, ранено свыше 300.

После этого дела, с двумя батальонами Навагинского, двумя Тенгинского и одним Грузинского Гренадерского полка, под начальством барона Вревского, было приступлено к истреблению аула Саиб-дулы, расположенного в верховьях реки Урус-Мартана. И в этом случае колонна приступом взяла аул, всо в нем истребила и сожгла до основания. Но отважный джигит из джигитов, наиб Саиб-дула, не так легко продал гяурам свою резиденцию. Ускользнув сам из рук победителей, он заставил их на руках вынести много убитых и раненых, а в довершение, при отступлении, ударив в шашки на арьергардные Навагинские роты, принудил их в страшной панике дрогнуть, бросить раненых и до 20 человек, отрезанных в плен. В этот день всей убыли было до 400 человек, одних офицеров 16. Причину этой крупной потери объясняют действительно очень крепкою позицией аула, но бесспорно при этом есть и другая: необычайная и неуместная медленность барона Иполита Александровича Вревского. Прекрасных нравственных качеств, высокого образования и самых честных принципов, отличнейший штаб-офицер этот справедливо приобрел присужденное ему на Кавказе название Фабия Медлителя. То, что князь Барятинский делал в 10 минут, Меллер в 5 минут, барон Вревский целый час. Сторонники Вревского уверяют, что он поставлен был в грустную необходимость действовать медленно, потому что навагинцы, не раз уже потерпевшие поражение, легко поддавались панике, влекущей непременно к самым гибельным последствиям. У Барятинского, впрочем, тоже была слабость понапрасну маневрировать под выстрелами, что по отношению такого геройского полка, как Кабардинский, было по меньшей мере непростительно, но князь несколько раз при мне высказывал мнение, что если в деле мало убитых и раненых, то в высших сферах в Петербурге подобного дела не признают за действительно существовавшее. К сожалению, в этом взгляде князя была своя доля грустной правды.

Между тем лагерная жизнь шла своим чередом. Ушаков еще в Воздвиженском соорудил отличную, очень просторную двойную палатку, с подбоем внутри красным сукном, деревянным полом и стеклянным окном. В ней мы разместили три наших железных кровати, а посреди складной обеденный и вместе ломберный стол, на котором мы в свободные минуты деятельно подвизались в вист. Толстый Вадковский, хотя не приходился по душе никому из нас, но, в силу привилегии состоять [371] в разряде “несчастных”, нахально втирался к нам каждый день, окончательно завладев правом бессменного четвертого партнера.

Все мы не особенно церемонились с Иваном Яковлевичем, но Ушаков уже чересчур откровенно выказывал ему свое неуважение. Как-то играя с ним против Голицына и меня, майор, проверяя онёры, спросил своего партнера, была ли у него фигура. “Одна, моя собственная!” — сострил Вадковский. — Э, любезный, это не онер!” — отрезал Ушаков к невольной апробации присутствующих...

Во вранье своем Вадковский нигде не унимался. Один из свидетелей передавал нам, что, будучи в Грозной в доме Шелиховского (инженера), он во всеуслышание рассказывал, что у нас в Воздвиженском до того опасно, что вчетвером никогда не составляют партии в вист, а всегда приглашают в запас еще и пятого. “Для чего же?” — наивно вопросили дамы, — “А потому, что дз... мимо уха: думаешь — муха, нет — пуля, братец!.. И одного в живых как не бывало!”. Если за 30 верст так практикуется доморощенный барон Мюнхгаузен, каково же он изощрялся в Петербурге. И то по дороге в отпуск после экспедиции 1847 года он на каждой

станции рассказывал смотрителям и проезжающим о страшных ранах нанесенных ему холодным оружием, причем, не зная меры, довирался до того, что клятвенно уверял их, что удар кинжала в бедро был так силен, что вместе с рукояткой вынули лезвие из другой стороны туловища. “Да, братец, — кончал он свою наглую ложь: — я изранен, как решето, показал бы, да лень раздеваться”.

Другой наш партнер, Голицын, тоже часто возбуждал в нас глубокое удивление. Так, между прочим, при выступлении ему потребовался отдельный чемодан для вмещения в него одних памятных книжек, всех тщательно переплетенных с золотыми обрезами и вывесками различных содержаний: “обще-расходная”, “приходо-расходная”, “карточная”, “туалетная”, “экстренная”, “правила для прислуги” и т. д. Вся эта библиотека была накрыта сверху отдельного большею, чем все прочие, бархатом обтянутой книгой, с заглавием: “мой дневник”, который, не смотря на все невыгоды и препятствия, каждый вечер [372] являлся на сцену, и Голицын, усталый, замерзший, до костей промокший, свято исполнял принятый обет ежедневно вносить свои впечатления, но отнюдь не более одной страницы, для чего заблаговременно еще в типографии заветная книга “Дневника” была размерена, разрезана и по страницам помечена числами и месяцами, на три года вперед.

Описывая Александра Голицына, нельзя пройти молчанием его отца и брата Сергея, обоих также кавказских деятелей. Первый из них, князь Владимир Сергеевич, субъект достойные замечания по многому из его жизни. Будучи молодым человеком и блестящим гвардейским офицером, князь Владимир Голицын назначен был флигель-адъютантом императора Александра I, в то еще время, когда почетное звание это жаловалось на редкость и лишь двенадцати избранникам из всей победоносной русской армии. Счастливая наружность, острый ум, светское обращение, ловкость отличного танцора, знатное происхождение, родовое богатство, связи и родство — все вместе давало исключительно завидное положение князю и не только в высших сферах, но и при дворе. Успех его и служебная карьера в будущем казались вполне обеспеченными. Так нет же!.. Все рушилось внезапно и бесповоротно вследствие выкинутой им пошлейшей и безумно дикой проделки, в 1823 году, на большом придворном бале, в Зимнем дворце. Лишенный флигель-адъютантских вензелей, Голицын на другой же день с жандармом был выслан на Кавказ, и хотя с тех пор не оставлял службы, но только недавно (в 1847 году) произведен в генерал-майоры, и этим он был обязан главным образом родству с Елизаветой Ксаверьевной Воронцовой.

Смолоду Владимир Сергеевич был страстный игрок в карты и, живя всегда очень широко, обязан был отчасти временным благосостоянием своим счастливому выигрышу у знаменитого когда-то в Москве банкомета, Мусина-Пушкина, миллиона рублей. Когда я с ним познакомился, от выигрыша были одни лишь приятные воспоминания, но Голицын продолжал очень любить карты и еще более преферанса остроты и каламбуры. На этом поприще он встретил достойного соперника, в лице старшего сына Сергея, личного адъютанта Фрейтага. Весною 1846 года, при вторжении Шамиля в Кабарду, когда в [373] укреплении Нальчике ночью ворвался в спальню князя (тогда начальника центра Кавказской линии) его адъютант с грозным известием: “Ваше сиятельство, партия, партия!”, — “А кто третий?” — спокойно спросил пробужденный. Со всем тем, вся подвластная Голицыну страна потерпела страшный погром, вызвавшей, между прочим, очень характерную переписку отца с сыном, тогда бывшим в Грозной. Узнав о поражении, нанесенном Шамилем в Кабарде, и о степени участия, принятого отцом Голицыным при отражении неприятеля, князь Сергей отправил с

нарочным к нему в Нальчик конверт, с надписью на нем: “бывшему начальнику бывшего центра”. Раздраженный злым сарказмом сына, папаша адресует ему ответ: “дураку Голицыну”, немедленно же ему возвращенный из Грозной с поправкой на официальном конверте: “от дурака дураковича”... И эта-то игривая полемика между отцом и сыном производилась посредством служебных сообщений, перевозимых нарочными джигитами на двухверстном расстоянии, в период самого критического разгара нашествия вражьих сил в пределы наших владений...

Во время стоянки в Голен-Гойте познакомился я и сошелся с обаятельным князем Барятинским. Узнав, что я нахожусь в Куринском полку, он сам пожелал, чтоб я ему представился, так как еще в Петербурге ему обо мне говорила и просила Софья Радзивилл, и с тех пор я получил раз навсегда приглашение на его вечера и ужины, наравне с прочими завсегдатаями: Фрейтагом, Вревским, Лорисом, Мирским, Николаи, Иедлинским. Трудно себе представить впечатление, производимое на каждого из вечерних посетителей князя Барятинского, при резком переходе от дикой обстановки лесной позиции, среди глубокого снега и сильной морозной ночи, к обширному, теплому, изящному и горящему огнями канделябр, роскошному помещению столовой нашего именитого хозяина. В первую минуту, переступая порог его жилища, поражаешься переменою блестящей декорации, а полчаса спустя, при виде окружающей обстановки, совершенно забываешь и не хочешь даже верить самому себе, что находишься среди враждебной Чечни, на позиции в Голен-Гойте, где двое суток назад не было помина не только о европейском комфорте, но и о простой солдатской палатке. Столовая князя, этого настоящего барина по происхождению и богатству, была около 12 аршин длины и 6 ширины; стены и потолок были обтянуты зеленым, биллиардным сукном, с такими же драпировками на двух дверях и шести окнах. Деревянный пол во всю комнату был обить пушистым, красивым ковром. Среди столовой вытянуть резной, орехового дерева, обеденный стол, покрытый снежной белизны скатертью. Сервиз, то есть блюда с [374] крышками, поставленные над горящими спиртовыми конфорками, тарелки, приборы, стаканы, бокалы, массивные канделябры на столе и такие же бра на степах — все без исключения было благородного металла, чистого серебра и художественной работы. За знаменитый столовый сервиз этот, удивительный по ценности и красоте, en relief, с внутренней позолотой, заплачено было дедом Александра Ивановича в Англии более 20 тысяч фунтов стерлингов. Воздух в комнате был не только чистый и теплый, но благоуханием своим напоминал будуар молодой женщины. За ужином подавались кушанья утонченной французской кухни, и лилось высшего достоинства бордо, бургон и шампанское. Ко всему этому добавьте милое и вполне радушное обращение хозяина, веселый, неисчерпаемо-любезный разговор и бесконечные, всегда оживленные рассказы его о виденном и слышанном в жизни. Во избежание излишнего в столовой присутствия прислуги, князем введена была система взаимного услужения, то есть блюда не подносились, а на конфорках с горящим спиртом все стояли среди стола, и ближайший к очередному кушанью гость обязан был класть его на тарелки и передавать соседям. Когда я ужинал в первый раз, князь среди ужина позвонил и приказал что-то своему мажордому Исаю. Исай вышел, но через минуту вернулся и, направляясь прямо ко мне, поднес на подносе серебряное шило. В недоумении взглянул я на князя, поспешившего очень серьезно объяснить мне, что, по существующему закону его дома, я обязан этим шилом выскоблить мою фамилию на оборотной стороне тарелки, “для воспоминания, как любезно выразился хозяин, о чести, вами сделанной, откушать у меня хлеба-соли”. Я поторопился исполнить требование князя, но, к удивлению, обернув мою

тарелку, решительно не мог найти свободного места для помещения моей фамилии, до такой степени она была уже испещрена другими. Мне передали вторую и третью, и только на четвертой удалось мне нацарапать мое имя. Взяв эту тарелку из моих рук, князь Барятинский тут же в самых лестных выражениях сделал мне предложение раз навсегда быть его дорогим гостем... После ужина вошедшая прислуга в одну минуту убрала стол, потушила огни и принесла большую вызолоченную чашу с вычурным крестом на середине, которая тотчас же запылала чудным синим огнем, в то время как капли падающего с креста жженого сахару издавали причудливые звуки... И Фрейтаг, и Вревский, и все мы, но особенно Иедлинский, были в отличном расположении духа, хотя неумолкаемым юмором щеголял больше всех сам хозяин. Барятинский, не стесняясь, но в самых изысканных формах, представлял поочередно каждого из нас в лицах, удивительно удачно подметив забавную сторону. Но Иедлинскому [375] выпадала в этом случае львиная доля. Про него князь повествовал кучу анекдотов, и ни один из них не был опровергнут их виновником. Поводом к началу рассказов послужило приключение накануне, когда он, изрядно нагрузившись обычною у князя жженкой, ночью возвращался к себе на бивуак, но сбился с дороги и внезапно провалился в глубокую яму. Ошеломленный падением, он стал кричать, и к нему на помощь подоспел случайно проходивший тенгинец. Солдат за руки вытянул его из темной ямы, но, увидав черкеску, измятую папаху, растрепанный вид есаула, при блестящем свете костра, страшное его оружие, он впал в сомнение; когда же услыхал на ломанном русском языке объяснение Иедлинского, то окончательно проникся убеждением, что пойманный им в яме не кто иной, как враг-чеченец. Никакими божбами и клятвами злополучный есаул не сумел разуверить верного слугу отечества: тенгинец бесцеремонно схватил его за шиворот и приволок в караул к ставке начальника отряда. “Не пущу, — грозно твердил он дорогой, — там тя разберут!”. Фрейтаг, еще не успевший заснуть после возвращения от того же Барятинского, услышал шум, вступился и выручил мнимого абрека. Иедлинскому было тогда около 30 лет, и он был на Кавказе уже четвертый год. Незаконный сын графа Браницкого, брата Елизаветы Ксаверьевны Воронцовой, он бросил службу в Австрии, где в Венгерском гусарском полку был известен, как замечательный ездок (скакавший на пари на четырех сменных лошадях слишком сто верст сряду), и перешел в русскую службу, в линейные казаки Моздокского полка сотником. Родство и связи приобрели Иедлинскому обширные знакомства, но отличная боевая служба, а главное юмор, веселый нрав, оригинальнейший язык и остроты завоевали ему обще-кавказскую популярность. Самые эксцентрические выходки сходили ему даром, благодаря его исключительному положению, как иностранца. Воздержностью он также не мог похвалиться. Слухи о его дебошах дошли до помощника командующего войсками Кавказской линии и Черномории, генерала Волоцкого, вновь назначенного на эту должность из России. Волоцкой, узнав о временном пребывании в Ставрополе Иедлинского, вызывает его к себе в приемный день и при многих посторонних лицах обиняками, но в слишком прозрачных намеках на Иедлинского, долго и внушительно порицает офицеров, позволяющих себе невоздержно вести себя на передовой линии. Иедлинский слушал, слушал, и вдруг, подступив к самому генералу, сразил всех фразой:

— “От-то, ваше превосходительство, пьяный проспится, — при этом ткнул себя пальцем в грудь, — а дурак никогда!” — причем отчаянно махнул рукою на Волоцкого... [376]

— “Есаул, как вы смеете при объяснении со мною так махать руками?” — строго спрашивает Иедлинского атаман линейного казачьего войска.

— “От-то, ваше превосходительство, что я человек, а не собака! Она махает хвостом, а я руками!” — ни секунды не задумываясь, ответил Иедлинский.

И опять-таки в обоих случаях все обошлось благополучно.

Вечер кончился. Фрейтаг встал, а за ним и все мы раскланялись с гостеприимным хозяином и вышли на воздух холодный, резкий, сильно-морозный. Глазам вновь представилась неприветливая картина бивуачной действительности, и на первом же ее плане трое солдат, совершенно голые, с веселыми прибаутками жарившие над огнем костра свои закорузлые рубахи, в которых пламя губило с треском бесчисленное в них количество паразитов.

Но и на солнце есть пятна, и нет на земле совершенства в людях. Грустная истина, но и неопровержимая! Ближе изучив А. И. Барятинского, я убедился, что себялюбие и податливость к лести его губят. С самых пеленок он был избалован судьбою, щедрою рукой наделившей его всеми благами мира. Происхождение, рождение, красота, способности, здоровье, связи, богатство и исключительное положение при дворе, все ему улыбалось. Удачи его в военной карьере и беспримерный успех у женщин могли бы вскружить голову каждому из смертных и уж ни в каком случае не придавать значения низкопоклонству и самой грубой, прозрачной лести. Раз меня сильно покоробило его тщеславие. Был в Кабардинском полку поручик Ильченко, который начал службу сдаточным, из помещичьих крестьян, был произведен в унтер-офицеры, затем в фельдфебеля и наконец в подпоручики. Как истый хохол по происхождению, Ильченко, как говорится, был себе на уме. На это ясно указывало положение, им устроенное при всесильном и влиятельном командире, которого он сумел обойти до смешного, и чем же? Самою грубою и пошлою лестью! Никогда не поверил бы я степени затмения такой светлой личности, как князь Александр Иванович, если бы, к сожалению, не пришлось быть очевидцем возмутительной сцены. Раз вошел я в зеленую палатку князя в ту минуту, когда он с большим вдохновением рассказывал Р. К. Фрейтагу об испытанном им сегодня впечатлении. Вот рассказ Барятинского.

“Сегодня Ильченко, в общей офицерской столовой, в присутствии всего моего полка, держал мне речь. В ней яркими и восторженными чертами этот достойнейший добряк доказывал, что Кабардинскому полку выпало особенное, необычайное теперь благополучие. [377]

— “В чем же оно? — в недоумении спрашиваю я.

— “В том, что в нашем полку два солнца.

— “Кто же в Кабардинском полку другое солнце? — полюбопытствовал я.

— “У нас два солнца, — восторженно вскрикнул Ильченко: — одно светило небесное, а другое земное: это — вы, ваше сиятельство!

“Да нет, как бы я ни рассказывал, — довершил Барятинский, — я никак не сумею передать вам, Роберт Карлович, всей прелести речи Ильченка, и если бы вашему превосходительству угодно было его услышать”.

— Ах, пожалуйста, — вперед отгадывая желание сиятельного хозяина, поспешил сказать Фрейтаг, — пошлите позвать его, я буду очень рад.

Барятинский, потирая руки от удовольствия, немедленно отдал приказание, и через пять минут в дверях показалась бурбонская фигура поручика Ильченка.

— Идите сюда, — ласково встретил его князь: — генерал желает слышать лично от вас сказанную сегодня речь вашу, потому что я, признаюсь, плохо ее понял, а потому и передать не сумел.

Ильченко довольно развязно шаркнул перед начальником дивизии и повторил бойко свою речь, причем Барятинский несколько раз повторял в сторону Фрейтага: “n'est ce pas qu'll est charmant?”.

17-го декабря, во время нашего обеда, барон Меллер прислал нам только что полученные с почтою из Воздвиженского высочайшие приказы, где красным карандашом подчеркнутые строки от 8 декабря я прочел с восторгом: “за отличное мужество и храбрость, оказанные в деле при истреблении аула Дубы, производятся такие-то, и из прапорщиков в подпоручики — Полторацкий со старшинством с 6-го марта сего года”. Все наши офицеры получили награды за 6-е марта. В числе их, орден св. Владимира — Меллеру, золотая шашка с надписью “за храбрость” — счастливцу капитану Тихонову; орден Анны 3-й ст. с бантом — Швахгейму, Мансурадзе, Мерклину, Руденку и другим. В подпоручики, кроме меня, произведены Юргенсон и Чекуанов. Но больше всех везет Тихонову. За лень и шалости исключенный из Полтавского корпуса и отправленный на Кавказ юнкером в Куринский полк он через две недели попадает в Даргинскую экспедицию и в сониках же получает солдатский Георгиевский крест, затем после роковой сухарной экспедиции, при отступлении из Дарго, 8-го июля, ранен пулею в бедро. Его кладут на носилки и влекут на перевязочный пункт, но по дороге встречается главнокомандующий, в тот день лично, с неимоверным самоотвержением, следящий за ходом боя в арьергарде. [378]

— Кого несете, братцы? — спросил граф Воронцов куринцев.

— Юнкера Тихонова, ваше сиятельство, — ответили они.

— Поздравляю его прапорщиком, — громко возгласил гр. Михаил Семенович. Тихонова пронесли на сотню шагов далее, и солдаты, чтобы вздохнуть от ноши, остановились в стороне. Тем временем главнокомандующий с очень малою при нем свитой, при общем движении отряда, проезжает верхом вперед и снова останавливается в ожидании арьергарда, где тогда кипела отчаянная свалка. Мимо него опять проносят Тихонова.

— Кого несете, ребята? — спросил он. Куринцы, слышавшие о пожаловании их юнкеру чина, смело отчеканили:

— Раненого прапорщика Тихонова, ваше сиятельство!

— Поздравляю его подпоручиком, — объявил граф. Опять солдаты понесли раненого вперед и опять остановились. Снова главнокомандующий обогнал их и опять придержал коня своего.

— Кого несете, куринцы?

— Подпоручика Тихонова! — уже весело отвечают молодцы.

— Поздравляю его поручиком! — одобрительно, под градом пуль, кричит им граф, приказывая дежурному при нем адъютанту Глебову записывать фамилии всех ежеминутно проносимых мимо раненых, тут же для вящего поощрения награждая их чинами, в силу Высочайше дарованного главнокомандующему права, в своем личном присутствии, производить обер-офицеров на поле сражения. Тихонов хотя был ранен очень тяжело, но не на столько, чтоб не

сознавать всего случившегося. Четверть часа спустя, в четвертый раз его пронесли мимо озабоченная графа, и на этот раз на вопрос, кто раненый, Тихонов приподнял голову и слабым голосом сам ответил:

— Поручик Тихонов, ваше сиятельство!

— Поздравляю вас, милейший Тихонов, штабс-капитаном! — улыбаясь утешил раненого страдальца гр. Михаил Семенович, конечно, не подозревая случившихся недоразумений. В этот лее вечер на бивуаке, в приказе графа по отдельному корпусу, было объявлено о вновь произведенных, а в числе их и Тихонова — в штабс-капитаны. Рассказывают, но за достоверность не ручаюсь, что впоследствии было доложено главнокомандующему о происшедшем qui pro qui, на что, будто бы, он только возразил: “от своих слов я никогда не отказываюсь”, — и это производство стало совершившимся фактом.

Предание свежо, но верится с трудом! — скажет какой-нибудь Фома неверный, но для убеждения стоит взглянуть в формулярный список Тихонова, где за одно число, 8-е июля, ему дано четыре чина. Впрочем и последние два года он служит счастливо: за Кабарду (1846 г.) он получил орден Анны 3-й ст. с [379] бантом, за мелкие дела того же года — чин капитана, за Алдинские хутора — Владимира 4-й ст. с бантом, а за Дубу — золотую шашку.

23-го числа, еще до рассвета, весь отряд поднялся с бивуака и с места же разделился на несколько отдельных колонн: тенгинцы и навагинцы с Вревским потянули к Владикавказу, Кабардинский полк, батальон грузинцев и наш 4-й под начальством Фрейтага — в Грозную, а мы в Богоспасаемую крепость Воздвиженскую. Чеченцы до того присмирели, что все отступление совершилось без боя, и мы благополучно достигли желанных жилищ, где отлежались и выспались в волю.

V.

Лагерь на Урус-Мартане. — Бой 22-го января. — Отдых в Воздвиженском. — Пистолькорс и его выходки. — Переход по Сунженской линии. — Отступление с Валерика. — Приказ “поселиться” в Тифлисе. — Прием наместника. — Дондуков, Васильчиков, Кочубей, Шемиот и его истории. — Английский клуб. — Замечательный вист. — Кулебакин и Бер. — Пикник от дам. — Скачки. — Праздник в ботаническом саду.

Не долго пришлось нам пробыть в Воздвиженском: 9-го числа, в том же составе, отряд наш стоял опять бивуаком под открытым небом на вырубленной три педели тому назад поляне. Устройством передовой Сунженской линии, от Грозной до Владикавказа, мы очень стеснили Малую Чечню, но постройкой теперь крепостей на Мартане, Валерике и Ассе мы окончательно приводили в исполнение ее смертный приговор. Опять ходили мы в лес с Вревским и с Барятинским, и 22-го января даже было у нас жаркое дело. Первый батальон наш, с кабардинцами во главе, атаковал аул Джангар-юрт, где жители, скрываясь за поперечными громадными завалами, били людей на выбор. Одною из первых жертв пал командир 2-й егерской роты, поручик Голыгин, сраженный пулею в грудь навылет. Тут, на вырубленной местности, поляна, примыкающая к Джангар-юрту, несколько раз переходила из рук в руки: то кабардинцы, поддерживаемые справа 1-м батальоном куринцев, штыками дружно очищали всю поляну, то уступая значительному неприятелю, сплошною массою бросающегося в шашки, егеря гнулись и подавались назад, но стройно, без суеты. Несколько раз им пришлось из вынужденного отступления переходить в бешеную атаку, и это случалось всякий раз, когда

тело убитого или раненого товарища грозило остаться в руках неприятеля. Когда свалился Голыгин, прапорщик Пистолькорс, очень видный собою, бросился впереди стрелков своих и, вскочив на высокий пень, громко и отчетливо стал с него картинно распоряжаться, [380] но в ту минуту, когда он всего стройною фигурою своей обернулся назад отдать приказание унтер-офицеру, чеченская пуля насквозь пронизала его туловище, ударив в спину и выйдя в груди. В то мгновение, когда солдаты бросились поднять его и уже поволокли раненого назад к перевязочному пункту, молодой подпоручик Анастасьев, полный отваги и молодечества, как бы из слепого подражания Пистолькорсу, вскочил на очищенное последним место на высоком пне и тут же моментально, с разбитым черепом, совершил страшное сальто-мортале на землю. Князь Барятинский хотел заменить нами пострадавшие батальоны своего полка, но молодцы кабардинцы громко кричали против этого, и подполковник Майдель, как старший офицер, поспешил лично от имени своих героев исходатайствовать у князя разрешение не делиться ни с кем славою арьергардного дела. Мало-помалу и нас, однако, ввели в огонь при общем отступлении; одно время было очень жарко, но по мере выхода из трущобы в открытую местность делалось все легче и спокойнее и, наконец, к 4-м часам дня мы выбрались с верховьев Валерика на чистую поляну, в виду лагеря, для перевязки раненых и приведения в известность потери. Убито 6 офицеров, ранено 21; нижних чинов убито 162, ранено 290 и без вести пропавших около 30 человек. О степени силы огня можно судить по числу снарядов — орудийных до 1.600, а ружейных более 330 тысяч. Героями дня были князь Барятинский с кабардинцами и наш 1-й батальон куринцев.

Колонна ушла через Гойту на Грозную, куда на руках и понесли раненых. В числе последних был и Пистолькорс; он со спартанским мужеством переносил страшные мучения от сквозной раны в груди, шутил, острил и смеялся. Так как и в Воздвиженском у него было много поклонников, которые сами не были очевидцами его подвига, то пришлось удовлетворить их любопытству. Надо сказать, что преобладающая в Пистолькорсе страсть была играть первую роль руководителя, проповедника. Сообразив, что одною блистательною храбростью перещеголять всех в Куринском полку невозможно, или слишком трудно, Пистолькорс бросился в татароманию, то есть свел куначество с мирными чеченцами, перенял от них одежду, посадку на коне, джигитовку и все прочие приемы. Снисходительный взгляд начальства на форму одежды офицерства устранял всякое стеснение в этом отношении, и при встрече на улице иного офицера трудно было отличить от чеченца или духанщика. Тогда-то Александр Васильевич Пистолькорс приобрел в свою собственность дом в Грозненском поселении, обзавелся по примеру линейного казачества полным домашним хозяйством, склонил заведовать им красивую мамуку Полю, облачился с ног до головы [381] в военные доспехи горского туалета, навесил на себя весь комплект азиатского оружия и, воссев на карего кабардинца, натянул поводья, дал плеть и, пронзительно гикнув по-чеченски, окончательно обрек себя в непобедимые джигиты… С этой минуты новый абрек пустил в ход самые эксцентричные выходки на удивление и благоговейное созерцание всевозрастающей клики его поклонников. В 1846 году, когда по тревоге, в апреле, подхватили наши батальоны и повели их в Кабарду, многие офицеры выехали по барабану за ворота крепости почти в чем застал их тревожный клич, то есть без перемены белья и гроша в кармане. Пистолькорс выскочил также очень быстро и без всяких запасов. Форсированное движение от Грозной до Большой Кабарды, погоня за партиями Шамиля и обратный путь с кавказского центра на левый фланг продлились более трех недель беспрерывной толкотни взад и вперед. Все участвующие терпели всевозможные лишения, но и тут пальма первенства выпала

Пистолькорсу. Когда при вступлении отряда в Грозную все население крепости высыпало за ворота на встречу ощипанных на вид и очень утомленных победителей, впереди 4-й егерской роты пешком (за потерею в походе лошади), в оборванном бешмете, босой, с окровавленными по колючке ногами, шагал бодро и гордо один Пистолькорс. Как бы то ни было, но это был человек не дюжинный по смелости и уменью увлекать за собой других. Зимняя экспедиция 1847-1848 годов еще не кончилась, три периода уже сломали, четвертый же предстояло начать с 30-го января, и уже из Грозной, откуда мы и выступили за Сунженские ворота по открытой местности вдоль левого берега Сунжи. Мне, как охотнику, не забыть приятного эпизода, случившегося здесь в нашей однообразной жизни. В день выступления погода стояла теплая, на небе нависли тучи, которые во время привала разразились частым дождем, мочившим нас до самого ночлега в Казакичу. Ночь здесь провели мы с грехом пополам, в особенности к утру, когда стало очень студить; но в 8 часов, при выступлении, солнце показалось в полном величии своем, и погода оказалась хотя и свежей, но ясной и тихой. Снег от вчерашнего дождя осел и, скованный ночным морозом, образовал наст, то есть корку, чем в этот день и суждено нам было воспользоваться со славою. Только что обоз отряда, вытянувшийся в три ряда, успел отойти от ночлега версты две, три, как с левой, а еще более с правой стороны расскакались по несколько человек офицеров, казаков, юнкеров. Приблизившись к одной из движущихся групп, я увидел перед нею скачущую дикую козу. Утомленное усиленной гоньбою настигающих ее преследователей, грациозное животное, проваливаясь через верхнюю снежную кору, с окровавленными от наста ножками, тонуло во всю [382] глубину снега, истощало свои силы и, ежеминутно сокращая быстроту бега, пало, наконец, под шашечными ударами конных врагов своих, Уже с разных сторон привезли в колонну до восьми трофеев бешеной скачки, когда я на безобразно взмыленном вороном моем, совершенно один, отделился влево и в параллель, колонны, на расстоянии версты, поехал шагом. Впереди меня расстилалась бесконечная равнина, слева окаймленная на нашем берегу Сунжи высоким лесом. Солнечные лучи играли на гладкой поверхности снега, и мириады серебряных звезд причудливо блестели, как бриллианты, резко ослепляя зрение. Вольно было глазам глядеть перед собою, и я, руками оградив их от ярких лучей, заметил перед собою на расстоянии не более ста сажен массу черных неподвижных предметов, отчетливо выявляющихся на снежно-белом фоне. Приняв их за чеченские памятники над умершими, я беззаботно подвигался вперед, но внезапно заметил, как это мнимое кладбище зашевелилось: я стал пристальнее всматриваться, и что же оказалось? Громаднейшее стадо диких коз числом в несколько сот штук. Изумленный, я остановил лошадь, а прелестные животные в видимой нерешимости, в какую сторону броситься, как будто ожидали указаний вожаков своих. Прошло несколько минут обоюдного созерцания, но вот с красивыми рогами козел сделал решительный прыжок, второй и третий, а за ним вслед устремилось и все громадное стадо как раз по направлению нашего отряда. Несколько минут назад я восторженно любовался изящною красотой и грацией этих миловидных животных, а теперь, когда они бросились к нам на свою погибель, я забыл все и, толкнув вороного, с криком и махая папахой, понесся за ними.

Стадо коз, по пятам преследуемое мною, устремилось прямо в разрез движущегося вагенбурга. При приближении их, в колонне все зашевелилось, все приготовилось встретить богатую дичину. Конные и пешие бросились к ним и открыли беспощадную стрельбу. При этом, какими судьбами ни одна из шальных пуль не попала в меня или в лошадь мою, можно приписать лишь удивительной случайности. Но зато козлы и козы пострадали жестоко.

Многие из них пали от пуль, другие от холодного оружия, были далее схваченные живьем, а некоторые сами с размаха ударялись в возы и добиты были тут же денщиками и фурштатами.

Со всем тем значительная часть стада прорвалась чрез все препятствия и выскочила в открытое поле, где им и удалось спастись. Придя на ночлег в Ачхосское укрепление, мы, не смотря на утомление, долго предавались еще рассказам и диспутам.

В день роспуска Чеченского отряда с берегов воспетого Лермонтовым Валерика, — роспуска на этот раз не временного, [383] а окончательного, после утомительной зимней экспедиции, барон Меллер-Закомельский получил письмо от главнокомандующего, в котором князь Воронцов, подробно входя в разные распоряжения, касающиеся его Куринского полка, между прочим, упомянул об отправлении подпоручика Полторацкого в Тифлис повеселиться. В припадке высшего благополучия, испытанного Меллером, при чтении собственноручного к нему послания его светлости, он второпях, а, может быть, по нечеткости почерка князя, прочел “в Тифлис поселиться” и с письмом в руках поспешил к Фрейтагу. Роберт Карлович, внимательно прочтя письмо от доски до доски, впал в ту же ошибку и немедленно сделал распоряжение объявить в приказе по 20-й дивизии об откомандировании подпоручика Полторацкого в г. Тифлис, к особе его сиятельства главнокомандующего, причем Меллер также приказом по полку повелел мне скорей отправляться к месту моего нового служения: выдачею прогонных денег и подорожной меня также, конечно, не задержали, и я с отрадным чувством полного осуществления двухлетних ожиданий выехал в давно желанный град Тифлис, где, однако, недолго пришлось парить мне в восторженных мечтах, резко разбитых вопросом удивленного моим появлением начальника штаба, генерала Коцебу: “зачем вы сюда прибыли?” Ответ мой повлек к разъяснению грустного недоразумения, Вся тяжесть которого, конечно, пала на одного меня. Как после приказа по дивизии и полку о лестном моем назначении я явлюсь обратно, не подав тем повода заподозрить, что я оказался недостойным состоять в свите князя Воронцова?

Правда, что полковой командир мой, а также и начальник дивизии, не раз имели случай лично слышать из уст главнокомандующего о непременном намерении его сиятельства взять меня к себе адъютантом, но во всяком случае поторопились на основании лишь частного письма князя.

От начальника штаба я отправился во дворец князя-наместника для представления его сиятельству. Князь очень милостиво и ласково обошелся со мною и, приятно улыбаясь, повторил мне жестокие слова о вызове меня в Тифлис “повеселиться”. После приема всех представляющихся, главнокомандующий удалился в кабинет, откуда дежурный адъютант, Лисаневич, вынес мне приказ его сиятельства — назавтра обедать в клубе.

Видя мое удивление, Лисаневич посвятил меня в существующую систему его сиятельства по четвергам обедать за табль-д'отом клуба, а потому являющихся к нему в среду он приглашает обедать в четверг в английский клуб, которого он почетный старшина. На другой день, в шестом часу, явился я в клуб, где уже по распоряжению князя был записан его гостем и за [384] столом имел честь сидеть рядом с его сиятельством, усердно угощавшим меня на свой счет обедом и вином. После стола князь выразил желание видеть меня членом клуба и довершил свое внимание, собственноручно записав меня кандидатом в книгу на баллотирование, а затем, пожимая мне руку, добавил: — Любезнейший Полторацкий, прошу

тебя, когда не будешь иметь “иного ангажемента”, то всякий день обедать у меня. Прибор твой поставлен раз навсегда.

Поместился я в гостинице Крылова на Почтовой улице, наискось от княжеского дворца, очень удобной и недорогой, и стал делать визиты всей свите князя. Соседом у меня был полковник Кулебакин, так называемый “немирной”, умный, милый, но страшно горячий человек, уже два раза дорого поплатившийся за невоздержный характер солдатскою шинелью. Он снова выслужил штаб-офицерские эполеты, но нрава своего не переменил, так же вспыльчив, горяч и необуздан. Пронзительный голос его раздавался часто на весь дом. С другой стороны стоял генерал Багговут, прославившийся в польскую кампанию, где под Остроленкой лишился частицы черепа, оторванной осколком гранаты. Он носил золотую накладку, перевязанную через лоб черной повязкой, был очень красив и любезен в обществе. Возобновив старые знакомства, я много приобрел и новых, но особенно был счастлив, когда Дондуков представил меня блестящей звезде Тифлисского beau-monde'a княгине Аннете Мухранской. Таких глаз и улыбки я никогда уже потом не видел! Дочь царевича Ивана Грузинского, она с детства воспитывалась в Париже, а затем вышла за добра го малого князя Мухранского, адъютанта князя Бебутова. Своими изящными манерами, живым умом и замечательною красотой княгиня успела пленить многих до сумасшествия. Одна из жертв несчастной к ней любви, какой-то князь Голицын (гримасник, по прозванью) пустил себе пулю в лоб, но этот факт не отрезвил других. И на покойного Мишу Глебова указывает хроника, как на одного из самых страстных обожателей дивной княгини. Из туземных домов я чаще других стал бывать у Мухранских, в других же, куда являлся из приличия, играл глупейшую роль, не понимая языка и осужденный сам не произносить ни слова. Русских семейств было мало, но одно из них, и чисто русское, меня обворожило совершенно: это — семейство Гогеля, помощника генерала Коцебу. Глава семейства, генерал-майор Иван Ивановичу был самым милым, самым радушным и гостеприимным хозяином дома, в душе и на деле кровно-русским барином. Марья Дмитриевна, жена его, рожденная Исакова, любезна, приветлива и добра. Узнав о ложном положении, в которое я был поставлен, и муж и жена обласкали меня, как только могли [385] сердечные, родственные люди. Вся милая семья, кругом большого самовара за вечерним чаем, невольно заставляла забывать, что живешь в Азии, а не на дорогой родине, в России.

Старые знакомцы, Дондуков с Васильчиковым и Сергей Кочубей, занимали втроем прекрасный дом в Салолаках. Жили они общим хозяйством, держали прекрасного повара, принимали гостей, кормили и поили их отлично. Я обедал у них всегда с особенным удовольствием; речь всегда веселая, живая; ее поддерживали постоянные посетители, Мннквиц и Кулебакин, а изредка Шемиот.

Кроме этого кружка, я все чаще и чаще стал бывать в клубе, где единогласно был выбран в члены и потому имел возможность ежедневно там обедать. Клуб был любимым местом сбора всей почти свиты наместника, здесь играли в карты, на бильярде, а главное болтали, болтали свободно и весело.

Изредка приходилось, все-таки, являться и к столу князя Воронцова. Обедая у него как-то с Кулебакиным, я заметил, что тот не даль дворецкому смести в конце обеда крошки со стола, а быстро отобрал хлеб у соседей и положил к себе на тарелку.

— Что вы делаете, милейший Николай Петрович? — с любопытным удивлением спросил его наместник.

— А я слышал, — через весь столь невозмутимо серьезно отвечал Кулебакин: — что ваше сиятельство изволили за Шемиотом утвердить поставку хлеба в Тифлис, а потому во избежание риска умереть с голоду я делаю запасы.

Князь разразился громким смехом, конечно, подхваченным всеми гостями.

В Тифлисе я, по-видимому, ничего не делал, а между тем не хватало даже времени на посещение многих семейств, куда так любезно приглашали. Вертишься среди беспутной молодежи и завертишься окончательно. Клуб особенно отрывал много времени. Попадешь туда с утра на четверть часа пробежать газеты, а смотришь — там уж составилась партия на бильярде, после обеда вист, а после и просто выпивка.

Однажды, после скромного обеда в клубе, составился вист: Багговут, Кулебакин, Бер и я. Бер, вице-губернатор кутаисский, больной и уже старый человек, страдал ироническим воспалением горла и, потеряв совершенно голос, говорил только шепотом. По картам Багговут сел играть первый роббер со мною против Кулебакина и Бера. Нам пришла ломовая игра, и мы сделали противникам большой шлем. Кулебакин ударил кулаком по столу с такой силой, что все мелки разлетелись на пол, и стал зычным голосом разносить своего партнера [386] так горячо и громко, что из соседних комнат сбежалась испуганная публика.

— Какое вы имели право, милостивый государь, ходить в бубны? — неистово кричал он.

— Да я, — шепотом оправдывался Бер, — в бубны не ходил, потому что в руке не был.

— Не были в руке? — опять разразился Николай Петрович, — а трефы-то зачем разнесли? Кто виноват, что мы проиграли шлем, вы или я? Отвечайте же, милостивый государь! — завопил Кулебакин.

— Да у меня ни одной трефы не было: напрасно, Николай Петрович, вы меня обвиняете, — опять смиренно прошептал Бер.

— Милостивый государь, я вам не позволю на себя кричать! — заорал громче прежнего немирной.

— Господа! — умоляющим голосом, но чуть слышно, обращаясь к публике, прошептал Бер: — господа, ради самого Бога, будьте справедливы и решите, кто на кого кричит.

Эта мольба кроткого Бера была до того комична, что все разразились хохотом, а сам немирной Кулебакин опомнился и бросился целовать Бера.

Особенно хорошо провел я Вербное воскресенье за 15 верст от города, на почтовой станции, в шумной и веселой компании с прелестнейшими женщинами.

На Святой замышлялся ответный фестиваль, в ожидании которого, в виде репетиции верно, последние дни выдавались особенно беспутными... После одного из таких кутежей явилась пролетка тройкой для прогулки, на ней верхами уселись: на коренном — Циммерманн, на двух пристяжных — Васильчиков и я, за кучера сел Дондуков, а на барском месте очень ненадежно укрепился Минквиц. Под дугой зазвенел валдайский колокольчик, на уздечках забренчали армянские бубенцы, кучер щелкнул кнутом, пронзительно взвизгнул, и тройка понеслась мимо дворца но Головинскому проспекту. Еще было светло. Но доезжая реки, встретили зурну

с оркестром и, усадив их на двух извозчичьих дрожках, торжественно с музыкой совершили обратный путь на Эриванскую площадь. Толпа зевак не давала возможности катить быстро, и мы, к великому удовольствию публики, по армянскому базару подвигались шагом. На другой день князь главнокомандующий прелюбезно объявил Дондукову, что он из окна любовался нашим поездом, причем с удовольствием заметил, что кучер ловко умеет “править”. Двусмысленное ли это было предсказание, или злая ирония? [387] Нашего старца не раскусишь, а все-таки великое ему спасибо, что он не поставил нам в счет нашего беспутства и среди него умел усмотреть лучшее нашей натуры.

Итак, уполномоченные: Васильчиков, Лорис и я, собрались в Ботаническом саду, где совокупно и занялись приведением в чистоту грота, площадки и ближайших дорожек для праздника, а также составили смету и заказы по устройству иллюминации, буфета, декорации, музыки и проч.

В самый день праздника, утром, в восьмом часу, когда я еще крепко спал, влетает в комнату Дондуков, бесцеремонно будить меня и объявляет свежую новость, что я сегодня через два часа скачу на его лошади. “Как? что?” — спросонья ничего не понимаю. Объясняется загадка тем, что на назначенной сегодня императорской скачке, между прочим, будет состязание любителей, и на персидском жеребце Дондукова должен был выехать корнет князь Абашидзе, но он ночью заболел, а следовательно вместо него Дондуков просить, требует, чтобы скакал я.

Все доводы мои о том, что я лошади его не знаю, что к скачке не подготовился, а главное, то обстоятельство, что необходимо сейчас же отправляться в Ботанический сад, — остались гласом вопиющего в пустыни, и злой гений мой стащил меня с постели, заставил надеть парадную форму и, не позволив проглотить стакана чаю, повлек меня к себе на конюшню, а оттуда к скаковому кругу. Здание, выстроенное на ипподроме, уже переполнено массой любопытных.

Пользуясь праздничным днем и восхитительною весеннею погодой, все население Тифлиса, в экипажах, верхом и пешком, спешит к месту зрелища. Ложи все до одной переполнены бомондом, а галереи гнутся под тяжестью народа всех сословий и наций. Шум, гам, толкотня и душу раздирающие звуки зурны буквально оглушают, а облака поднятой пыли затемняют зрение.

Из скаковых на кругу конюшен выводятся кони, предназначенные к скачке. Около них снуют их владельцы-туземцы, заботливо осматривают, горячатся, неистово бранятся с нукерами. Но вот под роскошными попонами являются лошади любителей. Впереди смиренно выступает знаменитый “Мальчик”, чистокровный англичанин, собственность князя Семена Михайловича Воронцова. За ним два конюха ведут гордо выступающего, гнедого жеребца Ираклия Грузинского, а поодаль следует темно-серый гр. Симонича, вороной Давыдки Грузинского, светло-бурый кн. Накашидзе и pour la cloture караковый князя Дондукова. Последний красотой и ланцадами, полными огня и жизни, сразу [388] завоевал сердца всего женского персонала. Всюду слышны их восторженные возгласы и одобрения красавцу, будто сознающему, что все хорошенькие глазки прикованы к нему; он лезет из кожи, рвется, встает на дыбы, ржет и визжит, не слыша под собою земли, весь на воздухе, легкий, гибкий и замечательно-грациозный.

Темно-голубая на нем попона с капором на голове, вышитая шелками, отчасти скрывает красоту статей его, но и содействует щегольскому виду кровного уроженца Персии. Княгиня

Анна Ивановна Мухранская оживлена, вызывает соседок на пари за Ахмета, жеребца Дондукова, но ни одна из них не решается принять вызов в твердом убеждении, что чудный Ахмет несомненно у всех вырвет приз, назначенный любителям: богатую, по пунцовому бархату, золотом вышитую, попону. Я не разделяю надежд барынь, так как “Мальчик” соперник опасный, а ездок его, барон Александр Николаи, слишком опытен и ловок.

Но вот вдали показались столбы пыли, несется блестящий конвой, а за ним в открытом ландо, окруженном многочисленною свитой, князь-наместник с супругой. Они занимают среднюю ложу, почетные судьи — нижнюю, раздается давно ожидаемый звонок, за ним второй и третий. Толпа всадников-туземцев на императорский первый приз, с пронзительным криком ринулась с места отчаянно, быстро, гурьбой; затем на второй версте растянулись в нитку, и после второго круга к судейскому столбу, голова в голову, дошли всего две лошади. Им назначена перескачка, а тем временем играет музыка, раздается зурна и восторженный гул народа. Еще пять различных состязаний, но все на императорские призы, тянутся невыносимо долго, меня бьет лихорадка нетерпения, а вместе и неизвестности, что творится теперь в Ботаническом саду, куда прямо с ипподрома поедут приглашенные. Наконец, всех нас шестерых спортсменов собирают в судейскую ложу, где вынимаем по жребию номера, мне достается 1-й, то есть ближе к веревке. Вести круг — шанс счастливый. Наместник приглашает нас к себе в ложу и торжественно благословляет, каждому желая прийти первым. Княгиня дает ручку на счастье, и мы садимся на коней. “Бога ради — в сотый уже раз повторяет мне Дондуков, — сразу не давай полного хода, побереги “Ахмета” концу”... — “Знаю, знаю”, — нетерпеливо отвечаю я, оправляясь в седле, на безумно-пляшущем жеребце его. По второму звонку выстроились, стали ровнять нас. Нет, не ладно. “Карабах” Накашидзе вынесся на 20 сажень вперед. “Назад, назад”, — раздается крик судьи. Опять ставят нас в ряд, и опять на этот раз уже Давыдка [389] вылетает чёрт знает куда. Судья приказывает снова вернуться и от правого фланга подходить всем к столбу шагом. Беру веревку, двигаюсь с другими вперед, но шагом заставить идти “Ахмета” нет возможности. Он траверсом, весь в ланцадах, сбивает с места Симонича, тот бранится, но раздается третий звонок, и мы несемся... В глазах рябить, сердце стучит сильно, но не ровно. Из сил лезу я удержать “Ахмета”, когда Ираклий стал обгонять его; но веревки он не уступил и все идет впереди легко и лихо. На обороте первого круга, когда вздумал Ираклий опять с ним поравняться, он наддал и резко отделился вперед. В этом порядке прошли мы мимо судей. Не смотря на быстроту бешеного аллюра, с которым мы птицами пролетели мимо рукоплескавшей нам публики, мне показалось возможным уловить одобрительный взгляд чудной пары глаз, и я с полной верой в неминуемое торжество, не помня себя от благополучия, дал повод “Ахметуэ. Но, увы! счастливая иллюзия оказалась скоротечной... “Мальчик”, управляемый опытною рукою седока своего, на половине второго круга спокойно, без малейших усилий, резко обошел “Ахмета” и шутя на десятки шагов отделился вперед. Отчаянно понукал я борзого “перса”, но силы видимо уже изменили ему, и он не только не догонял барона Николаи, но и второе место должен был уступить Ираклию. Подскакивая к столбу, Накашидзе тоже старался обогнать меня, но “Ахмет” озлился и не понес этого последнего поражения, на полголовы прейдя впереди “Карабаха”. Озлобленный и вне себя от огорчения, соскочил я с коварного коня и не мог утешиться даже тем, что двух из нас: Симонича и Давыдку (Грузинского), постигла более горькая участь — остаться за флагом...

Во избежание грозящих мне нареканий от Дондукова, а пуще всего насмешливых взглядов княгини Аннеты, я кинул поводья нукеру и, вскочив в свои дрожки, поехал скорее к себе переодеваться, а затем помчался в Ботанический сад, но на Армянском базаре столкнулся с

поездом всех гостей и, примкнув к ним, одновременно въехал в ворота. Здесь, прислонясь к стене, в виде триумфальной встречи, стал Васильчиков, бледный и немой. Сладко улыбаясь всем и каждому, он молча указывал на дорогу вверх. Сомнения не могло быть, что бедный, милый наш труженик пожертвовал собою для пробы ликеров и вина. Но у грота, на площадке стоял Лорис, приветливо встречавший дорогих гостей. Успех был полный. Прекрасный обед был сервирован в гроте, освещенном несколькими сотнями свеч и украшенном массой цветов и тропических растений, чтобы скрыть серые, неприглядные [390] стены. Оперная музыка на площадке, два хора военной по уступам сада и четыре хора песенников по углам оживляли тишину бесподобной ночи. Весь сад, верхний и нижний, загорелся огнями, деревья — разноцветными фонарями, аллеи — плошками, лужайки — щитами с аллегорическими изображениями, Когда после обеда общество пошло в сад, неожиданно на одном из уступов скалы, задрапированный пунцовой альмавивой, внезапно освещенный бенгальскими огнями, показался красавец Минквиц и с увлечением, мастерски пропел арию из “Лукреции Борджио”. Экспромт вызвал шумные одобрения. Праздник удался вполне, было все, решительно все, увы, было даже лишнее: были мужья...

VI.

Неожиданный подвиг в театре. — Князь Владимир Сергеевич Голицын; его остроты. — История генерала Шиллинга. — Приготовления к отъезду наместника, — Князь Сергей Кочубей. — А. А. Хастатов. — Воздвиженской, встреча. князя, смотр и обед всему полку. — Костя Тришатный, история его отца и Павел Полторацкий.

Апреля 18-го, в Фомино воскресенье, в театре был бал-маскарад. Партер, сцены, задние залы и фойе были переполнены замаскированною публикой, а ложи от бенуара до райка заняты зрителями. Общее внимание было привлечено торжественным шествием костюмированных артистов труппы, представлявших собою любопытное собрание экземпляров царства животных всех пяти частей света. Кроме того, фигурировало много фантастических костюмов, с неизбежными, конечно, пьеро, арлекинами, коломбиной и проч. Шумный говор, смех и радостные взвизги маскированных доказывали их настроение и общую потребность веселиться от души. На возвышении, на месте бывшей сцены, красовался роскошный буфет; в средней, царской ложе сидели князь-наместник с супругой и дежурный адъютант Минквиц. К ним беспрерывно входили высшего полета мужчины и дамы. Первые в мундирах и фраках, а вторые в открытых платьях и бриллиантах. Красота многих тифлисских дам была ослепительна, но их всех затмила княгиня Мухранская; в тот вечер она сделала нас всех влюбленными в себя без ума, без памяти. В час уехал главнокомандующий, и по примеру его начали пустеть и прочие ложи, но внизу движение не [391] умалялось, и беснование стало шире, шумнее. В три часа стали очень редеть залы театра, а полчаса спустя в них осталась только очень тесная компания из свиты и канцелярии наместника. Молодежь, сильно возбужденная вином, предалась беззаботному веселью. Задержанная на общий счет музыка увлекла всех в танцы; в ту минуту, когда она, по-видимому, стала утомляться, и уже близился час общего разъезда, Кочубей и Васильчиков вышли на средину валы. Так как они славились у нас, как замечательные танцоры, то публика окружила их плотной стеною. Когда я подбежал к зрителям, все передние места были уже заняты. Не зная, как лучше удовлетворить свое любопытство, я увидел около себя “Китайца” Свечина (Дмитрий Иванович Свечин, генеральная штаба тогда капитан, способный и милый человек, наружностью и усами

олицетворял монгольский тип и потому получил в Тифлисе название “Китайца”.), тщетно подымающегося на носки, чтоб что-нибудь увидеть. “Знаешь что? — предложил он, — пойдем на верх, в раек, оттуда вид отличный”. Я побежал за ним и очутился скоро на галерее, на противоположном конце от Свечина. Танцоры вошли в азарт, особенно Кочубей, и стали выделывать такие эамысловатые, а вместе и трудные коленца, что зрители разражались криками удивления и неистовыми рукоплесканиями. Но вот они выбились окончательно из сил и, тяжело переводя дух, сразу прекратили свои неистовые упражнения... Я взглянул в сторону Свечина, но его уж нет; бросаю глаза по всем ярусам и ложам, ищу его и вдруг вижу, но где? В партере, в лежачем положении, как раз под тем самым местом, где наверху за несколько минут он спокойно восседал.

— Свечин! — крикнул я ему сверху: — как ты попал в партер?

— Очень просто, соскочил! — -вставая на ноги, ответил “Китаец”.

— Не может быть? — с сомнением возрази ль я.

— Как не может быть? Повторяю тебе, я соскочил, а тебе мальчишке, конечно, не соскочить? Куда тебе!

Название мальчишки, громогласно мне данное “Китайцем”, меня покоробило, но мысль, что он сделал то, чего не сумею сделать я, меня оскорбила, а все, вместе с винными парами, очень шумевшими в возбужденной голове, двинуло меня на решительную меру.

— Если ты, китайский мандарин, мог спрыгнуть, то, конечно, спрыгну и я! — вскочив на балюстраду, злобно крикнул [392] я на всю залу, чем, конечно, привлек на себя внимание публики!

— Messieurs, messieurs, ne le regardez pas, autrement en verite il est capable de fair coup (господа, господа, не смотрите на него, иначе он в самом деле способен выкинуть эту штуку), — в полголоса, но, все-таки, слишком громко предупреждал окружающих Минк-виц. К несчастью я отчетливо услышал эти слова, еще более меня подзадорившие, и я, подпрыгнув с бархатной обивки балюстрады так, что едва головою не коснулся потолка, ринулся вниз. Публика с криком ужаса расступилась, а я со всего маха, хотя и на ноги, но всею тяжестью упал среди партера так, что оба каблука отлетели, как пробки от шампанского. Но когда Минквиц, Кочубей, Васильчиков бросились поднимать меня, я быстро сам вскочил на ноги, дернул Васильчикова за руку и пустился с ним еще откалывать мазурку...

Впечатление было сильное, все переглядывались, шептали, не верили глазам, чтобы безумный прыжок с 12-ти-аршинной высоты мог так легко сойти мне. Дондуков по этому случаю опять потребовал вина; когда же мы вышли на подъезд, и я поднял ногу, чтобы сесть в дрожки, голова закружилась, я потерял сознание и затылком упал на мостовую...

Странное тут произошло явление! Я не помню ничего, как и кто меня поднял, как привезли и внесли меня в комнату, как положили меня на постель и как Свечина, главного виновника катастрофы, послали отыскивать доктора. Но затем, не открывая глаз и не будучи в силах сделать малейшее движение, я все уяснял себе и отлично слышал, что творилось кругом меня. После очень краткого смущения присутствующих в комнате, а их по голосам было много, ясно долетела до меня фраза Дондукова: “что же, господа, мы ведь ничем не виноваты!” и тут же слышал, как он отдавал приказание растерявшемуся моему Ивану Ильину. Слышал я, как

маленький генерал Чаплиц поставил за ширмами, около самой моей постели, стул, слышал даже, как, нагнувшись ко мне, он тяжело дышал. Все гости сначала говорили шепотом, в полголоса, а потом не стесняясь стали говорить громко. Некоторые отзывы их о моем прыжке были далеко не лестные, но тогда они мало меня огорчали. Прошел добрый час, дверь с шумом отворилась, но вместо доктора ввалился в комнату свирепый Кулебакин, которого я, конечно, узнал по могучему голосу. Свидетелем театральной сцены он не был, но, вернувшись домой из какой-то таинственной экскурсии, увидел в моих окнах свет и “так удачно, как выразился он, попал в приятную компанию”. А компании этой было у меня не мало! Опять [393] послышались шаги, и на этот раз явились Свечин, а за ним и общий друг наш, тезка Дондукова, Александр Михайлович Соколов.

Я слышу, как он подходить ко мне за ширмы, щупает пульс, дотрагивается очень свежею рукою до моего пылающего лба, нагнувшись выслушивает биение сердца.

— Ну, что? Что? Будет ли жив? — раздается нетерпеливый, полный участия голос Чаплица.

— Жив-то, вероятно, будет, но, что хуже всего, с ума сойдет. Сотрясение станового хребта и мозга слишком сильное, — отрезал Соколов и тут же, отойдя от постели, разразился на все еще бушующую публику.

— Господа, да ведь вы Бога не боитесь! Знаете ли, что он опасен, и ему нужен абсолютный покой. Убирайтесь все по домам, уже шестой час! А ты, голубчик, — - обратился он к Ильину: — позаботься о горячей воде и сейчас же доставь мою записку фельдшеру.

Слышал я еще щелк ланцета на левой руке и замечание Соколова: “эх, кровь то, как чернила!”. Затем я впал в забытье и уже не чувствовал, как поставили мне, excusez du peu, по 40 банок к ногам, проснулся, когда стало сильно пощипывать. Чаплиц один, не шевелясь, сидел около меня на стуле, а Дондуков примостился уснуть на диване.

Пролежал я так более месяца. Много перебывало у меня добрых знакомых и, между прочими, князь Владимир Сергеевич Голицын, который очень сострил по моему адресу: “qu’il a fait le plus grand saut du monde”. Приема главнокомандующего я в душе побаивался, хотя Дондуков уверял, что все обойдется, но более осторожные, как, например, Минквиц, советовали выждать благоприятного случая, а зря не соваться.

Первый мой визит был к Голицыну, этому чудаку первой степени. Застаю его дома и в самом восторженном состоянии. Что причиной?

— Очень уже порадовал меня сегодня мой Прокофий, так порадовал, что я сейчас же ему дал вольную.

— Какую же великую услугу оказал он вам, князь?

— Услуги никакой; но лучше — он сделал каламбур, просто прелесть! Видите ли, — объясняет князь: — он у меня с детства, от природы честный малый, но горьчайший пьяница и, что того хуже, глуп как пробка, а со всем тем лезет в разговоры. Раз я обещал ему, что если он скажет умное, очень умное слово, то я его отпущу на волю. Понятно, я думал, что ничем не рисковал, но теперь горжусь им. [394]

— Да что же он сказал?

— Постойте, постойте, я объясню вам. Надо вам сказать, что по утрам я всегда пью кофе, сегодня же звоню, звоню, мне не подают его; наконец входит мой жакрис на шатких ногах.

— Что скажешь, Прокофий?

— Готов-с, ваше сиятельство! — отвечает он, так сильно покачнувшись, что чуть не упал. А видите ли, пьян да умен... Вы знаете пословицу? Не подозревал Прокофий, что спрошенный про кофе сделал великий каламбур, доставивший ему свободу.

Вместе со мной были у Голицына генералы Чаплиц и Шиллингу оба любители поиграть в табельку; из них Шиллинг, кроме своей жадности к деньгам, известен был еще страшной суетливостью. В 1847 году, осенью, государь император был в Варшаве и производил высочайший смотр войскам, в царстве Польском расположенным. В назначенный день и час полки выстраиваются на плацу. Фельдмаршал уже объехал все линии войск и перед фронтом ожидает приезда его величества. В это самое время командир гусарской бригады, генерал Шиллинг, по свойственной ему суетливости, вздумал снова проверять равнение полков и, понапрасну тревожа людей в строю, стал шуметь и ломать фронт. Командиром одного из его полков был Мельников, бывший адъютант и любимец князя Паскевича, офицер во всех отношениях отличный и человек безукоризненный, но раздражительный и нервный. Бестолковая суетливость генерала Шиллинга давно уже стояла ему поперек горла, и теперь, когда в десятый раз он услышал пронзительный голос немца: “третий вперед, шестой назад, седьмой осади” и т. д., командир полка вышел из себя и что-то резкое ляпнул бригадному, ответившему ему крупной дерзостью. Мельников вспылил и обнажил саблю, дал шпоры лошади и подлетел к Шиллингу, а тот, видя, что дело плохо, поворачивает коня и тягу. Но Мельников догоняет его и, фухтеляя генерала по спине саблею, гонит его во весь карьер вдоль развернутого фронта всей гусарской бригады. Фельдмаршал, личный свидетель преступного действия своего любимца, виновника общего смятения в войсках, приказывает отобрать у Мельникова саблю, а его самого отправить за фронт. В эту минуту раздается крик: “государь император!”.

— Смирно и на караул! — командует фельдмаршал князь Варшавский и скачет с рапортом встречать его величество, причем докладывает государю о только что случившемся происшествии. Николай Павлович, выслушав Паскевича, тут же приказывает военному министру, князю Чернышеву, отдать сейчас [395] же высочайшее повеление о разжаловании полковника Мельникова в рядовые, а сам, нахмурив брови, направляется в объезд трех линий собранных войск.

Линейное учение, а затем церемониальный марш удаются превосходно. Государь в восторге от смотра, приглашает князя Варшавского сесть с ним в коляску и ехать в Лазенки.

— Ваше величество, — смело рассчитывая на безграничное к себе благоволение Николая Павловича, возражает фельдмаршалы — я не могу сесть, пока ваше величество не соизволите исполнить мою просьбу.

— Изволь, Иван Федорович, вперед обещаю, садись и скажи, в чем дело, — милостиво улыбаясь, отвечает императоры..

В тот же вечер состоялся высочайший приказ: за отлично-примерную службу, генерал-фельдмаршалом и наместником в царстве Польском засвидетельствованную, рядовой Мельников производится в полковники, а генерал-майор Шиллинг от командования бригадой

отрешается с зачислением по кавалерии и в распоряжение главнокомандующего кавказским отдельным корпусом. Этот-то самый пострадавший генерал и служил потом мишенью для остроумных выходок кн. В. С. Голицына, который на его страсти к игре и деньгам строил разные фарсы.

Однако, как ни откладывал я, а объяснения с главнокомандующим по миновать. По верным сведениям, отъезд наместника из Тифлиса назначался на 24-е мая; князь ехал в Елизаветполь, Шемаху, затем Лезгинской линией в Дербент и Кубу, оттуда в Дагестан, где, поручив князю Аргутинскому-Долгорукову осаду Гергебиля, сам через Кумыкскую плоскость должен был прибыть на левый фланг и у нас в Воздвиженском провести большую часть лета. Итак, оставалась только неделя, чтобы узнать что либо определенное о моей судьбе. Как то вечером заехал ко мне Минквиц предупредить, что на утро, по случаю праздника Вознесения, князь будет слушать обедню в Сионском соборе, и что повесткой от штаба приглашаются туда все военнослужащие, а “потому, прибавил он, воспользуйтесь, милый друг, удобным случаем представиться главнокомандующему”. Совета добрейшего Минквица я послушал и, не смотря на значительную толпу народа в соборе, протолкался на столько вперед и сталь близко от князя, что его сиятельство меня еще во время обедни заметил и, как мне показалось, улыбнулся. По окончании богослужения, приложившись к кресту, главнокомандующий направился к выходу, но вдруг остановился, оглянулся и, увидев меня, подозвал к себе: [396]

— Что ты, Полторацкий, совсем уже поправился? — ласково, положив мне руку на плечо, спросил князь Михаил Семенович и на утвердительный ответ мой, с самой добродушной улыбкой на тонких губах, добавил в полголоса: — а скажи мне, милый друг, ты никогда не пробовал прыгнуть с Ивана Великого?

Я смутился на столько, что князь это заметил и поспешил сказать:

— Ох, молодость, молодость... золотая молодость! — и, сев в коляску, послал по моему направлению воздушный поцелуй.

По мнению близко знающих характер князя Михаила Семеновича, он, не смотря на частую добродушную иронию, очень расположен ко мне, о чем они заключают из того, что из всей свиты своей он говорить “ты” изредка Васильчикову и постоянно только мне и Дондукову, ко всем же остальным постоянно относится на “вы”. Не знаю, можно ли было придавать этому значение, но лучше отнестись к le plus grand saut du monde вряд ли было возможно. Дондуков же особенно приобрел его благоволение, когда в 1847 году был послан им в Дагестан, в качества военного чиновника особых поручений, с очень спешными распоряжениями о направлении различных частей войск в разные пункты. Дондуков не застал их уже на местах и по собственному внушению, но именем главнокомандующего, направил их по известному ему плану князя Воронцова. Результаты этих смелых мер Дондукова оказались настолько удачными, что князь Михаил Семенович, обняв его, выразил ему полную благодарность и предложил адъютантскую при себе вакансию. Когда через несколько дней принесли расписание свиты главнокомандующего, я с восхищением прочел перед своей фамилией собственноручную пометку его сиятельства: “оставить отдохнуть в Тифлисе, а к 10 июня в станицу Червленную”. Такая же пометка стояла и перед С. Васильчиковым; значить, мы вдвоем с ним оставались еще хозяйничать в Тифлисе.

На другой день проводили наместника и его свиту, и мир водворился в городе. Сами же мы уехали 10-го и в Червленной соединились с поездом главнокомандующего. За обедом у него

познакомился я с эксцентричной личностью — авангардным кавказским помещиком и оригинальнейшим существом Акимом Акимычем Хастатовым. Он был видным деятелем в [397] известном Абулат-юртском поражении горцами Гребенских казаков, под командою Суслова, и на известной всем картине, изображающей горсть наших удальцов, отбивающихся от чеченцев из-за трупов ими зарезанных лошадей, Хастатов этот изображен плантатором в круглой шляпе с тростью. О нем ходить много любопытных анекдотов, но мне лично он не понравился своей излишней развязностью и самоуверенностью. Как совершенную противоположность этому господину, я встретил в лице другого нового знакомого, барона Розена, человека образованная, благовоспитанного и во всех отношениях чрезвычайно симпатичного. Служив прежде адъютантом у князя Горчакова в Варшаве, он перешел на Кавказ во время командования войсками здешнего края его дядей, бароном Розеном, а Гребенской полк он принял недавно от известного А. А. Суслова. Часть свиты князя Воронцова оставлена была им в распоряжении командующего войсками в Дагестане князя Моисея Захарьевича Аргутинского-Долгорукого, на которого он возложил нелегкую задачу во что бы ни стало взять с боя Гергебиль, а сам с нами переправился через Терек сначала в Грозную, где его встретил вместо Фрейтага вновь назначенный генерал-майор Нестеров, а затем в Воздвиженское. Я пока состоял в свите и в очередь дежурил при князе.

На другой день состоялся общий парад Куринскому полку, то есть мимо шефа весь полк прошел церемониальным маршем поротно. Главнокомандующий очень благодарил свой полк за доблестную службу и отличное состояние по фронту. При этом не могу не заметить, что ни одному взводу не удалось пройти мимо его сиятельства в ногу или даже в такт под музыку. Братья куринцы, парады не для вас, и вы ходите на штурм, под градом пуль, гораздо лучше ровняясь, чем на церемониальном марше пред вашим шефом. Да простить вам это Бог, как снисходительно прощает вам князь Михаил Семенович. А сам-то барон Меллер-Закомельский, как шел он перед полком? По маханью рук, его скорей можно было принять за ветряную мельницу, чем за бывшего командира гвардейской роты.

После парада был торжественный обед, который наместник давал своему полку. От господ штаб-офицеров до последнего цирюльника все легло в лоск. Значить, угощенье было на славу. [398]

Утром я разбужен был появлением своего двоюродного племянника, славного джигита, Павла Александровича Полторацкого и вновь прибывшего в отряд со взводом линейной казачьей батареи, сотника Тришатного. Оба они расположились в лагере за Аргуном: первый у своего приятеля Михако Эристова, а второй при своей части.

Константина Тришатного я хотя в Пажеском корпусе не застал (он с братом Львом вышел в 1842 году за три месяца до моего поступления), но часто встречал его в Петербурге, очень ему симпатизировал и по обычаю между пажами, даже не сверстниками, был с ним на “ты”. Отец Тришатного, бывший командир корпуса внутренней стражи и резервных войск, заслуженный ветеран, старый генерал-лейтенант, добрый и честный человек (по отзывам всех его знающих, особенно дяди Константина Марковича), подвергся тяжелой каре, по случаю страшной истории в кавказской резервной дивизии, находившейся под начальством генерал-лейтенанта Добршина. Злоупотребления этого превосходительства были действительно неслыханный! Генерал Полтинин, командированный от отдельного кавказского корпуса в Таганрог, за приемом в наши полки рекрут, из кавказской резервной дивизии, донес главнокомандующему о претензиях, ему заявленных нижними чинами на притеснения, жестокое обращение и

зверскую эксплуатацию, до истощенья физических сил, их начальником дивизии Добрышиным, заставлявшим солдат, конечно, с корыстною целью обрабатывать поля, на себе возить при уборке хлеб, словом, заменять собою рабочий скот, причем в довершение он кормит их скудно, не отпуская им и половины пайка, денег и обмундирования, получаемых им от казны. Князь Воронцов, поручив тщательным опросом всех нижних чинов проверить справедливость всех донесений генерала Полтинина, поспешил сообщить о том военному министру, князю Чернышеву, для доклада о преступных деяниях Добрышина государю императору. Его величество потребовал к себе Тришатного и, лично объяснив ему всю важность донесения главнокомандующего кавказским корпусом, изволил приказать ему отправиться в город Таганрог для строжайшего расследования вопиющих обвинений на начальника дивизии. Старик Тришатный немедленно поскакал туда, но ничего не открыл. Добрышин, предупрежденный о грозившей ему опасности, принял все возможные и [399] невозможные меры, чтобы добродушному начальству, как говорится, вставить очки. Все подчиненные его офицеры и солдаты не показали инспектору ни единой претензии, и Тришатный, не сумев принять иных мер для открытия истины, по доверчивости и дряхлости, всласть угощенный, успокоенный, но кругом обманутый и одураченный, явился обратно в Петербург с личным докладом государю, что все обвинение, взведенное на неповинного генерала Добрышина, основано лишь на интриге и клевете. Тогда по высочайшему повелению князь Чернышев уведомил князя Воронцова о результате произведенного исследования, с жестким при этом намеком на неосновательность сделанных его сиятельством сообщений. Но здесь коса нашла на камень. Самолюбивый и твердо убежденный в правоте своей, князь Михаил Семенович, задетый за живое, сейчас же написал всеподданнейшее письмо прямо государю императору, в котором донельзя щекотливый вопрос о преступлениях начальника дивизии поставил, так сказать, ребром, требуя вторичного и наистрожайшего следствия, прося в противном случае увольнения от службы.

Высочайше назначенная следственная комиссия была снаряжена немедленно и, явившись на место на этот раз совершенно неожиданно, как снег на голову, застала проделки Добрышина в полном ходу. Открылись страшные злоупотребления, но и кара, постигшая виновных, была не мягкая. За ложное донесение, сделанное его величеству о мнимом только наговоре, Тришатный лишен чинов, орденов и дворянского достоинства, записан в рядовые, с увольнением от службы и конфискованием всего имения его в пользу пострадавших, а Добрышин разжалован в рядовые, с лишением прав, без выслуги…

У старика Тришатного были ограниченные средства и, только благодаря большому содержанию на службе, он мог поддерживать существование многолюдного семейства своего в Петербурге, где две дочери фрейлины при высочайшем дворе, а два старших сына, Константин и Лев, гвардейцы конной артиллерии, конечно, требовали значительных издержек. Продолжать сыновьям службу в гвардии, без материальной поддержки из дома, было немыслимо, да к тому же они, как истые столбовые русские дворяне, уже успели изрядно запутаться долгами, и кредиторы стали немилосердно теснить их. Положение стало безвыходное. Судили, рядили и наконец решили между собою бросить жребий, кому из двух остаться в гвардии, а кому [400] принять на себя все долги и идти служить на Кавказ. Этот злополучный жребий выпал на долю Константина, и в то время, когда Лев, собрав наличные крохи прежнего великолепия, совсем чистый от долгов, продолжал носить блестящий мундир гвардейской конно-артиллерии, — бедняга Костя с общими долгами на шее, в оборванной черкеске, байгушем тянет тяжелую лямку в линейной казачьей артиллерии, не получая даже и

скудного, по чину сотника, казенного содержания, всецело вы читаемого с него на удовлетворение кредиторов. Но счастливый характер дан свыше Константину. Грустная обстановка настоящего положения нисколько, по-видимому, не приводила его в отчаяние и не мешала его веселому настроению. Даровитый от природы в музыкальном отношении и обладая сильным и звучным голосом, Константин Тришатный был вечным запевалой во всех сборных офицерских хорах, а как отличный собутыльник, оживленный и вдохновленный, бессменной душей общества. Наружность его сама по себе располагала всех в его пользу. Живые, умные глаза, при объемистом, длинном носе и юмористическом выражении честного лица, как-то невольно вызывали общее веселое настроение в окружающих, а постоянно мягкий его нрав приобрели ему любовь и симпатию всех сослуживцев, начальников и подчиненных. Замечательно то, что никогда и никто не выражал перед Тришатным и тени того пренебрежения, которое, к сожалению, зачастую проявляется в людях относительно угнетенных судьбою; напротив, все перебивали друг у друга удовольствие принять, приютить и угостить, хотя байгуша, но всеобщего любимца Тришатного.

Совсем в другом роде был племянник мой Павел Александрович Полторацкий.

Отец его, Александр Федорович, старший сын дяди моего Федора Марковича, был женат на прелестнейшей женщине, Надежде Александровне Исленьевой, которая молодой еще скончалась от чахотки. Для характеристики Александра Федоровича довольно рассказать следующий эпизод. Отец мой, очень любивший Надежду Александровну, узнав о ее отчаянном положении, поспешил поехать к ней, захватив и меня, тогда 8-милетняго мальчика с собою. Это было в Твери. Войдя по парадной, [401] щегольски убранной лестнице в просторную и светлую переднюю, отец мой спросил у лакея, дома ли Александр Федорович, и по получении утвердительного ответа вошел в первую комнату. Раскутавшись из теплого платья, и я бегом бросился за ним, но нагнал его уже в зале, где отец мой, пораженный представившимся зрелищем, остановился, как вкопанный: посреди комнаты, на большом столе стоял гроб, а кругом него лежали все траурные принадлежности, начиная с богатого покрова и кончая грудою свеч.

— Все кончено, — крестясь, глухим голосом проговорил отец. — Но как же вчера никто не ожидал такой близкой развязки?

Оглянувшись кругом и не увидев никого, отец тихими шагами вошел в гостиную. Она была пуста, кабинет также, но в спальне слышался шорох. Двери были не заперты, а только притворены. Отец толкнул их, и глазам нашим представилась потрясающая картина! На постели, тяжело дыша, со льдом на голове, лежала с открытыми глазами его любимица, бедная, симпатичная Надежда Александровна, а в ее ногах две малютки дочери на низеньких креслецах сами обшивали плерезами свои черные платьица... Пораженный неожиданностью, отец мой совершенно растерялся, и хотя больная, обратившись к нему, нежно стала благодарить его за участие, он, поцеловав ее, но даже не присев, поспешно вышел из комнаты. В зале нас встретил Александр Федорович. Отец порывисто схватил его за руку выше локтя и с пеной у рта, с трудом сдерживая бешенство, сказал:

— М..., что это значит? — причем указал на гроб и погребальный принадлежности.

— Ах, дядюшка, — с подлейшей улыбкой отвечал племянник, — ведь заблаговременно гораздо лучше можно все устроить, а то как скончается, то подлецы гробовщики сдерут втрое.

Мог ли по совести человек с таким чувствами ожидать лучшего возмездия, какое испытал он впоследствии от детей своих?

Оба его сына, Борис и Павел, были отчаянными кутилами и наделали массу долгов; из них Борис женился впоследствии на богачке Любе Рюминой в Москве и поправил свои дела, а Павел, истощив совсем терпение и кошелек отца, поддался, наконец, его совету уехать от долгов куда-нибудь подальше, хотя бы на Кавказ, тем более, что Александр Федорович обещал снабдить его изрядным кушем на дорогу. Ударили по рукам. Павел едет на Кавказ, но с тем, чтобы там подать прошение о принятии его вновь на службу. “Нет, постойте, Александр Федорович! — вдруг вскрикнул [402] предусмотрительный сынок: — я-то дам слово уехать, а как вы меня надуете? Не лучше ли денежки на стол?”, Делать нечего, взаимного доверия мало, пришлось отцу сейчас же раскошелиться.

На утро неприятность! За Павлом из канцелярии губернатора прислали приглашение явиться. Он спешит к губернатору. Бакунин принимает Павла очень вежливо и с участием сообщает ему, что один из кредиторов как-то пронюхал о временном пребывании его в Твери и подал ко взысканию с него 8 тысяч рублей ассигнациями, “до уплаты которых, — очень любезно добавил начальник губернии, — я не вправе вас выпустить из города”. Александр Федорович при этом известии схватил себя за голову, быстро пошагал по амфиладе комнат и, взвесив “за” и “против”, скрепя сердце, вынес из кабинета 8 тысяч, которые немедленно и были отправлены в канцелярию губернатора. Прошло несколько часов полного затишья, и снова записка с приглашением Павла к Бакунину. Тот же прием, та же причина вызова, но на этот раз требование по взысканию крупнее, в 12 тысяч... С Александром Федоровичем чуть не приключился удар. Он заперся в свой кабинет, долго боролся, охал и стонал, и только после трехчасового раздумья о грозящем ужасе и обманутых надеждах избавиться от сына, вынес опять злополучный 12 тысяч, торопя при этом детей (Борис тоже гостил у него) уезжать скорее. На следующий день раненько распорядился хозяин о приводе почтовых лошадей. Все уложено, все собрано, далее слеза огорчения блестит уже на глазах нежного родителя... И сто тысяч чертей! Посланный на почтовую станцию приносит убийственное известие, что, по приказание губернатора, почтовых лошадей не дают.

— Что это значит? — вскрикивает пораженный ужасом Александр Федорович и торопит скорее Павла съездить на объяснение к Бакунину. Тот и на этот раз принимает изысканно любезно и выражает глубокое сожаление о невозможности отменить приказание, так как ночью поступило новое взыскание в 20.000 рублей.

Что сделалось с Александром Федоровичем? Бледный, как смерть, с искаженными и внезапно осунувшимися чертами лица, несчастный отец судорожно сжимал кулаки... Но вдруг Александр Федорович встряхнул головою, вскочил с кресла и, моментально вступив в обычную колею, спокойным и даже торжественным голосом потребовал управляющего (а вместе и капельмейстера) Василия Михайлова. “Прикажи, почтеннейший, — очень сладко обратился он к вошедшему, — приготовиться оркестру и сейчас же напять две большие лодки!”, а затем находчивый хозяин, не теряя минуты, сделал распоряжение: на своей паре вывезти через вокзал дорожную карету сыновей [403] помимо заставы на шоссе и доставить ее на станцию Городню, а сейчас нее нести на набережную ковры и подушки. Час спустя, прекрасным майским днем спустились по реке две лодки: в первой сидели Александр Федорович со всеми членами дорогой семьи, а в другой — собственный его оркестр, стройно услаждавший слух гуляющей публики.

Губернатор Бакунин был извещен о случившемся в то время, когда милые туристы, высадившись в Городне, спокойно катили уже по Московскому тракту, а родитель их победоносно возвращался вверх по реке, хотя и с музыкой, но с разбитым сердцем о раньше уплаченных 20 тысячах.

Как быстролетная пташка, промелькнул через Москву Пашенька по направлению на юг, сюда на Кавказ. В Екатеринодаре подружился с казаком Михако Эристовым, братом прекрасной Елены, к ногам которой не стеснялся нести дань восторженного поклонения сам князь Михаил Семенович. Когда Пашенька представился его сиятельству с челобитной о принятии его на службу, князь спросил, не родственник ли оп Полторацкому, имени его полка. Павел с радостью ухватился за меня и отвечал князю, что мы ближайшие родственники. Как бы то ни было, но наместник милостиво предложил Павлу Александровичу для совместного со мною служения определить его в наш полк (что делалось князем далеко не для всех). Итак, я теперь на Кавказе не был один. Пока же он был добровольно прикомандирован к казачьей сотне. Он быстро свыкся с обычаями и вкусами бесшабашного линейного казачества и костюмом, ухватками и речами мало чем отличался от местных джигитов.

VII.

Приезд барона Николая из Гергебиля. — Доктор Андриевский. — Отъезд главнокомандующего. — Новый начальник левого фланга, генерал Нестеров. — Воспоминания о Фрейтаге. — Высочайшие приказы. — Предпочтение, оказанное барону Меллеру. — Смерть Гречневского и принятие 7-й роты. — Производство Меллера в генералы.

Июля 14-го (1846 г.) я был дежурным при князе-наместнике. После завтрака, когда все разошлись, князь Михаил Семенович, в неизменной синей фуфайке, занимался один в кабинете, а я из залы глазел в окна. Вдруг вижу едущую по площади повозку и в ней барона Льва Николаи. Зная, что оп был в дагестанском отряде при князе Аргутинском, я смекнул, что он едет к главнокомандующему курьером, а потому, не дав [404] ему времени подъехать к дому, я бросился в кабинет его сиятельства и доложил о прибытии Николаи. Старик стремглав выскочил на встречу уже входящему через сад курьеру и принял от него радостное поздравление с падением Гергебиля, обнял его и повлек за собою в кабинет. Прошло несколько минут, дверь оттуда отворялась, и князь с веселым лицом показался на пороги.

— Прикажи, милый друг, поскорее попросить ко мне начальника штаба и распорядись, чтобы барону сейчас же подали кушать, — а когда я бросился к выходной двери, он остановил меня и, крепко обняв, добавил: — а я второпях и не поцеловал тебя, ведь ты, мой милый, первый сообщил мне радостную весть.

Итак, после двухлетней борьбы, наконец-то, пал недоступный Гергебиль. Вестник этого счастливого события, барон Николаи, через час после своего приезда, уже катил в Грозную, а оттуда на курьерских в Петербург с донесением о победе государю императору.

После 1-го августа назначен отъезд главнокомандующего, который уезжал на воды, а оттуда в Крым. Я и Васильчиков оставались в распоряжении генерала Нестерова, но провожали князя из Воздвиженского и присутствовали при закладке 4-го августа новой крепости Урус-Мартан, которая должна была служить звеном новой передовой линии через Ачхой и Нарзан с Владикавказом. Вечером, по случаю свободного времени, мы составили вист в палатке Семена Михайловича Воронцова: князь, барон Николаи (брат), доктор Андриевский и я. Эраст

Степанович Андриевский был в отличном расположено! духа и во время игры, без умолку, распевал любимую свою песню: “Auf der Brucke, Brucke, Brucke, auf Калиничьем мосту” и т. д. Зычный голос его раздавался далеко, до ставки главнокомандующего, гулявшего в то время с Завадовским взад и вперед, около своей палатки. Вдруг Андриевский смолк, стал прислушиваться и, узнав голос корпусного доктора Хотинского, громко пропекавшего одного из полковых медиков, порывисто кинул карты и, как свирепый зверь, бросился на шум. Удивленные внезапным перерывом нашей игры, от его резкого исчезновения, мы тоже вышли за ним из палатки и издали сделались свидетелями оригинального боя петухов, Андриевского с Хотинским. Начала пререканий между ними мы не слыхали, хотя они, не стесняясь окружающею их толпою, кричали друг на друга во всю глотку, но мы застали финальное объяснение, когда Эраст Степанович на передней линейке во всеуслышание, в припадке сильнейшего азарта, с пеной у рта проревел:

— Таких, как вы, я уже много, ваше превосходительство, [405] в борщу сел! Смотрите-ж! — и затем, как ни в чем не бывало, он повлек нас обратно в палатку доигрывать роббер...

Сильный был на Кавказе человек — Эраст Степанович. Домашний врач и друг дома князя Михаила Семеновича Воронцова, еще с Одессы, он здесь на столько приобрел влияния на князя наместника и вообще на администрацию края, что многим стал поперек горла. Очень умный, ловкий и даровитый от природы, при высоком образовании и приобретенных больших познаниях, он, однако, отличался резким, даже дерзким тоном, который позволял себе, рассчитывая на свою силу при дворе тифлисском. Страсть его вмешиваться во все дела вызвала забавную сцену с самим князем, который своими ушами должен был выслушать от одного грузина отголосок общего в крае мнения о докторе. Перед часом обеда своего князь Воронцов вышел прогуляться по Головинскому проспекту. Подходя к Эриванской площади, он увидел впереди на тротуаре оборванного в лохмотьях бичо, при приближении князя опустившегося на колени и высоко поднявшего над головою бумагу.

— Что такое? Прошение? — спросил наместник,

— Да, да, ваш сиятельство, прошение! — суя ему в руки бумагу, подтвердил бичо.

— Встань, любезный, и объясни, в чем дело, — сказал князь, бросив взгляд на исписанный грузинскими иероглифами лист большого формата, изрядно загрязненный.

Бичо вскочил на ноги, принял трагическую позу и при скопившейся кругом толпе любопытного народа, не переводя духа, продекламировал заученную им речь:

— Вашу сиятельству! С тех пор, как ваша ногу вступила на благословенную Грузию, все несчастья обрушились на страну: холерва, депо (депо русских изделий, открытое в Тифлисе, по распоряжению князя наместника, конкуренцией своего очень подорвавшее торговлю грузин местными произведениями.), саранча и доктор Андриевский!...

— Любезный, — прервал просителя наместник, — приходи завтра во дворец, я прикажу разобрать твое дело.

И действительно, судя по вступлению, подробный разбор жалобы угнетенного сына Грузии был удобнее при закрытых дверях, чем на Эриванской площади.

6-го числа рано утром провожали главнокомандующего три батальона куринцев и вся кавалерия до реки Валерика, где колонна из Навагинских и Тенгпнских батальонов ожидала

для дальнейшего конвоирования князя; мы же вернулись в наш лагерь на Урус-Мартане. Много разговоров было о новом [405] начальнике отряда и дивизии нашей, симпатичном, редкой доброты, гостеприимном, красивом и статном генерале Нестерове.

Назначенный к нам начальником левого фланга, вместо Роберта Карловича Фрейтага, из Владикавказского округа, где он приобрел общую любовь и уважение, он на время уехал теперь опять во Владикавказ за своим семейством, поручив командование дивизией нашему барону Меллеру.

По как жестоко несправедливо поступили с Фрейтагом! Кто на Кавказе не признавал его выдающихся способностей, как военноначальника и честного человека? Кто не знал всех заслуг его в 1845 и 1846 годах? Кто из участников злополучной Даргинской экспедиции с благоговением не вспоминал о появлении общего спасителя генерала Фрейтага в Герзель-ауле, где гибель всего отряда висела на нитке. Кто, наконец, в 1846 году беспримерною энергией отстоял от погрома Шамиля Большую Кабарду? И вот все эти выдающиеся заслуги, снискавшие громкую славу Фрейтагу, были преданы забвению. Нет, впрочем, не забыты они, а лучше сказать они припомнились ему...

Когда в 1846 году отряд нага, в котловине Шамхал-берды, со всех высот окруженный многочисленными полчищами горцев, погибал от их оружия, а еще более от болезней и всякого истощения сил, без куска хлеба и сухарей, — главнокомандующий посылал через нарочных мирных горцев записки Фрейтагу об отчаянном положении отряда, приказывая, умоляя его, идти к нему скорей на выручку. Из девяти посланцев графа Воронцова не дошли по назначению, а погибли от кинжалов тавлинцев и лезгин, восьмеро, и только девятому, Алде, посчастливилось ночью проползти между освирепевшими и зорко за нами следившими врагами. Неприятель в громадных силах окружал жалкие остатки 24-х батальонов, понесших значительные потери при наступлении через Андийские ворота на Дарго, на половину истребленных в злополучной Сухарной экспедиции и окончательно испытавших полное поражение при отступлении на Герзель-аул. Уже двенадцать дней в котлах не варилась пища, уже семь дней во всем отряде нет куска сухаря... Люди едят недозрелую кукурузу и мясо павших лошадей. Раненых были тысячи, а больных и расслабленных прибывало не по дням, а по часам. Походные лазареты переполнены умирающими от голода и жажды, когда последовал приказ, при предположенном движении вперед, сжечь все палатки, а больных-безнадежных бросить. Отчаянная мера эта не выполнена лишь потому, что двигаться вперед оказалось невозможным даже и для мнимо-здоровых. Истощение физических сил не уступало нравственному упадку всего отряда. От генерала до последнего фурштата, все в ту незабвенную эпоху уже обрекли себя на верную смерть если не от ядер и пуль вражьих, то от голода. [407]

Озлобленные появлением врага в трущобах, как им казалось, недоступного убежища имама, теперь разоренного Дарго, горцы считали остатки нашего отряда совершенно пропавшими, а потому без усиленной энергии, даже совершенно пассивно, вели военные действия и через час по ложке бросали снаряды из орудий своих в нашу котловину, но снаряды эти, кроме задетых жертв, уже не производили никакой сенсации... Апатия была общая, безграничная. Всякий считал минуты до роковой развязки неминуемой драмы... Но в деморализованном донельзя отряде этом был еще человек и, вероятно, единственный, не потерявший присутствия духа и надежды: это был сам граф Михаил Семенович Воронцов. Лишившись последней булки, похищенной из его походного буфета старшим унтер-офицером почетного караула,

Алпидоновым, он уже третий день был почти без всякой пищи, но, полный нравственной силы и несокрушимого мужества, с неизменною на устах улыбкой, два-три раза в день объезжал ряды унылых войск. Спокойная, но убедительная речь графа умела вселить безотчетное, как казалось, ни на чем не основанное верование в возможность спасения, и ободренные солдаты, за несколько минут перед тем читавшие себе отходные, сразу оживали, верили, надеялись и, бросая вверх папахи, громко оглашали воздух восторженными криками “ура!”. И действительно, в то время, как положение отряда достигло высшего продела истязаний, мирный лезгин Алда вручал лаконическое послание графа Воронцова генералу Фрейтагу. Роберт Карлович в ту же минуту, схватив с собою все войска из Грозной, Воздвиженского, Ушахан-юрта и Курпиского, а также из всех по пути укреплений, оставив для защиты их стен стариков, неспособных и вооруженных женщин, стремглав, без отдыха, бросился к Герзель-аулу спасать остатки победоносно завоевавшего Дарго отряда. Издали, еще накануне появления своего в виду погибающих, он пушечными выстрелами известил о своем приближении и тем воскресил присужденных к смерти. Все ожило, ободрилось и без оглядки, беспорядочною толпою, бросилось на встречу избавителей. Неприятель, изумленный неожиданным появлением свежих сил, с остервенением бросился на расстроенную горсть обессиленных и раненых и жестоко стал рубить оплошных. Но со всем тем выручка свершила свое великое дело. Уцелевшие от последнего погрома были спасены и восторженно приняты в объятия своих спасителей. Благословений Фрейтагу не было конца.

Но прошло два года, и святые чувства благодарности сменились иными, более мелкими. Внутреннее убеждение, тяжелое сознание, что славой в спасении обреченного на гибель отряда пришлось поделиться с другим, породило чувство недоброжелательства, [408] далее ненависти. Усвоенное кавказскими солдатами название отряду Фрейтага “выручки”, а ему самому “спасителя” глубоко оскорбляло вновь пожалованного князя и довело его до постыдного малодушия. Весною 1848 года, по настойчивому ходатайству князя Воронцова, доблестный генерал Фрейтаг высочайшим приказом назначен генерал-квартирмейстером в армию князя Паскевича, а наша кавказская навсегда лишилась одного из лучших и честнейших ее деятелей… Факт возмутительный, особенно в глазах старых кавказцев. Ему-то эти беспристрастные служаки всецело приписывают предложенный план покорения Кавказа не эффектными нашествиями на резиденции Шамиля, как были в Ахульго и последнее в Дарго, стоившие миллионы рублей и многих тысяч жизней, без всякой существенной пользы и результатов, а систематическое истребление лесов и шаг за шагом твердое движение вперед, в самую глубь неприятельской страны. О Фрейтаге пели солдаты: “Опять нас Фрейтаг поведет искать победы, славу!”, или далее: “Где Фрейтаг наш, там страха нет, и неизбежна слава”, и, наконец, в песне о походе в Кабарду: “А Фрейтаг удалой, хоть вспотел… да поспел!”.

Почта в лагере ожидалась всегда с особенным интересом; скоро получились высочайшие приказы: барон Лев Николаи назначен был флигель-адъютантом, князь Васильчиков произведен в ротмистры, а Дондуков переведен тем же чином в гвардию; князь Барятинский произведен в генерал-майоры, конечно, свиты. Это производство должно было разлить желчь Меллера. Он на полтора года старше Барятинского в чине полковника и рисковал попасть к нему, баловню судьбы, под начальство.

Для меня, однако, та же неопределенность. 12-го ноября предполагался роспуск отряда по домам, а я еще не знал, куда мне деваться, оставаться ли в Воздвиженском, или ехать в Тифлис. Но долго длилось мое недоумение. Рано утром Меллер прислал за мною ординарца.

— Ну-с, mon cher ami, что вы намерены с собою делать? — встретил меня вопросом барон. — Послезавтра мы все в Воздвиженское, а вы куда?

— Право, Петр Петрович, я и сам не знаю, — отвечал я.

— В таком случае, Полторацкий, послушайте моего совета и возвратитесь в полк, в строй. Толкаться из угла в угол молодому и хорошему (подчеркнул Меллер) офицеру право не хорошо. Из корпусного штаба главнокомандующего о вас ни письменно, ни словесно, не сделано никакого распоряжения, а потому ехать вам опять в Тифлис не представляется непременною необходимостью. К тому же, я знаю, вы там порядочно растрясли деньженки и запутались долгами, а в этом, согласитесь, [409] mon cher, хорошего мало. Оставайтесь-ка лучше в полку, где и дешевле, да и выгоднее вам будет по службе. Я молчал, не зная, на что решиться.

— Ей, ей, — продолжал полковник, — лучше подождите в полку формального назначения адъютантом к главнокомандующему. Тогда с Богом, а пока принимайте роту.

— Как? какую роту? — в недоумении спросил я.

— 7-ю егерскую! По донесению, полученному сегодня ночью, Греченевский вчера в Хан-Калах смертельно ранен, а потому-то я послал за вамп, чтобы решить вопрос о назначении нового командира роты. Хотите, или нет, решайтесь, mon cher?

— Хочу, хочу, Петр Петрович, и именно 7-я рота мне особенно по сердцу! — ответил я барону, тут же пославшему за полковым адъютантов, чтобы отдать приказ о моем назначении.

Но бедный Греченевский! В Воздвиженском я узнал подробности. 9-го ноября, три роты, в том числе и 7-я, провожали обратную оказию из Грозной в Воздвиженское. Пройдя Ермоловский курган, не вдалеке от Черной речки, колонне был дан привал. На левой Хан-Кальской горе показались два неприятельских всадника. Они громкими возгласами ругани на ломанном русском языке всячески старались привлечь на себя внимание наших в ущелье расположенных войск, но, видя безуспешность задирания на словах, дали по ним два выстрела. Пули просвистели где-то высоко и на излете шлепнулись около лежащего на траве Греченевского.

— Эх, подлецы, задам же вам, по не отсюда, а поближе! — вскакивая на своего караго кабардинца, вскрикнул Греченевский и вихрем пустился к кустам. У самой подошвы горы, осадив коня, он из чехла ловко выхватил винтовку, вскинул и уже прицелился, когда совершенно неожиданно вражья пуля ударила его в грудь. Греченевский попался в ловушку! Он не ожидал, что один пеший, скрывшись за кустом, поджидал свою жертву и метко всадил ему пулю под самое сердце. После двух суток страданий, Греченевский в полном сознании отдал Богу душу. Первую службу и самую грустную исполнил я при выносе и погребении праха этого рыцаря без страха и упрека и беспримерно-скромного Александра Григорьевича Греченевского.

Однообразная жизнь наша нарушилась радостью за нашего полкового командира. 15-го декабря батальон наш назначен был в лес за строевым материалом. Рано утром до выступления Фома Васильевич Костырко явился за приказанием к барону Меллеру.

— Господи и полковник, честь имею.

— Нет, нет, не так! — прервал его Петр Петрович. [410]

Костырко смутился и опять начинает свою стереотипную фразу: господин полковник, честь...

— Да нет же, говорю вам, — снова перебивает Меллер, — называйте по чину иначе!

— Да, да, да, да, — твердит Фома, уже почесывая свою шишку, — как же, как же величать вас, полковник?

— То-то и есть, подымайте выше, — заметил весело Меллер.

— Да, да выше? Выше? Не понимаю, полковник! — совершенно растерявшись, возражает наш храбрый подполковник.

— Говорите, Фома Васильевич, не полковник, а ваше превосходительство! — счастливо улыбаясь, ответил барон.

Старик опять задумался, сообразил, постиг, в чем дело, и рассыпался в поздравлениях перед молодым генерал-майором. Барон, на радостях, оказал щедрость, с ним небывалую, отсыпав на каждую роту полка по 100 рублей серебряных, что в сумме составляло, с фурштатской и инвалидной ротами, расход почтенный в 2.200 рублей, кроме трубачевской и писарской команд. Меллер, не смотря на производство, остался, все-таки, командиром Егерского князя Воронцова полка, чем наш барон не огорчился вовсе.

В. Полторацкий.

(Продолжение в следующей книжке)

Текст воспроизведен по изданию: Воспоминания В. А. Полторацкого // Исторический вестник, № 2. 1893

ПОЛТОРАЦКИЙ В. А.

ВОСПОМИНАНИЯ

(Продолжение. См. “Исторический Вестник”, т. LI, стр. 367.)

VIII.

Плачевная история Копьева. — Временное командование 3-м батальоном князем Семеном Михайловичем Воронцовым. — Дружба с Тришатным. — Инспекторский смотр. — Генерал Козловский. — Биография Александра Алексеевича Суслова. — Абулат-Юртовское дело 1846 года. — Авангардный помещик Хастатов. — Дуэль с Фридерици.

Встреча 1849 года прошла очень тихо. Из новостей узнали мы резолюцию по делу Копьева. Это была возмутительная история, разыгравшаяся в конце 1848 года в Гренадерском полку. В желтый ящик, по приказанию главнокомандующего, прибитый около парадного подъезда дворца, с надписью: “для приема писем, жалоб и прошений”, был опущен анонимный донос на противозаконные действия командира помянутого полка, флигель-адъютанта Копьева. Князь Воронцов, не придавая безусловной веры этому доносу, поручил доверенному лицу

произвести секретное дознание, которое, по-видимому, настолько подтвердило анонимные обвинения, что внезапно арестованный полковник Копьев предан был военному суду. Назначена была судная комиссия по личному усмотрению главнокомандующего, которой при всем усердии не удалось найти малейшего повода к обвинению подсудимого, и, оправдав Копьева по всем статьям, она поневоле доказала, что [724] донос в благодетельный желтый ящик был не что иное, как клевета, низкая интрига. Но как было не разобрать дела предварительным расследованием всех голословных обвинений в анонимной кляузе? Копьев, посаженный накануне на гауптвахту совершенным брюнетом, на утро оказался седым, а во время восьмимесячного суда потерял сошедшую с ума жену и ребенка. По всем отзывам, это был человек во всех отношениях достойный и симпатичный, и тем печальнее является факт рокового недоразумения.

Только 14-го числа (января) пришел из Грозной генерал Нестеров с отрядом, а с ним и новый наш батальонный командир, на время экспедиций, Семен Михайлович Воронцов. Фома же Васильевич Костырко назначался командиром двух батальонов, 2-го и 3-го. Молодой князь Воронцов был отличный ездок (впрочем английской школы) и, конечно, смел и отважен в опасности, хладнокровно встречая ее лично. Мы же сомневались, войдет ли он в нужды и всю тяжелую обстановку кавказского офицера и солдата. Но наши опасения были напрасны. Молодой князь оказался очень сердечным и вполне порядочным человеком, чему лучшим доказательством служат его отношения к Тришатному. Тришатный явился к нам с взводом своей линейной батареи совершенным байгушем, без палатки, без кухни и даже без самовара. Раз утром я пошел его отыскивать, и о ужас! Не смотря на стукнувший в прошлую ночь мороз и довольно сильный северный ветер, я нашел его лежащим на кошме, между двух передков орудий: сверху он был прикрыт натянутой дырявой буркой, а с боков защищен от непогоды и пронзительно сквозного ветра спицами колес орудий. Не успел я поздороваться и подсесть к нему, как неизменный Кириченко (денщик), с неподражаемою важностью обер-шенка, на дощечке от какого-то ящика из духана, поднес мне громадную посудину с кипящим глинтвейном.

— Как? Ни свет, ни заря, а уж ты прохлаждаешься горячими напитками? — удивленно спросил я хозяина фантастического помещения.

— Да, милый друг, — отвечал он, — чай, пожалуй, был бы и лучше, да не по средствам, с ним хлопот много. Там нужен самовар, вода, уголь, стаканы, ложки, сахар и, наконец, чай, а у меня этого ничего не имеется.

Я предложил Тришатному перебраться ко мне, но, как настойчиво ни убеждал его, Костя упорно отвергал мои просьбы, ссылаясь на слишком близкое ко мне соседство молодого Воронцова.

— Как хочешь ты, Владимир, чтобы я согласился почти под одной крышей жить с человеком, отец которого погубил моего отца. Нет, нет, и сто раз нет! [725]

Я бросился к Семену Михайловичу, рассказал все виденное и слышанное, и нашел в нем самое живое участие, самую неожиданную готовность искренно и от души протянуть руку Косте. Воронцов подтвердил, что служебные отношения отцов не должны иметь влияния на отношения их сыновей, а потому он готов сделать первый шаг к знакомству с человеком, о котором уже много слышал хороших отзывов. В доказательство, что это не пустые фразы, князь просил меня отвести его на бивуак сотника. Знакомство состоялось при самых

дружеских излияниях Воронцова, чем он не только обрадовал, но и удивил меня. Отстранив таким образом единственное препятствие к переселению, я устроил Тришатного в своей палатке. С Воронцовым он сошелся по душе, и наш князь был от него в восторге; целые дни мы проводили вместе. Вообще, вопреки молве и моим ожиданиям, Воронцов оказался в обращении простым и подходящим, а под пулями так щегольски-хладнокровным и смелым, что заставил уважать себя. Помимо этого, князь был очень радушен и гостеприимен, кормил и поил нас всех отлично и в довершение угощал великолепными папиросами темно-лилового цвета, из Одессы.

Когда окончился первый период экспедиций, князь распрощался с нами, сдал командование 3-м батальоном и уехал восвояси. Прощание было с обеих сторон самое задушевное: двадцать дней бивуачной жизни под ядрами и пулями, конечно, сближают людей более, чем десятилетние знакомства, поддержанные встречами на Невском проспекте.

Между тем 31-го марта был отдан приказ о предстоящем инспекторском смотре начальником бригады, генерал-майором Козловским. Давался всего один день на приготовление, и в этот день надо было обучить солдат ружейным приемам и церемониальному маршу. Накануне смотра, наш батальонный командир, Фома Васильевич Костырко, отдал приказание выстроиться развернутым фронтом за Чечкеринские ворота. В назначенный час мы вывели роты, но как строиться, не знали. Батальонный адъютант, подпоручик Шуйский, скачет на квартиру подполковника Костырко и вместе с ним является обратно. Мелларт, швед, несколько знающий строевую службу, спрашивает командира, как строиться: правым ли флангом, или левым к воротам. Костырко осклабился и с насмешкой отвечает: — Да, да, хлангом куда? Как будто не все равно, как ни строиться? Спереди подъедешь, будет направо правый хланг, а если, да, да, построиться иначе, да, да, и заедешь сзади, — опять же вправо будет правый хланг, а влево, да, да, левый хланг!

Построились от ворот, справа налево. Фома Васильевич, не торопясь, выехал к середине батальона, с неизменным в [726] руке хлыстом свежей черешни, несколько раз подернул папаху, снял ее, почесал на голове шишку и, в раздумье раз десять проговорив: да, да! скомандовал: “смирно!”.

— Шуйский, Шуйский! как в том приказе бишь сказано, обучить… чему бишь?

— Ружейным приемам и церемон…

— Ну, да, да! Это насчет марша, после! А теперь позовите всех ротных командиров.

Подходим, руку под козырек.

— Господа, помните, что у нас на Кавказе на военном положении, а с заряженными ружьями, да, да, строго запрещено брать на карауль. Так ли это?

— Запрещено, г. подполковника — вставляет Мелларт.

— Да, да, — радуясь, что не соврал, подхватывает Костырко, — Да, да, запрещено, а там какие же другие приемы? Одно разве шомпол в ложе, к осмотру ру…жей! Под…высь! да, да, и больше ничего нет! — решил он.

В силу этих глубоких соображений и познаний военного артикула и рекрутской школы, Фома Васильевич слезает со своего вороного и идет вдоль развернутого фронта, притворяясь, что

глядит на ружья, а в сущности вскидывает глаза на левый фланг, с явным выражением на раскрасневшемся лице: “Господи, скоро ли конец этой пытке?”. Поспешно проверив все три шеренги, он, наконец, добрался до желанного “хланга”, взгромоздился на вороного и скороговоркой сказал: “Ну, слава Богу, да, да! Теперь можно и за церемониальный марш!” Хор полковой музыки давно ожидал в стороне. Достроились в ротные колонны, музыканты зашли вперед и, по указанию Шуйского, стали фронтом к валу, а Фому поставили против них спиной ко рву крепости, но так близко, что осади его лошадь на полшага, и Костырко бухнулся бы с нею на влажное дно рва, но этого, слава Богу, не случилось. Начался церемониальный марш. “Подивизионно справа, на дивизионную дистанцию, дирекция”, — командует громко Фома то, что ему подсказывает Шуйский. Проговорив “дирекция”, он приостанавливается и тихо возражает Шуйскому: “Зачем же опять направо?”. “Дирекция направо!” — неумолимо требует Шуйский. “Ну, да, да! пожалуй!” — громко соглашается Костырко. Музыка грянула “Герзель-аульский марш”, и 3-я карабинерная рота зашагала вперед смело, бойко, но решительно вся не в ногу. За ней еще с меньшим успехом пропонтировала моя 7-я рота; даже в задней шеренге один из молодых солдат неловко наступил на каблук выше шедшего передней шеренги, споткнулся, и как ни старался удержаться в вертикальном положении, а, все-таки, растянулся во всю длину свою как раз против начальства, в эту минуту [727] благодарившего 7-ю и 3-го роту громким и веселым одобрением: “Да, да, славно, братцы”, на что дружно, но смеясь, “рады стараться, ваше высокоблагородие!” — во всё горло орали солдаты. Не лучше моих прошли егеря Лазебникова и Мерклина, и так же, как и я, не зная, идти ли прогуливаться чистым полем, или остановиться, но по вдохновению свыше, все повели наши роты домой.

На другой день состоялся инспекторский смотр. Подробно и последовательно описать его со всеми эпизодами, приключениями и анекдотами и долго, и скучно, а главное невероятно. Кто из военных людей армии, расположенной в России, а тем более блестящей гвардии, сам не был здесь и своими глазами не видел тогда кавказских боевых полков в строевом их отношении, тот и писанному, как и словесному, их очерку не поверит. Надо хорошо знать обстановку службы кавказского солдата, чтобы не критически, а вполне снисходительно рассуждать об этом безобразии. Будучи постоянно на передовых линиях, они вместе с систематическим напором вперед двигаются со всеми штабами своими, тоже вперед, на новые места. Не успеют они совершенно устроиться на новой территории, как глядь, опять должны штыками выбивать горцев из насиженной местности, основывать новые укрепления, крепости, целые передовые линии, и тот полк, который подумал: “ну, вот, мы отдохнем здесь”, уже в авангарде опять прет вперед, кровью обливает отбитые трущобы и под открытым небом, или того хуже, в сыром подземелье, перезимовав год, иногда два, наконец приступает к постройке новой штаб-квартиры. Итак обвинять кавказского солдата за то, что он не умеет ходить с носка в ногу, нельзя, невозможно, грешно Наш бригадный генерал, Викентий Михайлович Козловский, дворянин Могилевской губернии, воспитывался в первом Шляхетском кадетском корпусе, в Петербурге.

В двадцатых годах он оставил заведение, так как был исключен без производства в офицеры “за неуспехи в науках”. Юнкером он был зачислен в Кабардинский полк, где и подвизался более тридцати лет сряду и заслужил единогласные о себе отзывы, как об офицере честном, исполнительном и беззаветно храбром. После знаменитого его дела под Внезапной, в Андрееве, где он с двумя ротами своего батальона штыками выбил громадные скопища неприятеля, предводимых самим Шамилем, он в чине подполковника сначала заведовал, а вскоре затем Высочайшим приказом назначен командиром Кабардинского полка. В

достославном походе Вельяминова в Ичкерию, в 1842 году, Козловский со своими батальонами вынес на плечах в арьергарде отступление всего отряда через дремучие леса, не смотря на самые ожесточенные натиски неприятеля, и этим подвигом снискал себе громкую славу на [728] столько, что с тех пор его имя сделалось на Кавказе нарицательным названием всего бесстрашного. В 1847 году он сдал свой родной полк, в котором с юнкерских галунов взял с боя генеральские эполеты, — флигель-адъютанту князю Барятинскому. Наружности Викентий Михайлович был далеко не красивой: небольшого роста, сложен, как чурбан; лицо его изображало перепеченное яблоко с воткнутым посредине носом, в виде пунцовой клюквы, но общее выражение всей его фигуры мягкое, прямое и самое добродушное. Отсутствие красноречия с беспрерывным повторением: “как, как!” — вознаграждалось оригинальностью его речи и той простотой обращения, которая выше всего ценится солдатом. Нужно к этому прибавить, что Козловский, пробыв безотлучно на Кавказе в продолжение всей своей службы, если и знал, то совершенно забыл воинский устав того времени, а с новым не встречался вовсе, считая, и не без основания, что при существующем способе войны на Кавказе солдату следует внушать не уменье равняться с другими, а быть всегда впереди их!..

С этими высокими воззрениями Викентий Михайлович, вероятно, не расставался и во время нашего смотра, который, благодаря этому, и сошел благополучно. Мало того, он каждому офицеру нашел сказать что-нибудь ласковое и добродушное, а солдат приветствовал:

— Как, как! здорово братцы мои, как... куринцы! Последние слова достойнейшего Викентия Михайловича, уже из тарантаса, были:

— Да, как, прошу, господа, как!.. Меня любить, как, и жаловать!

Через несколько дней после смотра, наш генерал Меллер уехал в Тифлис, а командующим войсками в Воздвиженском, на время его отсутствия, был назначен полковник Суслов, знаменитый по Абулат-Юртовскому делу в 1846 году. Я знаком был с ним еще раньше, а теперь имел случай ближе узнать и лично выслушать все его похождения, которые вместе с подтверждением очевидцев представляют очень интересные эпизоды из войны Кавказской.

Потомственный дворянин, кажется, Тамбовской губернии, Александр Алексеевич Суслов в очень молодых летах поступил в военную службу, в Малороссийский драгунский полк юнкером, а затем, после многих лет перипетий, судьба бросила его на Кавказ.

— У меня-с, государь мой, — вскакивая со стула, визгливо вскрикивал он, — никогда не было никакой протекции, и все, что я приобрел теперь, я взял одною службою. [729]

Как бы то ни было, но Суслову еще в майорском чине дали Гребенской казачий полк.

Я больше всего интересовался Абулат-Юртовским делом и дуэлью Суслова с Фридерици, о чем и записал со слов очевидцев и на основании рассказа Суслова. Надо заметить, что полковник был темперамента неимоверно горячего, пылкого и увлекающегося, а вместе и очень странного. Начинает Суслов говорить тихо, плавно, спокойно, еле слышно... и вдруг вскакивает с места, кидает кресло свое в сторону и с блестящими глазами, задыхаясь от волнения, еле переводя дух, кричит резко, пронзительно, все сильней и сильней. Тут он, размахивая руками, уж себя не помнит, в исступлении бьет себя в грудь и, подскочив к своему собеседнику близко, близко, опускается на что попало и шепотом посвящает его в свои страдания, болезненные припадки и всевозможные недуги...

Начинаются снова самым тихим образом чувствительные жалобы на страшную боль в груди, удушье, на общий упадок сил… и вдруг, как пробка из бутылки шампанского, он стремительно отскакивает в дальний угол комнаты и неистовыми возгласами оглушает слушателя.

Итак, в 1846 году, в мае месяце, когда казаки Гребенского полка были на полевых работах в степи, около дальних хуторов своих, а в Червленной станице оставалась только сотня, и командир полка, подполковник Суслов, валяясь на диване, наслаждался полнейшим кейфом, в десятом часу утра, со стороны Щедринской станицы послышался выстрел из орудия, за ним другой и третий.

По сигнальной трубе подается “тревога”, казаки дежурной сотни стали выскакивать на станичную площадь. Суслов, ногу в стремя и с места в карьер, повел их за ворота станицы. Миновав Щедринскую, он узнал от прискакавшего с кордона казака, что “ион палит, кажись, за Шелководской!” Гребенцы еще прибавили хода и, взмыленные кони, понеслись как птицы. Слышны опять учащенные выстрелы, но они еще не близко. Вот и станица Шелководская, вот господский дом, а вот на балконе его и сам хозяин — Аким Акимович Хвастатов.

— Куда скачете, Александр Алексеевич? — спрашивает он Суслова.

— На тревогу, а куда, и сам не знаю! — отрывисто крикнул тот, ускакивая вперед по улице.

— Стой, казак! — тем временем повелительным голосом осаживает Хастатов одного из задних гребенцов, — давай сюда коня!

И, не долго думая, с одною тростью в руках, перепрыгнув через балюстраду своего балкона, вскакивает на казачью [730] лошадь и, забывая, что он без всякого оружия, в летнем пальто-сак и в панама-шляпе, во всю прыть несется, чтобы догнать своего приятеля Суслова.

Выбравшись за станицу, казаки “бегли” еще верст пять и тогда только с правого берега Терека могли определить, что пальба идет в восьми верстах от Терека, в малом укреплении нашем Абулат-Юрте. Частью вброд, но больше вплавь, все они выкарабкались на другой берег широкого и быстрого потока. Тут Суслов, собрав всех, проверил сотню и насчитал в ней всего 85 человек и при них три офицера: есаула Комкова, сотника Федюшкина и хорунжого Фролова, да с грозною тростью — сверхштатного помещика Хастатова. Суслов послал в крепость урядника, чтоб не морить всех людей, узнать о случившемся. Вскоре посланный привез известие, что партия конного неприятеля несколько раз нападала на укрепление, но была отбита и очень недавно ушла по направлению Качкалыковского хребта. Суслов не справился о размере этой партии и, в надежде ее нагнать и как следует пугнуть, скомандовал “рысью” и пошел вперед. Таким образом, гребенцы “пробегли” еще верст восемь и, не замечая никого впереди по волнистой местности, подвигались довольно беспечно. Внезапно видят они, что передовые их наездники, въехавшие на ближайший курган, круто повернули назад и во весь опор несутся к ним навстречу, отчаянно размахивая папахами. Оказалось, что когда они поднялись на курган, то с ужасом увидели у подошвы его и в соседней балке громадную партию неприятеля. Чеченцы, после усиленного перехода, остановились здесь отдыхать и, стреножив лошадей, пустили их на траву. Но, заметив силуэты неожиданно появившихся казаков, горцы, конечно, подняли тревогу, бросились к лошадям и пустились за казаками в погоню.

Суслов, при виде массы несущегося неприятеля, скомандовал сначала “назад в карьер”, но тут же одумался и, сообразив, что на утомленных лошадях нет никакой надежды спастись наутёк,

приказал им живо строиться в каре (другие приписывают эту мысль храброму есаулу Комкову.). В это время туча неприятеля, не менее четырех тысяч, стремительно повела атаку в шашки на горсть гребенцов, уже успевших встретить врага дружным залпом, одним, другим, третьим. Горцы рассыпались и открыли из винтовок частый и меткий огонь. Суслов, возлагая все надежды на спасение только в стойкой обороне, скомандовал: “режь коней!” — и, соорудив из трупов их еще животрепещущий бруствер, приказал казакам за них залечь и отстреливаться от неприятеля, видимо готовящегося вести второе нападение. Недолго заставила себя ждать эта вторая атака. [731]

Еще с большим остервенением бросились чеченцы на гребенцов, но казаки, подпустив их на пистолетный выстрел, встретили свинцом в упор так удачно и метко, что вся туча со значительной потерей отступила назад. Опять чеченцы открыли огонь и нанесли нашим значительный урон пулями. Суслов и офицеры всячески старались поддерживать в казаках геройский дух. Хастатов с начала боя грозно и картинно размахивал своею тростью, а теперь схватив винтовку убитого казака, также залег за тушей лошади. После этого последовало еще шесть самых отчаянных атак, но десница Всевышнего еще охраняла оставшихся в живых воинов.

Бой кровавый, страшный и почти беспрерывный, бой на смерть, продолжался уже более пяти часов, но геройский дух казаков не погнулся; заметна великая убыль бойцов.

— Православные братья-станичники! — зычно кричит Комков, — не падайте духом! Господь за нас… Кто из пораненных еще в силах помочь, заряжай винтовки и подавай их тем, кого Бог за грехи еще терпит!

И по примеру молодца есаула, самого уже тяжелораненого в ногу, как воскресшие мертвецы, поползли раненые с винтовками в руках, страшно изувеченные, еле дышащие…

Но вот опять столпились горцы, со всех фасов окружили кровавое на степи пятно и стали готовиться к его истреблению с лица земли. Раздался душу раздирающий шакалиный гик вместе с топотом нескольких тысяч конных ног, засверкали в воздухе блестящие клинки, все слилось в чудовищную массу и обрушилось стеной, страшной, губительной. “С нами сила крестная и непобедимая, станичники! Не поддавайся нехристям!” — послышался опять голос Комкова и… сила эта благодатная и спасительная еще раз отстояла приговоренных к смерти. Потеря в это время достигла свыше 50 человек из 85. Но в то время, когда отчаянные бойцы каре, закоптелые в дыму и обагренные кровью, с угасающею надеждой, проверяли слабые остатки товарищей, — среди неприятелей внезапно проявилось смятение.

Казаки, очень тщательно скрывая себя за бездыханными трупами коней своих, сами зорко следили за всем, что происходило у врагов, и теперь стали с напряженным вниманием приглядываться в ту сторону, откуда, — о, благословение Господне, — послышались им барабаны и сигнальные рожки горнистов. Вот видна уже и пыль бегущих людей на помощь, на спасение! Здоровые, раненые и умирающие стали креститься, благодаря Бога. Но горцы, предвидя, что гребенцы ускользнут теперь от них, бросаются в последнюю, бешенную атаку. Казаки не дремлют; сильно ободренные, они напрягают последние силы, дерутся в рукопашной свалке, как львы, и отбивают нападение в ту самую [732] минуту, когда ядро наше со свистом вырывает целый ряд пораженного неприятеля. За этим второй залп, и чеченцы в беспорядке обращаются в бегство. Несколько минут спустя подполковник Майдель и молодцы

его 3-го батальона Кабардинского полка, с трудом переводя дух от спешного бегства, по-братски обнимали спасенных ими гребенцов.

Дело под Абулат-Юртом доказало, что горсть людей русских, при непоколебимой вере в милосердие Божье и несокрушимом мужестве, в известные минуты жизни способна явить собою, в борьбе с врагом в 50 раз сильнейшим, силу недоступную, неодолимую. Память об этом никогда не умрет в кавказском линейном казачестве. Картина известного художника Тимма, с бесчисленным количеством копий, изображает отчаянный бой червленских станичников при натиске громадных скопищ чеченских. Государь император щедрыми милостями осыпал деятелей славного боя. Суслов произведен в полковники и удостоен высшей и столь редкой на Кавказе награды — Георгиевского креста. Комков, Федюшкин и Фролов получили следующие чины и ордена, а все оставшиеся в живых нижние чины — знаки отличия военного ордена и денежные награды. А. А. Хастатов всемилостивейше награжден орденом св. Владимира 4-й степени с бантом и, сверх того, от всего казачества — титулом “авангардного помещика”.

Суслов восторженно рассказывал мне, что, когда художник Тимм представил напитанную им картину на выставку в академию художеств, государь предложил наследнику цесаревичу и атаману всех казачьих войск приобрести эту картину и пожаловать ее в подарок Суслову, у которого она и хранится до сих пор, как святыня, в его семействе.

К странностям Суслова надо еще добавить, что он очень потворствовал религиозным заблуждениям гребенцов, у которых, не смотря на преследование правительства, были свои “собливые молельни” в трущобах и отдаленных скитах. Злая хроника рассказывает даже, что сам командир гребенских казаков (а их до 18 тысяч душ), подполковник Суслов, принял на себя даже звание их верховного пастыря и будто бы не раз лично, в усвоенном духовном облачении, отправлял сам служение за архиерея их толка (справедливость этого невероятного обстоятельства подтверждается, впрочем, многими свидетелями, например, С. М. Ушаковым.). Говорит, что в час доклада следственной комиссии об этих деяниях, когда князь Воронцов уже обмакнул (будто бы) перо подписать предание Суслова суду, — в эту самую минуту отворилась дверь, и перед ним предстал посланный от генерала Фрейтага с подробным [733] донесением о блестящем подвиге под Абулат-Юртом; несколько минут спустя и тем же самым пером главнокомандующий подписал представление на высочайшее имя о награждении Суслова георгиевским крестом и чином. Si non e vero, e ben trovato!

Рассказав о последнем qui pro quo, не могу пройти молчанием курьезной дуэли Суслова с Фридерици, страшным кутилой, офицером его полка, прикомандированным из гвардии. В один прекрасный день, проездом из Темир-Хан-Шуры в Грозную, гр. Бенкендорф, князь Барятинский и гр. Ржевуский, все трое флигель-адъютанты, заехали к Суслову и вместе с хозяином составили вечером партию в вист, до которого Суслов был страстный охотник. Играли и смеялись, спорили и бранились, когда вестовой казак доложил командиру о приходе к его высокородно поручика Фридерици. Суслов, недовольный перерывом игры, делает гримасу, но, попросив извинения у гостей, выходит в залу, где Фридерици, отвесив поклон, без всяких предисловий просит о немедленной выдаче ему 800 рублей. Удивленный неожиданностью, цифрой, а главное бесцеремонной формой изложения просьбы, Суслов резко объявил просителю, что таких денег у него нет в распоряжении, а если бы они и были, то он бы их не дал.

— Как бы не дали? Другими словами, вы мне, подполковник, не доверяете?

— Да хотя бы, милостивый государь, и не доверяю! — раздраженно вскрикнул Суслов.

— В таком случае, это кровное оскорбление, за которое я требую от вас должного удовлетворения! — хватил Фридерици и вышел из залы.

Гости через полуоткрытые двери слышали весь разговор командира полка с поручиком, а потому, по возвращении к ним Суслова, они встретили его дружным хохотом.

— Вам, господа, хорошо смеяться, — возразил Суслов. — Вы завтра спокойно отправитесь в Грозную и вам горя мало, что я поставлен в глупое положение драться с этим сумасбродом.

Утром, по отъезде гостей, Суслов задумался, кого бы выбрать в секунданты, и решил просить подпоручика Голохвастова, Куринского полка, гостившего в Червленной. Но оказалось, что тот еще раньше был приглашен Фридерици. Суслов потребовал полкового адъютанта Федюшкина, природного казака, но хорошего, исполнительного и очень ему преданного человека. Является Федюшкин в кабинет, папаха в левой руке, правая под козырек, в виде отдания чести.

— Знаете ли вы правила дуэли? — спрашивает Суслов.

— Никак нет, ваше высокоблагородие, ничего такого не [734] знаю-с и не ведаю-с! — не вдруг и очень смущенно отвечал наивный адъютант.

— Как, не знаете, что такое дуэль?

— Ей-Богу, не знаю, ваше высокоблагородие, — еще смущеннее и растеряннее отвечал бедняга.

— Ну, знаете или не знаете, мне все равно, — после минутного колебания решил Суслов. — Слушайте и не переврите! Ступайте сейчас к подпоручику Голохвастову, скажите, что я вас послал, и условьтесь насчет всех пунктов дуэли.

Ни жив, ни мертв, стоял перед ним Федюшкин, не понимая, на яву или во сне слышит он подобное приказание. Но на утро все было приготовлено, как следует; место выбрано уединенное, заросшее кругом густым кустарником. Голохвастов отмерил десять очень широких шагов, зарядил пистолеты и предложил Суслову выбор.

— Ведь условленно было по жребию, так извольте бросать его! — сказал Суслов.

— У меня нет со мною монеты! — шаря в карманах, объявил Голохвастов.

— У меня есть все-с, кроме терпения, — сорвалось у Суслова, и, схватив из кармана полтинник, он высоко бросил его вверх на воздух.

— Орел или решетка? — спросил он.

— Орел! — не совсем спокойным голосом проговорил Фридерици. Он угадал.

— Однако, — рассказывал Суслов, — шансы не за меня, солнце напротив, прямо бьет в глаза, скверно! Но будет, что будет! Снимаю сюртук и в одной рубашке становлюсь на указанный мне пункт, точно школьник, даже совестно стало! Фридерици, также без долмана, уже ждет на месте. “Раз, два, три!” — отчетливо командует Голохвастов. Соперник мой медленно поднимает пистолет... по направлению мушки вижу — злодей метит прямо в сердце. Минутно

даже кровь застыла, — прищуривая глазом, почти мне на ухо покаялся Суслов, — вдруг-с пистолет заходил в руке Фридерици, он сам побледнел, задрожал и, уронив на землю смертоносное оружие, исступленным жестом руки указывает на близь меня лежащие кусты. Оглядываюсь, и что же вижу? В кустах этих блестят четыре винтовочных ствола, направленных прямо в грудь моего противника. “Что это такое?” — в изумлении вскрикиваю я на Федюшкина. — “Будьте покойны, ваше выс-родие! — с сияющей улыбкой полнейшего торжества рапортует адъютант. — Если поручик вас заденет, то они тут же его положат. Я ведь лучших-с стрелков засадил сюда!” — самодовольно добавил он, — “Какова скотина, — как мячик, прыгнув с кресла, заорал опять Суслов. — Я, конечно, [735] его обругал и прогнал его засаду к черту; тогда Фридерици снова взял пистолет, но, вероятно, под впечатлением вышеизложенного дал промах, а я, не целясь, выстрелив на воздух, вскочил на коня и уехал домой, проклиная себя, Фридерици и пуще всех дурака Федюшкина. А кто знает, Владимир Алексеевич, — заключил Суслов, — не будь этого глупейшего вмешательства, быть может, я не имел бы чести теперь говорить с вами”.

IX.

Рассказ Нестерова о князе В. С. Голицыне. — Сцена Кавешникова у Меллера: “авось заденут”. — Набег на аул Карманлой. — Смерть Кавешникова. — Болезнь Нестерова. — Рассказ подпоручика Кохановского: дело Веселицкого в 1843 году. — Приезд главнокомандующего. — Отпуск.

На время осенней экспедиции 1849 года я был прикомандирован за адъютанта к начальнику дивизии, генералу Нестерову, и разделял эту службу с Александром Нордштейном и Костей Глебовым, молодым, красивым и неглупым парнем, братом покойного Михаила. Свободные вечера мы проводили всегда у генерала, там же обедали и ужинали. Петр Петрович Нестеров был мастер рассказывать, и в его обществе время летело незаметно. Кстати, к моим прежним воспоминаниям о Владимире Сергеевиче Голицыне прибавлю еще дословный рассказ генерала, когда он еще служил в гвардии, в лейб-егерском полку. Это была самая рельефная минута в жизни чудака Голицына, когда он в час времени на его, Нестерова, глазах выиграл миллион рублей.

— Будучи молодым гвардейским офицером, — так начал он свое повествование, — я, находясь в отпуску, в Москве, не редко навещал старого приятеля отца моего, очень богатого и страстного игрока, Мусина-Пушкина. Жил он очень открыто, давал обеды и балы, а три раза в неделю карточные вечера, на которых сам метал ответный банк. В числе наехавших в Москву из Петербурга случился тут блестящий тогда флигель-адъютант, князь Голицын, конечно, не запоздавший явиться к своему товарищу по призванию и страсти, Мусину-Пушкину. С ним мы здесь впервые встретились и познакомились. В игре я лично не принимал участия по очень простой причине — неименью лишних денег, но, тем не менее, с большим интересом следил всегда за общим ходом крупной игры, даже не раз, по просьбе хозяина, брал на себя хлопотливую должность его croupier! Раз, помню, в праздничный день, заехал я к Пушкину [736] утром; он удержал меня в большом обществе обедать и, по окончании обеда занял обычное место за зеленым столом, а мне, вручив кусок мела, шепнул, чтобы я на счастье ему сел рядом. По обыкновению, он метал банк ответный. Понтеров было не мало, около пятнадцати, и в числе их В. С. Голицын. Сначала игра шла с переменным счастьем, но затем фортуна резко обернулась спиной к Мусину-Пушкину, и он без счета стал давать карту за

картой. Удачнее всех воспользовался этим Голицын. В какие-нибудь полчаса, записав на банкомета длинный столбец кушей, он от самого крупного из них, не отгибаясь, взял на пере, пере, пере, пе, что в итоге составило ровно 500 тысяч рублей на ассигнации! Сидя рядом с Мусиным, я все время наблюдал за выражением лица его и видел, что сосчитанная Голицыным цифра произвела на него удручающее впечатление. Талия сошла, он тасовал карты, руки его несколько дрожали. Прежде чем сняли колоду, а следовательно до объявления банкометом условного: “готово!” — Голицын перекрестил мелом весь куш свой и прикрыл его темною картой.

— Что вы делаете, князь? — тревожно спросил Пушкин.

— Ставлю на пе, от 500 тысяч на миллион, — очень хладнокровно ответил Голицын.

— Послушайте, князь, ради Бога, уменьшите куш, прошу вас, — обратился к нему расстроенный хозяин.

— Извольте, — согласился грозный понтер, снимая со стола свою карту.

— Готово, — объявил успокоенный банкомет.

— Карта пять рублей, — проговорил Голицын.

— Ну, вот, князь, вы из одной крайности в другую, — уже раздосадованный, заметил Мусин-Пушкин: — играйте, как играли прежде, настоящей игрой.

— Нет, извините! Или миллион, или пять рублей, ни копейкой более! — решительно объявил понтер.

Мусия-Пушкин нетерпеливо пожал плечами и стал метать. По третьему абцугу карта Голицына была убита. Пушкин уронил из рук колоду, схватил себя за волосы и осыпал проклятиями свою собственную особу. Волнению его не было предела, и, с трудом дометав эту талию, он в изнеможении повалился на спинку кресла.

— Князь, — дрожащим голосом спросил он Голицына, — сколько теперь поставите вы на карту?

— Пять рублей или миллион, как хотите! — невозмутимо отрезал тот.

— Подождите сейчас!.. — с роковою решимостью проговорил Пушкин и, вскочив из-за стола, бросился в соседнюю комнату, [737] свою спальную. Тут он упал на колена и вслух стал молиться.

В глубокой тишине, через полуоткрытые двери в спальную, мы созерцали эту необычайную картину. Мусин-Пушкин с воздетыми к небу руками порывисто взывал к Пресвятой Богородице с мольбою о великой ее помощи и вдруг, как будто вдохновенный свыше, вскочил на ноги и в два прыжка уже занял снова свое место за столом. “Бью”, — тяжело переводя дыхание, решительным голосом объявил он Голицыну. Я пристально посмотрел на Пушкина и изумился его виду: блестящие, полупомешанные глаза, всклокоченные седые волосы и как-то искривленный на бок рот произвели на меня страшное впечатление.

— Готово, — чуть слышно промолвил он.

— От 500 тысяч на миллион, — красивыми цифрами вывел на столе Голицын, прикрыв запись картой...

— Туз и дама, — дребезжащим от волнения голосом проговорил банкомет.

— Она, в цвет и в масть, — спокойно открывая трефовую даму, объявил понтер.

Мусин уронил карты, с ним сделалось дурно, но в течение года выплатил весь миллион, который Голицын в полтора года, на моей же памяти, весь сел.

Осень подвигалась. С переменой погоды из теплой в холодную, с частыми дождями, изменилось и общее настроение к веселью во всем нашем отряде. Невыгодные климатические условия вредно отзывались на здоровье. Сам начальник отряда за последнее время чувствовал себя нехорошо. В сущности, болезнь его была не серьезная, но, тем не менее, влияние на окружающих она производила тяжелое, так как вечно милый, радушный и оживленный Петр Петрович Нестеров стал очень хандрить и задумываться, что отразилось и на всех нас, избалованных обыкновением с утра до ночи проводить время в его незаменимом обществе. Лихорадка свирепствовала не только на Черноморской береговой линии, но и у нас, на левом фланге. В то время не было случая, чтобы солдат или офицер в береговых крепостях протянул существование до десятилетнего срока, особенно в Сухуми и Анапе; даже животные и птицы подвержены были этой болезни: куры, например, тряслись во время пароксизма не хуже человека.

Наш барон уже давно вернулся из отпуска. Раз как-то захожу к нему и вижу его очень расстроенным. Он не скрыл причины: утром ему доложили о поручике Кавешникове, которому, за несколько дней перед тем, он дал предписание подать прошение об отставке; мера эта была принята бароном вследствие денежных недочетов во временно-порученной [738] Кавешникову роте и личных на него неудовольствий Ляшенка. Только что Меллер вышел в столовую, Кавешников бросился ему в ноги и на коленях стал умолять об отмене предписания.

— Ваше превосходительство, ради самого Господа, пощадите и оставьте меня в полку еще на одну экспедицию! Во имя всего святого не откажите мне!

Когда Меллер, с трудом подняв его с пола, спросил, к чему поведет эта отсрочка, то бедняга, заливаясь слезами, высказал последнюю мечту свою:

— Авось Господь милосердый позволит, чтоб меня ранили, и я тем приобрету пенсию, без которой теперь, по выходе в отставку, мне грозит голодная смерть.

Безвыходное, отчаянное положение и искренняя мольба Кавешникова допустить его пролить кровь, чтоб снискать этим кусок хлеба, глубоко тронули Петра Петровича, и он не только согласился отменить свое категорическое требование, но и материально из своего кармана помог горемыке.

По выходе от Меллера, мы все, кто был на лицо, обступили расстроенного Кавешникова и повели его в ближайшую офицерскую палатку. Здесь он успокоился и даже рассказал нам свою несложную, грустную историю.

— “Ах, господа! Жизнь моя со всеми ее подробностями была и будет невеселою. Так, видно, на роду написано. Родился я в Ставрополе от очень, очень бедных родителей. Когда я еще не достиг понимания, на сколько им в тяжесть, — мать родила еще дочь и умерла. Отец с двумя малыми детьми на руках перебивался кое-как, но промаялся не долго, года три, и вслед за матерью отправился в Елисейские. Одни, без всяких средств и приюта, остались двое сирот: я

восьми лет, а сестренка по четвертому году. Лачужку нашу, собственность отца, продали за долги, и мы остались без крова; две ночи провели на улице. Но нельзя же бросить детей умирать с голода и холода. И вот тетка отца сжалилась над нами и взяла к себе. Много горя видели мы в продолжение почти восьми лет. У нее у самой средства были скудные, и мы зачастую впроголодь с завистью смотрели на нищих. Вы понимаете, господа, что не о воспитании и образовании нашем шла речь, а только о насущном хлебе. Так тянули мы. В 1841 году мне минуло 15 лет. Тетка объявила, что теперь пора мне работать самому и дать ей вздохнуть спокойнее. “Ступай с Богом с моих хлебов на службу царскую, а уж Дуню я как-нибудь прокормлю и замуж отдам”. Справили мои бумаги, штабной писарь написал прошение о принятии на службу в Куринский полк, тетка благословила, и я пешим хождением зашагал на линию”, — Кавешников тут остановился перевести дух, клетчатым платком отер навернувшиеся слезы [739] и более твердо продолжал: “Как я тянул лямку, господа, если не все видели, то остальные слышали. Без гроша денег, без родных и, конечно, без протекции подвизаться на службе нижним чином — не дай Господи, а особенно в те времена. Но Бог милосердый помог мне злополучному и послал Даргинскую экспедицию, очень выручившую многих из нашей братии. За Андию меня произвели в прапорщики, за Кабарду в 1846 году — в подпоручики и за Алдинский лес — в поручики; но если б я сейчас вышел в отставку, то повторяю — пропал бы; спасибо барону, выручил!” — заключил свой рассказ Кавешников.

Но, не смотря на отчаянность и беззаветную храбрость Кавешникова, судьба еще щадила его во всех стычках с неприятелем. Я ранен был пулею в ногу на вылет, но без раздроблении костей, Оклобжио слегка в голову и еще много других, Кавешников же остался цел и невредим. Между тем, 18-го февраля (1850 г.), уже после роспуска отряда на зимние квартиры, высшее начальство распорядилось, чтоб по пути следования полков, одновременно в трех разных пунктах, нанесены были внезапные удары на неприятельские гнезда: в Малой Чечне — Меллером, на Кумыкской плоскости — Барятинским и в Галашках — Вревским. Указанный куринцам пункт был аул Карманлой у подножья Черных гор, в верховьях реки Гехи. Дело было небольшое, но одна чеченская пуля, раздробив руку, пронизала насквозь грудь Кавешникову. Случайно солдаты 9-й роты вынесли раненого поручика из аула ко мне. Его положили на землю, и доктор Вержбицкий приступил к осмотру. Раненый стонал и хрипел. В эту минуту подъехала группа всадников, и в предрассветной темноте я разглядел в ней барона Меллера. Узнав меня, он по-французски спросил, велика ли у нас тут потеря, на что я ответил, что почти никакой, а вот тут рядом лежит раненый Кавешников.

— Ну, что, Кавешников, добились своего желания? — громко, но не без волнения в голосе, спросил Меллер.

— Да, добился, но, кажется, за банк зарвался, ваше превосходительство! — с ожесточением, но твердо ответил страдалец.

Меллер отозвал в сторону Вержбицкого и спросил о ране.

— Безусловно-смертельная, — прошептал врач.

Аул запылал со всех сторон, и зарево пожара осветило наш путь к отступление. 2-му батальону назначено было идти в авангарде, и здесь же понесли Кавешникова. Дело при отступлении завязалось горячее, в авангарде было несколько стычек, потеря в конце концов, впрочем, не превышала ста человек убитыми и ранеными. Наш раненый после перевязки стал бодрее, менее жаловался на страдания и, храбрясь перед нами, настойчиво требовал, чтобы песенники

потешали его [740] любимыми: “Шамиль начал бунтовать” и особенно “Зеленая роща”. На другой же день в лазарете Грозной он под ножом хирурга испустил дух.

О Петре Петровиче Нестерове пришли тоже очень грустные известия. Его болезнь осложнилась на столько, что Грозненский синклит врачей признал неизбежно-необходимым отстранение от него всяких занятий и постановил немедленно прибегнуть к помощи знаменитого в Москве доктора душевных болезней — Саблера. Начальство же над дивизией и левым флангом принял Козловский.

Моя рана также медленно заживала. Грешно было бы жаловаться на сильные физические страдания, но меня очень тяготило вынужденное горизонтальное положение, в котором я пролежал около пяти недель, растравив себе рану под Карманлой; правда, по вечерам, когда меня навещали добрые приятеля, я нарушал запрет доктора и, как сорока, скакал на одной ноге по комнате. В числе посетителей находился также мой субалтер-офицер, подпоручик Кохановский, из рассказов которого я извлек много любопытного о знаменательном в кавказской истории 1843 годе, особенно о погроме Мингрельского батальона под Унцухулем: Кохановский был единственным, оставшимся в живых, участником этого дела. Сложили в нем головы и два пажа: Аверкиев — Преображенского и Шалашников — Кавалергардского полка. Их имена красуются в нашей Пажеской церкви, вырезанные золотыми буквами на черных мраморных досках, и в кратком описании эти офицеры значатся погибшими в Дагестане в 1843 году.

Кохановский тогда был еще юнкером, или, как часто бывало, унтер-офицером из дворян, в Мингрельском батальоне, которым командовал молодой и совершенно неопытный штаб-офицер, переведенный из гвардии, майор Веселицкий.

Когда Шамиль, во главе несметных полчищ, им собранных, с необыкновенным успехом свирепствовал в Дагестане и одну за другою брал штурмом крепости наши, в числе которых пала значительная по артиллерийским складам нашим Сатаних, — большая партия блокировала укрепление Унцухуль. Гарнизон в нем состоял всего из двух рот, а неприятель, осадивший укрепление, был в громадных силах. По сведениям, полученным через лазутчиков, положение защитников было отчаянное. При неравной борьбе с врагом, уже в 11 крепостях предавшим все огню и мечу, гарнизону Унцухуля предстояла та же бедственная участь быть вырезанным, если не подойдет к нему помощь. И вот в эту критическую минуту и был направлен туда Мингрельский батальон.

Веселицкий выступил с батальоном, к которому [741] прикомандировались Шалашников и Аверкиев, оба жаждущие боя и славы, и шел форсированным маршем без отдыха, едва не бегом. Верст за пять до Унцухуля слышны уже были артиллерийские выстрелы и учащенная ружейная перестрелка, ясно говорившая, что каждая минута дорога. Было около трех часов по полудни, время еще не позднее, но и далеко не утреннее. Был большой риск спускаться в густые сады, занятые скопищами неприятеля, да еще в сумерки драться в незнакомой местности. Но грустная картина боя в крепости ничтожной горсти храбрых ее защитников так живо представлялась в самом отчаянном виде, что, не внемля никаким доводам благоразумных, решено было идти вперед, не теряя золотого времени, и мингрельцы пошли. Здесь, однако, командир батальона принял меры военной хитрости, а именно, с целью отвлечь внимание неприятеля, по всем вероятиям уже заметившего появление нашего вспомогательного отряда, на занятой им горе он распорядился оставить команду из 1 унтер-

офицера и 8 рядовых, с тем, чтобы по его уходе люди эти, наблюдая за действиями партий, поддерживали огонь в разведенных кострах, всячески стараясь ввести этим неприятеля в заблуждение, а потом быстро присоединились бы к батальону. Оставленный с этою командой унтер-офицер и был Кохановский.

По его рассказам, когда мингрельцы совсем втянулись уже в сады на половину пути, наступили сумерки. В исполнение данной инструкции, Кохановский отделил вперед, по склону горы, наблюдательный секрет в два человека, которым приказал залечь между камней и с напряженным вниманием смотреть и слушать все, что произойдет в садах, а тем временем он сам с шестью рядовыми, рассыпавшись по вершине возвышенности, стал деятельно поддерживать огни. Так прошло около часа, и Кохановский стал уже помышлять о том, чтобы оставить свой пост и поспешно догонять ушедший батальон, когда оба солдата из секрета прибежали с донесением, что им отчетливо был слышен гик неприятеля, несколько выстрелов, отчаянные, но не дружные крики “ура”, а затем звяк холоднаго оружия, стоны и страшные вопли умирающих. Кохановский не сразу поверил сообщенным ужасам и, допуская мысль, что у страха глаза велики, сам бросился к оставленному секретом пункту, где, — увы! — самолично убедился в несомненной справедливости безотрадных показаний. Собравшаяся команда сообща порешила, что единственным путем к ее спасению оставалось немедленное и поспешное отступление обратно к Сулаку. От него их разделяло более 30 верст, но ночная темнота могла укрыть их от зорких глаз неприятеля, а чувство самосохранения могло дать силы быстро одолеть пространство. Не долго рассуждая, все девять [742] человек пустились назад, условившись притом при первых признаках угрожающей опасности искать спасения в рассыпную. Часа через три, четыре, усиленного хода, до слуха их долетел топот скачущих за ними коней.

— Спасайтесь, ребята! — в полголоса скомандовал унтер-офицер и, стремительно бросившись под кручу, миновал настигающего врага. Раздались три выстрела и несколько стонов, но Кохановский и с ним три солдатика, без оглядки, по ущельям, балкам, промоинам и кустам, пустились наутек. Ночная тьма и страшно пересеченная местность помогли им скрыться от рыщущих кругом горцев, а шум бешенного Сулака за много верст своим ревом указывал дорогу. На самом рассвете Кохановский, сам четвертый, достиг берегов рьяного потока, но в то же время подоспели сюда и грозные всадники. Не теряя минуты, мингрельцы, сбросив с себя платье и оружие в реку, кинулись сами в бурные волны быстрейшей реки Дагестанской и стремительно были увлечены течением; двое погибли от пуль прискакавших к берегу врагов, а третий утонул от неуменья плавать. Из всей команды одному Кохановскому удалось избегнуть неприятельских выстрелов и одолеть борьбу с волнами. Они далеко выбросили его на противоположный берег, где, среди кустов, он долго пролежал неподвижно и, убедясь, что ни один из кровожадных горцев не прельстится вплавь переехать Сулак, решился наконец снова бежать к ближайшей нашей крепости. Перед вечером, в полном изнеможении, разбитый и совершенно нагой, он дотащился до крепостных ворот, откуда в накинутой на него шинели был представлен командующему там войсками генералу Плац-Бекуму. Плачевные сведения, сообщенный Кохановским, о злополучной участи Мингрельского батальона, к великому прискорбию, подтвердились вполне не показаниями участников, так как, кроме Кохановского в живых не оказалось никого, но изустными рассказами лазутчиков из многочисленной партии, истребившей до единого человека весь наш вспомогательный отряд под Унцухулем. На утро были той же участи обречены и обе роты гарнизона крепости, вырезанные неприятелем без всякой пощады.

С 1843 и до августа 1849 года Кохановский ждал исхода сделанного о нем представления и наконец, получив солдатский Георгиевский крест, произведен в прапорщики, с большим старшинством в чине, так что на пути в полк он уже попал в подпоручики.

Кроме дела под Унцухулем, много интересного узнал я от моего подпоручика о роковом для Дагестана 1843 годе, где в тесной связи с именем Шамиля гремят имена Даниель-бека, султана елисуйского, и Хаджи-Мурата, хана аварского. [743]

Рана моя зажила, и я мог снова участвовать в штурме 10-го апреля Шалинских окопов, за что получил орден св. Владимира 4-й степени с бантом, а с 3-го августа за Тепликичу я был произведен в штабс-капитаны и принял 2-й батальон. Недурно в три года взять три чина и два креста.

21-го мая к нам приехал главнокомандующий и с ним генерал-адъютант Коцебу, затем контр-адмирал Истомин, Дондуков, Васильчиков и проч.

Я воспользовался этим приездом, чтобы отпроситься в отпуск в Россию, и с помощью Дондукова дело очень быстро уладилось: я получил четырехмесячный отпуск с любезным приглашением князя Воронцова — непременно вновь возвратиться служить на Кавказ.

X.

Путешествие. — Новочеркасск. — Атаман Михаил Григорьевич Хомутов. — День рождения атамана и вечерний от войска праздник. — Приезд в Царское Село. — Мать и сестры. — Признание. — Жизнь в Царском и в Вельможье. — Возвращение. — Путешествие на Кавказ наследника цесаревича. — Стычка с горцами. — Георгиевский крест. — Грозная. — Личность Бакланова и его история.

Мая 24-го, с веселым сердцем и самыми отрадными надеждами, выехал я из Грозной с своим двоюродным братцем Павлом Полторацким. После трехлетней разлуки с своими кровными, вернуться, посмотреть на них и показать себя, естественно было отрадно для меня.

Как бы то ни было, а, все-таки, в гостях хорошо, а дома еще лучше. И как не сознавать этой непреложной истины на Кавказе особенно, где только при счастливой случайности можно избежать участи очень многих, на веки распростившихся со своей родиной.

Словом, на душе было легко и так же ясно, как в природе тот чудный день, теплый, но не знойный, ясный и безветренный, когда мы, развалясь в тарантасе, тронулись в путь-дороженьку...

Если у меня и пробегала иногда тяжелая дума о вопросе денежном, то она одна и не надолго омрачала светлые надежды и представления о торжестве моей служебной карьеры, ране, контузии и прочих отличиях, которые уже не составляют тайны для семьи моей.

Дорога была сухая, ровная, гладкая. Лошади бежали легко и весело. Высоко было еще солнце, когда тарантас наш остановился в Моздоке, у крыльца уездного казначейства. На этом переезде меня немало удивила поразительная резвость [744] волов на линии. Когда наша тройка крупной рысью нагнала по дороге двухколесную на волах арбу, ямщик крикнул сидящим в ней двум мамукам своротить с дороги; но они оглянулись и, ударив длинными хворостинами по волам, погнали их впереди нас так скоро, что обиженный ямщик пустил лошадей вскачь, и, не смотря на то, лишь на третьей версте, ему удалось обогнать несущихся

полным карьером волов. Мамуки, усердно погоняя их, помирали со смеха, поддразнивая ухаря-возницу, а тем временем их некрупные животные, задрав хвосты к верху, с остервенением неслись вперед.

В казначействе я взял на свое имя подорожную до С.-Петербурга, и полчаса спустя мы катили к Екатеринодару. В Ставрополе мы плотно позавтракали у Налтаки, а в Аксае, маленьком городке войска Донского, в 25 верстах от Новочеркасска, не могли не поесть знаменитой ухи из стерлядей в памятном мне придорожном трактире: “Прощай, мой друг”. В Новочеркасске мне также хотелось пробыть не долго, только, чтобы повидаться с Гришей Хомутовым, а Пашеньке отдохнуть немного от толчков тарантаса. Только что вошли мы в Новочеркасскую почтовую станцию с буфетом, я на своей карточке написал два слова Грише и отправил с извозчиком в дом атамана. Не успели мы затем приняться за чаепитие, как в нашу комнату ворвался не один Гриша, а и брат его Николай. Дружески обнявшись со мною, они оба заявили непременное требование сейчас же ехать к ним и не на час, а ночевать. На объяснение мое, что я здесь не один, братья Хомутовы поспешили познакомиться с Павлом и тут же уговорили его отправиться в их совершенно отдельное, особняком стоящее помещение в атаманском саду. Приглашение молодых моих однокашников было сделано так настойчиво и сердечно, что отказаться не было возможности. В густом саду, в отдельном флигеле, о шести просторных комнатах, любезные хозяева поместили нас очень удобно.

— Вы, однако, и не думайте завтра об отъезде, — заявили они.

— Послезавтра день рождения отца, и, сверх того, в этот же день все войско Донское чествует празднеством его назначение наказным атаманом. Поэтому уехать накануне этого двойного торжества было бы непростительно обидно.

Не вполне предрешив вопроса об отъезде нашем, мы уселись на широкой террасе флигеля, оплетенной вьющимися растениями, и прилежно приступили к оценке высокого сорта вина из садов атаманских. Ночь была теплая и тихая. Сквозь густую листву ближайших в саду деревьев луна бросала лучи, серебристым светом обливая большой дом наказного атамана. [745]

В нескольких шагах защелкал соловей, вдали ему ответили десятки голосов, и раздалась дивная музыка пернатых. Мы смолкли и обратились в слух. По песчаной дорожке, вблизи, послышались шаги, и между кустов по направлению к террасе блеснул генерал-адъютантский аксельбант.

— Пришел приветствовать дорогих гостей, — поднимаясь на ступени, сказал Михаил Григорьевич Хомутов, радушно пожимая нам руки. — С тобою, Владимир, ведь мы сродни, а вот с твоим родственником я еще не знаком.

Заняв между нами место, маститый атаман дал нам возможность вдоволь налюбоваться его наружностью. В детстве своем я видал Михаила Григорьевича в Москве, потом встретил раз в Петербурге, но близко не знал, а только слышал и очень много о всех доблестях и душевных качествах этого всеми любимого человека. Наружность его была донельзя привлекательна. Седые, курчавые волоса и длинные усы, висящие точь-в-точь, как у Тараса Бульбы, придавали ему воинственный вид, тогда как мягкие, лазурно-голубые глаза обличали доброту и благодушие. Довольно долго наслаждались мы обществом Михаила Григорьевича. Он много рассказывал сам и с напряженным вниманием слушал наши речи о Кавказе, причем сообщил, что и Николка его должен скоро ехать туда же, но что он озабочен задержкой его перевода из

Виртембергского гусарского полка в Сунженский казачий, Слепцова. “Нельзя ли тебе, Владимир, узнать в Петербурге причину замедления высочайшего приказа?” — заметил Михаил Григорьевич. Я с великим удовольствием взялся исполнить это и написать еще своим порядком о справке к Дондукову. Отношения старика к сыновьям были самые простые, дружеские и на “ты”, что по тогдашнему времени было в редкость. Далеко за полночь, пригласив нас на следующий день запросто к себе обедать, Хомутов простился с нами. На другой день, не успели мы еще одеться, как в соседней комнате послышались шумные голоса, и молодые хозяева ворвались к нам с требованием идти знакомиться с их друзьями, Иловайским и Вольховским. Оба они были природные донские казаки, “pur sang”, но богатые и благовоспитанные. Первый известен на Дону, как лучший коннозаводчик, а второй, личный адъютант наказного атамана, как винодел, виночерпий и виноистребитель… Эти двое распорядителей завтрашнего праздника приезжали пригласить нас на бал, даваемый войском в честь нового атамана Хомутова (назначенного по кончине Власова), и мы не сочли себя вправе отказаться от этой чести. После обеда, совершенно семейного, у Михаила Григорьевича, подъехал к флигелю шестериком донской офицер и казначей всего войска Донского, Барабанщиков. Живая, [746] веселая и развязная эта личность с первой же минуты очень мне понравилась.

— Рекомендую вам, друзья мои, Барабанщикова, — сказал атаман, — он отличнейший офицер, который, если бы вел свои собственные финансовые дела, как он ведет казенные, то был бы несметно богат, и наоборот, если бы он вздумал вести казенные, как свои, то уже давным-давно был бы под судом.

Эта характеристика вполне точная. В течение более десяти лет, занимая должность казначея войска, он довел свою часть до совершенства; что же касается собственных дел, то расстроил их совершенно. И не мудрено. Прекрасная обстановка, отличные экипажи и лошади, лучший в городе стол и в довершение всегда разливное море вина, но какого? На Дону какого же, как не донского, — подумает всякий. Нет, извините, свое местное вино пить считалось mauvais genre: здесь употребляли одно шампанское. Говорят, в Сибири тоже не пьют иного вина, как шампанское, Клико и Редерер, но ведь там своего вина, местного, нет никакого, а на Дону-то… слава тебе, Господи.

8-го июня, во втором часу по полудни, обширные залы атаманского дома стали наполняться толпою казаков всех чинов и положений земли войска Донского, а ровно в два часа засели не за стол, а за столы, в шести комнатах, более трех сот человек праздновать новорожденного. Тут-то увидел я знакомых мне понаслышке чудовищных осетров. Каждого из них подавали два человека не на блюдах, а на длинных, не менее трех аршин, досках. Обед, не смотря на громадное число приглашенных, был вкусный, обильный, но тянулся не особенно долго, не смотря на то, что тостам, кажется, не было счета. Общественный же праздник в честь Михаила Григорьевича был устроен в городском саду вечером, и ужин накрыт в обширных оранжереях. Прекрасная иллюминация, с громадным щитом на площадке, была зажжена еще до прибытия атамана с семейством. Все участники праздника, мужчины и женщины, встретили его у ворот сада и сопровождали до павильона, роскошно убранного, где подавали чай, десерт и фрукты. Затем группы детей, мальчиков и девочек, училищ и приюта, стройно пропели хором кантаты специально дорогому атаману. Хомутов был тронут до слез, да и вообще настроение всего общества выражало не официальное чествование начальника, но слияние всего населения,

чтобы оказать сердечные чувства и пожелания маститому старцу. В ротонде между тем начались танцы.

В числе очень многих хорошеньких женщин выдавалась особенно одна красавица, затмившая собою всех остальных, — графиня Орлова-Денисова, рожденная Шидловская. Она на время [747] приехала из Москвы на Дон с мужем своим, адъютантом графа Закревского, и в этот вечер очаровала всех своим изяществом, прекрасным ростом, грацией и пленительной красотой. Была еще одна очень миловидная и кокетливая барыня — жена инженера барона Врангеля. Местные же красавицы, казачки, имели свой исключительный тип, но манерами и разговором все же резко отличались от аристократок великорусской расы. Когда я внимательно их рассматривал, мне невольно вспомнился рассказ моей матери о давно минувшем эпизоде с нею в Новочеркасске. В 1818 году семейства Киселевых и князей Грузинских ездили на кавказские минеральные воды и, возвращаясь оттуда, были на большом бале, данном донцами по случаю посещения их молодым великим князем Михаилом Павловичем. Мать моя, незадолго перед тем пожалованная фрейлиной ее величества, танцевала французскую кадриль с его императорским высочеством, а vis-a-vis у них кто-то из свиты великого князя с казачкой из местной аристократии. В зале было душно. В третьей фигуре эта дама, казачка, внезапно подпрыгнула к матери и громко ей объявила: “пожалуйте мне вашего платочка утереться, а то я ужасти как запрела!” и, не смотря на неудержимый смех владелицы платочка и ее кавалера, она кружевным платком обтерла обильный пот с лица и, возвратив его по принадлежности, пустилась снова усердствовать в плясах. Правда, прошло слишком тридцать лет, и у дам-казачек завелись носовые платки кружевные, ну, а, все-таки, еще нужно бы добавить европейского салонного лоску.

Наконец, только через несколько дней, распростившись с теплыми ребятами - донцами, могли мы выехать из Новочеркасска.

Остальной путь прошел без задержки. Вот и Москва, Тверь и, наконец, Царское Село.

От самой Грозной работала голова моя о минуте объяснения с матерью... За две недели до отъезда с Кавказа я предупредил ее о моем приезде в отпуск, косвенно дав понять, что он, кроме счастья обнять ее, вызван еще и крайнею необходимостью личного с ней свидания. Конечно, ответа я еще получить тогда не мог, и всю дорогу неотвязно преследовала меня забота, как приступить и как устроить мои финансовые дела, сведенные, по счетам, к крупной цифре 9 тысяч рублей долга. Теперь по мере приближения к цели путешествия, усиливались тоскливые волнения, нерешительность, сомнения.

— Где живет здесь на даче генеральша Полторацкая?

Указывают, едем, и тройка останавливается у подъезда одноэтажного, довольно большого дома. В двух крайних окнах виден свет, в остальных темно. [748]

— Не звони, Иван, с крыльца, а постучи во двор.

— Дома?

— Дома.

— Легли почивать?

— Нет, еще только собираются, — отвечает какая-то невидимка в темноте.

Открыли входные двери, я сбросил шинель и тихонько прошел до спальной матери.

— Кто там? — слышу ее голос.

Вхожу и тискаю в объятиях удивленную, но вместе с тем очень обрадованную мать мою. Пять минут спустя, в уютной комнате сестер, вскочивших уже с постели, обе они, мать и я уселись за столом. Ольга не переменилась, Софья очень похорошела, а мать постарела. Седые волосы стали заметно пробиваться на висках, отчасти впали и глаза. Узнав от меня, что я не ужинал и голоден, Оляша распорядилась, чтобы подали мне водки, сыру, вина. Скоро передо мною явился поднос: на нем стоял знакомый мне с детства граненый графин с французскою водкой, бутылка хереса, масло, сыр, langue fouree и проч. Пока я с жадностью наливал себе рюмку водки, мать и сестры пристально меня разглядывали, высказывая каждая вслух замечание: “похудел”, “потолстел”, “возмужал”, даже “похорошел”. Я выпил вторую и третью рюмку, расспрашивая их о братьях, об их житье-бытье, о болванчиках-ухаживателях за ними. Сестры, смеясь, отвечали мне, а мать внимательно мерила меня с головы до ног, как будто чего-то ожидая. Покончив весь графин с водкой, я налил себе стакан хереса. Сестры, при виде этой крупной порции, посмотрели на меня изумленными глазами, а я, залпом проглотив ее и встретив любопытный, вопрошающий взгляд матери, мысленно порешил, что чем скорее, тем лучше, тем более, что во взгляде матери я прочел нетерпение услышать объяснение моего приезда. Она на минуту вышла распорядиться, какую для меня приготовить комнату, и ее отсутствием воспользовалась Ольга, чтобы шепнуть мне, что “maman очень интересует тайная причина, о которой ты упоминаешь в письме своем”. Вернулась мать, села около меня близко, уставила на меня влажные глаза и видимо ожидала моего признания. Я налил себе еще стакан. Хмель не брал меня, но храбрости прибавлялось. Наконец, мать не выдержала, она нежно обняла меня и, нагнувшись к моему лицу, в полголоса спросила:

— Ты влюблен? Хочешь жениться? На ком? Я рассмеялся.

— Нет, мамаша, совсем, совсем не то. Вы не отгадали!

— Что же, что такое, Володя, скажи мне, ради Бога? — нетерпеливо, но мягким, успокоительным голосом спросила она. [749]

— Долги, мамаша! — вздохнув, проговорил я.

— Сколько их? — поспешила узнать мать.

— Сколько? — повторил я вопрос ее и тут же, опрокинув в себя вино, хватил: — тридцать тысяч!

— Неужели 30 тысяч? — испуганно вскричала она.

— Успокойтесь, мамаша, 30 тысяч, но ассигнациями, — поспешил я объяснить.

— Ну, слава Богу, слава Богу! — восторженно обнимая меня, несколько раз повторила добрейшая мать.

Давно так сладко, так спокойно не засыпал я, как в ту благодатную ночь, подкрепленный торжественным обещанием матери устроить все дела мои.

Дни в Царском потекли среди родной семьи, без горя, печали и “долгов”, оживленные под конец еще приездом обоих братьев-пажей из лагеря. Мать, глядя на нас, по несколько раз принималась плакать, причем, однако, предупреждала, чтобы мы не беспокоились, так как это

слезы радости и счастья видеть всех детей вместе. В силу сего объяснения мы не тревожились, и даже ни один из нас пятерых (надо полагать, по черствости сердечной) не приходил в должное умиление. К тому же в эти дни как-то рельефнее бросалось в глаза, что, при всем избытке удовлетворенной нежности матери ко всем детям, взоры ее, как бы случайно, но постоянно останавливались на одном Алексее. Удивительно магическое действие производили на счастливую мать новые камер-пажеские галуны на фалдах Алеши.

— Счастливец ты, Алексей, ведь теперь на золоте сидеть будешь! — не выдержал я сострить над ним.

Сестры и Дмитрий рассмеялись, а он осерчал. Это напомнило анекдот нашего батальонного адъютанта (Романовского) с полковым казначеем Пелипейком, который я тут же и рассказал. Адъютант не отличался силою нервов своих под вражескими пулями и, отыскав два раза уже укромный от них приют, во время дела, под повозкой, в конце концов стал усердно, но тщательно искать выгодной перемены службы, из строя в более покойную и безопасную обстановку. Раз как-то он назойливо пристал к казначею доставить ему желаемое место, хотя не большое, но денежное. “Извольте! — не задумываясь, ответил Пелипейко: — на козлах, рядом с фурштатом, на казенном ящике: местечко небольшое, но денежное!”.

Анекдот мой вызвал общий смех, не исключая и Алексея. Не смотря, однако, на все оживление, наши интересы, то есть мой и окружающих, так мало имели общего, что я уже стал подумывать об отъезде в Вельможье, мое милое, родное Вельможье, куда манила меня охота и деревенский простор. Вечера, балы, [750] кавалькады — все это прискучило мне. Любезное приглашение на бал к графине Блудовой я с наслаждением променял бы на одно поле в Кузавковских рощах без оркестра музыки, а с хором доморощенных кричал… Бал этот ничем не отличался от всех балов большого света. Было тесно, душно и очень скучно. К тому же и мать моя была расстроена известием, тут же ей сообщенным, о кончине Елены Николаевны Львовой, матери Леонида. Какая злая судьба всего этого семейства! Леонид Николаевич и Елена Николаевна Львовы, еще очень не старые люди, имели тринадцать человек детей, из которых в своем родовом Никольском они похоронили девятерых, преждевременно погибших от наследственной чахотки. Предположив, что главной причиной был суровый климат Тверской губернии, отец и мать решились, наконец, переселиться с остальными детьми своими на юг Франции. Прошло всего три года, и в Петербург вернулась мать с одним сыном Леонидом, да и она недолго протянула.

Едучи из Царского Села в Вельможье, я заехал по дороге к Леониду в Никольское. Картины на стенах, мебель у камина, мольберт в углу, а особенно под стеклом восковые фигуры, артистической работы, талантливого художника-женщины, Елены Николаевны, — все, все до малейшей вещицы в большом и своеобразном доме переносило меня в тот отрадный период детства, когда мы, в курточках, бегали, шумели и возились здесь с Леонидом.

В Вельможье время прошло в непрерывной охоте; я хотел вдоволь насладиться любимою страстью в последние дни отпуска. Спутником моим и горячим приверженцем оказался новый мой слуга Вавила, которого я брал с собой на Кавказ вместо Ивана Ильина. Вавила был мой сверстник и верный сотоварищ детства. Он мальчиком еще был проворным и разбитным поваренком на кухне, на охоте — выжлятником, на рыбной ловле с удочкой — рыболовом.

4-го октября мы двинулись на гибельный Кавказ; холода хватили рано, и Волгу нам пришлось переехать по льду, но близь Ставрополя о зимнем пути не было и помина. Чудная осенняя

погода вступила в права свои. Тихие безоблачные дни, с легкими морозцами по ночам и сильным солнцепеком в полдень, приводили нас в недоумение; пришлось снять шубы и облечься в кителя. По пути много слышали мы о разных приключениях во время проезда, за несколько дней перед тем, наследника русского престола Александра Николаевича. Между Ставрополем и ст. Московской, на протяжении 30 верст, провожали государя наследника линейные казаки в составе двух полков и двух конных батарей, не отстававших на карьере [751] от экипажа его высочества. На всем пути этом казаки джигитовали, изумляя августейшего своего атамана ловким, смелым, даже отчаянным наездничеством. Один казак стремглав промчался мимо самой коляски цесаревича, другой же, нагоняя его, на всем скаку заряжал винтовку, но, второпях, не успев выдернуть из ствола шомпола, выстрелил по переднему и пронизал шомполом ему насквозь через спину грудь. Пораженный этим несчастным случаем, наследник цесаревич остановил весь поезд, выскочил из экипажа и, потребовав лейб-хирурга своего Енохина, оказал пострадавшему самое милостивое участие. Но помимо подобных невеселых эпизодов, были и забавные. Такой один случай, например, произошел на станции Солдатской, где был назначен обед его высочества. В числе лиц, сопровождавших по Кавказу государя наследника цесаревича, находился, конечно, и командующий войсками Кавказской линии и Черномории, генерал-от-кавалерии Николай Степанович Завадовский. После обеденного стола, по принятому порядку, следом за его высочеством, через каждые пять минут, отправлялись экипажи со свитой и лицами, ему сопутствующими. После князя Михаила Семеновича Воронцова, к подъезду станции подали карету Завадовского. Лакей его бросился что-то уложить и хлопнул дверцей кареты, а разиня-ямщик, вообразив себе, что генерал уже сел, с места погнал лошадей во всю прыть. Па неистовые крики ямщику остановиться, им, однако, не расслышанные, вышел на крыльцо Завадовский и в беспомощном положении развел руками: “Во, кажу виз мий уихав!”. Таким образом, в самом центре вверенного ему края, Завадовский никоим образом не мог нагнать и откланяться его высочеству. Слышал я также от очевидцев о стычке на Гехи колонны, сопровождавшей наследника, с неприятельской партией. Вот как об этом рассказывают. В свите государя наследника, помимо разных чинов гражданского ведомства и лейб-медика, находились три адъютанта его высочества: граф Александр Адлерберг, граф Жозеф Ламберт и князь Борис Голицын (моряк); кроме того, при его особе, на время объезда Кавказа, назначен был состоять свиты его величества генерал-майор, князь А. И. Барятинский. За несколько дней до приезда на Кавказ августейшего гостя в горах уже стало известно о его посещении, и потому тонкий политик Шамиль издал повеление по всем подвластным ему племенам, чтобы “нигде на пути высокого путешественника никто не смел предпринимать против священной особы наследника престола могущественного Белого царя не только враждебных каких либо действий, но даже из любопытства не дерзать показываться на его светлые очи”.

Говорят, что при известии об этой прокламации имама [752] государь цесаревич упал духом, так как она лишала его всякой надежды оказать военное отличие на Кавказе, куда его высочество уже стремился и прежде, но особенно когда августейший брат, великий князь Константин Николаевич, удостоился за Венгерскую кампанию Георгиевского креста. Разочарование государь наследник всецело испытал при первых же шагах на Лабинской линии, где Магомет-Аминь, не признающий на правом фланге нашей линии верховной власти Шамиля, возымел дерзкое намерение встретить поезд государя цесаревича открытою силой. Но главнокомандующий светлейший князь Воронцов был предупрежден об этом начальником Кубанской линии, генералом Евдокимовым, и, успев изменить маршрут следования его

высочества, немедленно донес о том государю императору. Очевидцы говорят, что отчаянию государя наследника, когда он узнал о внезапно сделанном изменении пути, не было пределов. Но помочь горю не было средств, так как фельдъегерь еще ночью ускакал в Петербург с донесением Воронцова.

Затем, благополучно совершив путешествие по Черноморской береговой линии и посетив все приморские укрепления до Поти, его императорское высочество прибыл в Тифлис, а оттуда проследовал по Лезгинской линии в Южный и Северный Дагестан, в Кумыкскую плоскость и на левый фланг Кавказской линии, пожаловал наконец к нам, в Воздвиженское. Переночевав здесь, на другой день с утра великокняжеский поезд тронулся отсюда с подобающею торжественностью. Временно заняв гарнизон Урус-Мартана линейными ротами, все пять батальонов Егерского князя Воронцова полка, стянутые накануне в штаб для шествия с государем наследником до р. Валерика, выступили из Воздвиженского в парадной форме с развернутыми знаменами. Колона двинулась в следующем порядке: впереди гарцевали наездники из мирных чеченцев обоих наших аулов, Атага и Чах-Кери, с Арцу и Али-беком во главе. За ними шла конвойная сотня главнокомандующего, под начальством Мансурадзе (родного брата Ивана Давыдовича), а на недальнем от нее интервале Гребенской казачий полк с бароном Розеном. В авангарде пехотной колонны 1-й и 2-й батальоны Воронцовцев, с полевой батареей, все экипажи поезда и за ними три остальные батальона нашего полка.

Сам государь цесаревич верхом со всей свитой своей и главнокомандующего следовал за гребенцами, тогда как князь Михаил Семенович, по приглашению его высочества, ехал в экипаже. Стройно и весело двигался отряд с музыкой и двадцатью хорами песенников. Миновали с кратким привалом Урус-Мартан, перешли р. Гехи и вытянулись по поляне к Валерику, на берегу которого уже другой колонне предстояла честь [753] сопровождать цесаревича… Вдруг передовые милиционеры заметили влево от дороги немирных чеченцев и, сообразив возможность отрезать неприятеля по близь лежащей глубокой балке, отделились от передовой линии и незаметно от взоров вражьих скрылись на дно оврага. Вскоре вслед за ними помчался с конвойными и Мансурадзе. Кто-то из свиты его высочества, заметив движение в авангардной кавалерии и взглянув по направлению скачущих, крикнул: “партия!”. Услышав магическое и так давно и пламенно желаемое известие, государь наследник, в порыве необузданной отваги и мужества, не дав себе ни малейшего отчета о возможной численности партии и той опасности, которой подвергается наравне со всеми смертными, дал плеть коню и вихрем понесся прямо на неприятеля. Вся многочисленная свита, конечно, бросилась за ним. Дондуков же поскакал к главнокомандующему. Князь Михаил Семенович, утомленный усиленным в течение трех месяцев путешествием по всему Кавказу и пригретый в эту минуту теплыми лучами осеннего солнышка, сладко дремал в своей коляске, когда внезапно над ухом раздался голос его адъютанта: “Ваша светлость, партия и государь наследник там”. Спросонья и перепугу за опасность драгоценной жизни, князь Воронцов, как помешанный, выпрыгнул из экипажа и, с быстротою юноши вскочив на свою лошадь, стремглав пустился в догоню. Но было уже поздно: неприятель был прогнан через лес к Черным Горам, а немного спустя цесаревич с сияющим лицом и с трофеями у ног поздравил его светлость с победой. Князь тут же на поле битвы роздал двенадцать знаков военного ордена отличившимся милиционерам и конвойным, а их командиру Мансурадзе навесил орден Владимира 4-й степени с бантом, который Дондуков, отстегнув с груди своей, поспешил представить к услугам.

За обедом в тот же день во Владикавказе князь, на основании высочайше дарованного ему права, возложил орден св. Владимира 4-й степени с бантом на адъютантов его высочества, графов Адлерберга и Ламберта, а князю Голицыну золотое оружие с надписью “за храбрость”, и в ту же ночь отправил к его величеству в Петербург фельдъегеря с донесением и представлением ходатайства о возложении на его императорское высочество ордена св. Георгия 4-й степени, так славно им заслуженного.

Во время моих поездок в Грозную, я последнее время часто стал бывать у подполковника генерального штаба и обер-квартирмейстера 20-й пехотной дивизии нашей, Милентия Яковлевича Ольшевского, очень доброго и гостеприимного человека. [754]

У него я познакомился с оригинальнейшей личностью, родившейся и жившей сначала на Дону, а потом совершенно окавказившейся, — с Яковом Петровичем Баклановым. Командуя здесь с 1845 года полком на Кутаисской плоскости и отстояв с ним срочные три года, Бакланов имел возможность вернуться на Дон на льготу, но вышло иначе. Барятинский был уже тогда начальником войск на Кумыкской плоскости (в 1848 г.) и, оценив боевые достоинства Якова Петровича, предложил ему остаться у него под начальством со вновь пришедшим с Дона полком. “Гаврилычи”, под руководством принявшего их полк лихого командира, быстро образовались и через полгода уже стали страшилищами чеченских партий. Наружность полковника наводила страх и ужас на все окрестные селения, где имя его сделалось пугалом детей и взрослых. 13 1/2 вершков роста, косая сажень в плечах, рожа — не приведи Бог! — с длиннейшими усами и бородой, вся рябая, темно-фиолетового колера. Ни к кому так не применима поговорка, “что чёрт в свайку играл”, как к физиономии этого чудо-богатыря с тихого Дона, Отличный ездок, на рослом и лихом коне, с дорогим оружием на себе и громаднейшим значком за собою, он действительно всею обстановкою резко отличался от всех прочих. Популярен был на всем левом фланге значок Бакланова, необыкновенного размера, вроде простыни, черного цвета, с белым черепом по средине и накрест сложенными костями внизу, а кругом с белою же крупными буквами надписью: “Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века, аминь!”. Где бы неприятель ни узрел это страшное знамение, высоко развевающееся в руках великана-донца, как тень следящего за своим командиром, — там же являлась и чудовищная образина Бакланова, а нераздельно с нею неизбежное поражение и смерть всякому попавшему на пути шайтан-Баклана.

В частной жизни Яков Петрович был отличный товарищ, неглупый собутыльник и страстный любитель перекинуться в азартную. От природы очень сметливый и тонкий, он не прочь был прикинуться простаком и иногда удивить своею необтесанностью, плебейскою грубостью…

Вечер у Ольшевского, как и все наши вечера, начался чаем и коммерческой игрой, затем закуской и ужином, а кончился генеральным боем в штос. За ужином все гости развязно беседовали, когда, коснувшись воспоминаний о временах давно прошедших, Бакланов неожиданно предложил рассказать любопытный эпизод из своей молодости. Разумеется, все с удовольствием согласились, и он начал:

— Лет тому 25, или больше, я был, господа, нечета теперешней молодежи, слабой, хилой, тщедушной. Тогда я был [755] здоров и очень силен. (На это вступление многие из нас поспешили заявить, что никто в этом не сомневается, судя по настоящему виду рассказчика). Когда я был уж сотником, лет 26-27 от роду, меня, трах! перевели из 17-го в 21-й полк, штаб которого расположен был тогда от Черкаска, вниз по Дону, верст за двести, в станице.

Нежданно, негаданно перебираться в чужое гнездо не весело, да о том ведь на службе царской не спрашивают, — делать нечего, собрал пожитки, почесть, что и все-то в двух торбах, заседлал коней и с драбантом своим марш в поход, на новое пепелище. Приехал в полк, как следует, явился к командиру, ко всем штаб и обер-офицерам. Грехов за мною никаких не водилось, а вижу, что господа товарищи мои что-то на меня косятся и сердцем ко мне не лежат. Что за притча? — думаю я про себя. Стал смекать и узнавать, — ан штука-то простая: многим я по чину на голову сел, и по старшинству приходится мне дать сотню, а тогда сотня-то нашего брата кормила и поила. Ну, ладно! Проходить день, другой и третий, заходят ко мне двое офицеров, оба с зовом к ним завтра на вечеринку. “Спасибо, господа честные, отъявлюсь беспременно”, — отвечаю им. Зов этот самый нисколько не удивил меня, так как он был в порядках. От скуки в станице частенько собирались погулять в компании, а я ведь всем им представился по чести, почему-ж было и не пригласить меня?.. Вот-с на утро лежу это себе на койке, вальяжно тяну люльку, вдруг драбант мой Фокин и говорить мне:

— А что, ваше благородие, вас сегодня звали на вечеринку к офицерам?

— Звали, — отвечаю ему.

— А вы, ваше благородие, не ходите туда, ни, ни!

— Как не ходить, такой-сякой, почему не ходить? — удивился я.

— А потому, что там будут очень многие господа...

— Ну, так что-ж? Черт тебя возьми, дурачина! — вспылил я, не умея приложить разума, куда драбант клонит глупую речь свою.

— А то из этого выйдет, что ваше благородие там убить замыслили.

— Как убить? — заревел я, соскочив с постели.

— Да так-таки убить ваше благородие, это все я заподлинно проведал, — и тут же Фокин и скажи, через кого и как он всю махинацию ту пронюхал...

— Ну, думаю себе, убить — это шалишь! Благо упредил меня Драбант, теперь я к вам, ребята, пойду нарочито, но еще поглядим, чья возьмет. По истине сказать вам, господа, в ту пору я не струсил, — крепко уж на свою силу надеялся, а, все таки, опасался какой измены. Подумал, подумал, все обсудил [756] в мыслях, как следует; кровь молодая стучит, зло берет, вот, кажись, на рожон один-одинёхонек полезть готов, жду вечера — не дождусь.

— Смерклось, зажгли огни, пошел я к звавшим меня офицерам, они на одной квартире стояли. Вхожу в первую горницу, общество большое, не менее 15, 20 человек. Здороваются ничего, ласково. Окинул я всех взором. Дай, мол, думаю, примоститься половчее, и забрался это я в самый что ни на есть угол в хате и занял позицию там отличную — всех-то вижу, как на ладони, а тыл мой, дескать, укрыт стеною. Ладно, ребята, теперь — что-то далее! Попойка пошла изрядная. Сначала в ходу была матушка российская, а там налегли на родное, и на цимлянское, и на всякое прочее, вволю! Все это пьют, все хмелеют, а я себе на уме, на вид от других не отстаю, а на деле-то их надуваю — вино лью не в глотку, а за ворот рубашки. Прошло времени не мало, иных уж стало разбирать; шум, песни и крики в горнице, хоть беги вон. Смотрю, сходиться стали по кучкам, перешептываться, друг другу знаки подавать. Эге, скоро, мол, поведут атаку, а сам виду не подаю и сижу себе в уголку смирнехонько. Вдруг, господа,

шум смолк, все затихло, и ко мне подходит хозяин. Глаза у него огнем горят, а рожа свирепеющая. Подступил это он ко мне близко, развернулся, да как треснет меня в левую щеку... аж искры из глаз посыпались. Сильно ударил. А я не встаю, только промолвил: “Вася, не дури! Брось шалости”. Он же, прохвост, как будто не слышал, да опять бац, пуще прежнего, и ударь в правое ухо... (Здесь наш полковник вскочил из-за стола и стал в лицах представлять нам дальнейшую драму). Боль — болью, господа, ну, да и афронт изрядный! Я осерчал, сжал кулак и ткнул его; ловко таки угораздил — навзничь повалился он, как сноп, с переломленной челюстью. А тут, смотрю, двое уже прут на меня, в угол. Дремать некогда! Засучил рукава чекменя, захватил, — и сподручно же пришлось, — каждого из них за шиворот, покрутил обоих на воздухе, развел по сторонам, да как стукнул рылами одного в другого, — замертво так и откинул их в угол. Не угомонились еще остальные, да и сам я, покаюсь, пришел тогда в азарт. Как пятеро гурьбою стали наседать на меня, я схватил стол, с налета шарахнул им по головам, да как пустил в ход кулаки свои под микитки, — через минуту и этих угомонил разбойников.

— Ну, господа (несколько переведя дух, продолжал разгорячившийся при одном воспоминании о славном бое богатырь-Баклан), верьте мне или лгуном прозовите, но Богом клянусь, что и десяти минут не прошло, как я всех их уложил на [757] пол хаты с перебитыми мордами, выбитыми зубами и измятыми боками, а их до 20 человек было! Не сойди я сейчас с места и будь распроклят я со всем моим родом, если я что прихвастнул вам!

— Чем же разыгралось побоище это, Яков Петрович? — полюбопытствовали мы.

— А что-ж? Очень все уважать стали и друзьями жили, и посейчас еще живу с иными, — самым естественным тоном покончил рассказ Бакланов, весело напомнив при этом хозяину, “что заря денежку дает, и пора давно метать Качаловский”.

В. Полторацкий.

(Продолжение в следующей книжке)

Текст воспроизведен по изданию: Воспоминания В. А. Полторацкого // Исторический вестник, № 3. 1893

ПОЛТОРАЦКИЙ В. А.

ВОСПОМИНАНИЯ

(Продолжение. См. “ Исторический Вестник”, т. LI, стр. 723.)

XI.

Шалинские окопы. — Хаджи-Мурат. — Назначение к Слепцову; его биография. — Приезд молодых Воронцовых; княгиня Марья Васильевна. — Общее поклонение; жизнь в штабе. — Приглашение на праздник Слепцовым в Урус-Мартан. — Бал в Грозной у Козловских. — Роковое известие: Слепцов убит. — Письмо Циммермана и характеристика покойного. — Возвращение в Воздвиженское. — Скандал из-за Хаджи-Мурата. — Назначение Барятинского. — Лорис. — Прощальный обед Козловскому у князя Simon.

Первое известие для нового 1851 года было получено у нас о деле Слепцова в ущелье Шаладжи, где пал смертью храбрых мой приятель, милый Николай Хомутов.

На третий день Нового года был у нас сбор отряда левого фланга под начальством храбрейшего “как, как”; к нему начальником штаба был назначен свиты генерал-майор князь Барятинский, а начальником всей пехоты отряда — наш барон Меллер. По сведениям лазутчиков, партия в сборе была громадная и во главе ее достохвальный боец — Хаджи-Мурат. Итак, отряд наш из 9-ти батальонов пехоты, 12-ти сотен линейных казаков и 32 орудий выступил из Воздвиженского в Большую Чечню.

Неприятель 7-го числа представился глазам нашим в огромных скопищах с бесчисленным количеством значков. Из [73] Веденя к партии прибыл сам Шамиль, с намерением, конечно, разбить и уничтожить русский отряд. С фронта перед нами грозно смотрели на нас сильные укрепления, вытянутые поперек просеки, от одной опушки до другой. Гарнизон Чеченский строго охранял окопы, и из лагеря нашего простым глазом было видно, как сменялся он по утрам и усиливался по ночам. По ночам же то и дело шныряли в лагерь благородные лазутчики, за звонкие карбованцы продавая нашему начальству все тайные распоряжения имама. Закутанные в бурки и башлыки так, чтобы нельзя было узнать их честных физиономий, они подползали к нашей цепи и, выдавая себя за кунаков русских, тайком велись к ставке начальника отряда. Результатом этих патриотических чувств было то, что все приготовления и энергические старания чеченцев — удержать наш натиск в глубь дорогих полей Большой Чечни за Шалинским лесом, разлетелись, как дым, и 8-го января мы обошли укрепленную их позицию и сюрпризом появились у них в тылу. Во время движения нашей колонны еще до рассвета, обходным путем со стороны р. Басса, неприятель, не ожидавший нас с этой стороны, зорко следил лишь за войсками, оставшимися в лагере и буквально прозевал обходной маневр наш. Отчаянное усилие горцев удержать стремительное движение наших батальонов, конечно, ни к чему не повело. Картечь с гранатами, ружейный огонь и несколько лихих атак кавалерии нашей не замедлили рассеять огромные полчища имама, и они, уступая силе натиска, дружно стали спасаться бегством. В десять часов утра мы хозяйничали на неприятельском валу, с которого, увы, уже исчезли их орудия. Рассматривая теперь подробно укрепления, мы должны были сознаться, что не удайся нам обходное движение, то штурм окопов с фронта, прямо в лоб, повлек бы за собой огромные потери и, быть может, совсем бы не удался.

После срытия Шалинских окопов мы расположились лагерем в вырубленной просеке, занимаясь время от времени более или менее горячими перестрелками с неприятелем и развлекаясь рассказами о прибытии из Дагестана в Чечню легендарного богатыря — Хаджи-Мурата. Какие чудеса трубят об этом аварском хвате! Если верить на половину тому, что воспевают о его безумной отваге и невероятной дерзости, то и тогда приходится удивляться, как Аллах спасал его сумасбродную голову. Военная слава Хаджи-Мурата ни в ком не встречает себе соперничества, и популярность его гремит от Каспийского до Черного моря. Шамиль его недолюбливает, но уважает и боится более, чем султана Елисуйского. А это не шутка в глазах посвященных в отношения имама к этим двум крупнейшим личностям на Кавказе. [74]

15-го февраля, под начальством нового командира Кабардинского полка (принявшего полк от князя Барятинского), Егора Ивановича Майделя, пошла наша колонна в лес, по направлению к р. Бассу, на обычное занятие рубкой леса и расчисткой полян, как вдруг около 11 часов вдали

показалась громадная партия чеченцев, вскоре затем открывшая по нас артиллерийский огонь. Как только пролетели первые ядра, Майдель приказал от нашего батальона выдвинуть две роты с дивизионом артиллерии на позицию вперед. С назначенными ротами, 5-й и 6-й, пошел я, а с орудиями — Тришатный. Отойдя от колонны с полуверсты и избрав возвышенную и довольно открытую плоскость, дивизион снял орудия с передков, а я построил развернутым фронтом справа 5-ю, а слева 6-ю роту. Положение было не из приятных: редкий неприятельский снаряд не достигал цели и не уносил одной, двух и даже трех жертв из рядов наших. Линейные артиллеристы работали с изумительной энергией и на каждый выстрел неприятеля посылали ответный снаряд моментально и метко, но заставить молчать или подбить его орудия, не смотря на все старания Тришатного, им не удавалось. Приказав людям моим просто лечь на землю, чтобы не представлять из себя видной мишени, я сам не счел себя вправе не только нагибаться или прилечь, но даже и сесть на барабан. Снаряды одно время буквально осыпали нашу позицию, становилось жутко, невыносимо. Я храбрился, всячески стараясь выказать полное равнодушие и презрение к мимо летящим снарядам. Улыбаясь, я не переставал шутить… но на душе было скверно, кошки мучительно скребли на сердце! Тришатный, всецело увлеченный деятельным мщением неприятелю, сам лично наводил орудия, сам поднимал и опускал угол возвышения и был настолько физически занят, что не мог следить за всем происходящим, как я, злополучный, обреченный на полное бездействие. Да, обязанность моя — прикрывать в тот роковой день артиллерию, была по истине ужасная! В течение многих часов сряду стоять, подобно истукану, и с терзанием в душе смотреть и выжидать, когда через час по ложке, каждые пять-шесть минут, со стороны неприятеля покажется дымок, а, несколько секунд спустя, раздастся гул выстрела и вслед затем предательский свист снаряда, который, кажется, вот-вот тебя и разорвет на части, — такое мучение, с которым, конечно, нельзя сравнить не только самой жаркой перестрелки, но даже и рукопашной схватки. Стоя впереди обеих рот, я истощал все силы, чтобы скрыть внутренние страдания, и наружно одержал над ними полную победу, но, все-таки, не понимаю, как никто из товарищей не заметил неестественного состояния моего, тогда как я сам чувствовал и, увы, слишком явственно дрожь в коленях и неудержимое сотрясение нервов во всем теле. [75]

В ожидании кровавой развязки кровь стыла в жилах, пульс замер, но я сознавал, что как бы плохо ни было, а на лице моем приятная улыбка мне не изменила, и я в силах еще обморочить зрителей… Дзинь!.. Раздался, наконец, стеклянный треск снаряда, разорванного на сотню мелких, но острых и губительных осколков, шумно разлетевшихся спиралью во все стороны. Меня оглушило, но, Бог милостив, не задело, а в трех разных направлениях послышались стоны.

— Второе! — нараспев провозгласил Тришатный, и с гулом откатилось второе орудие.

— Третье! — опять крикнул Костя, став колоссом Родосским впереди дивизиона.

Но одновременно с командой фейерверка: “пли”, неприятельское 9-ти фунтовое ядро, как будто захлебываясь чрезмерною поспешностью своего полета, нырнуло как раз между самых ног отважного начальника нашей артиллерии. Тришатный на глазах наших сильно пошатнулся, несколько секунд усиленно боролся устоять и, наконец, рухнул на землю. Но, слава Богу, ноги целы, и только правая сильно контужена. Отправив его на перевязочный пункт, я еще более двух часов испытывал истязания прикрывать свою батарею. Но вот, наконец, раздался сигнал отступления, мы тронулись, неприятель насел, и завязался настоящий бой в арьергарде. Из пассивного положения я сразу попал в пыл сражения; на

меня обрушилась теперь вся тяжесть отступления, сравнительно, однако, легкая и отрадная при воспоминании всего пережитого перед тем.

Несколько месяцев спустя, получил я записку из штаба дивизии. Вскрываю конверт и вижу высочайший приказ, в котором моя фамилия подчеркнута красным карандашом; не веря глазам, читаю: “за особенное мужество и отвагу, оказанные в делах с неприятелем 7-го и 15-го февраля сего 1851 года, золотую шашку с надписью: “за храбрость”. Тришатный, обедавший в тот день у меня, вырвал из рук моих приказ и прочел то же. Итак, тут нет ошибки. У меня, единственного оберофицера не в одном Куринском полку, а во всей 20-й дивизии нашей, золотая шашка — награда почетная и редко здесь даваемая даже и штаб-офицерам. Тришатный тоже получил Владимира с бантом и, кроме того, государь император, усмотрев из списка раненых за зимнюю экспедицию есаула Тришатного, контуженного ядром, и зная стесненное положение его, вследствие горестного происшествия с отцом, высочайше приказал препроводить на имя есаула из собственной его величества шкатулки 500 рублей на излечение болезни, от раны происшедшей, но с тем всемилостивейшим вниманием, чтобы пожалованная сумма была вручена ему Тришатному в руки, а отнюдь не в [76] пополнение долгов его. Получив эту сумму, Тришатный с сияющим лицом приехал ко мне и еще издали кричал мне:

— Поздравь женя, Володя, я крез! У меня 500 рублей в кармане. Теперь, мой друг, — заговорил он, — надо подумать, как на пожалованные мне деньги умнее распорядиться. Во-первых, мне необходимо экипироваться, я обносился, просто срам, даже совсем белья нет! С этою-то целью я нарочно и приехал сюда. Вавил, пошли, голубчик, моего урядника!

Минуту спустя, стройный казак показался в дверях. — Хорошеньков, — обращаясь к нему, продолжал Тришатный, — сбегай в лавки с красным товаром (это было в Грозной) и выбери мне ситцу на рубашки. Но смотри, дружок, не ошибись и смотри в оба, самого лучшего! Слышишь?

— Слушаю, ваше благородие, — отчеканил молодец ординарец, быстро повернувшись на носках налево кругом и бегом пустившись исполнять приказание начальства.

Не долго заставил ждать нас Хорошеньков. Запыхавшись от спешного хода, явился он перед нами с целым пуком разноцветных образчиков ситцев, различных качеств и цены. Тришатный принялся внимательно разбирать лоскуты и остановился на двух, голубом и розовом.

— Хороша ли доброта их? — спросил он.

— Первый сорт, ваше благородие, да к тому же и очень веселенький ситчик, — отрапортовал урядник.

— А, может быть, полиняет? — заметил есаул.

— Никак нет, ваше благородие, пока бёг сюда из лавки, все время муслил их, ан, краска не подалась.

— Ну, в таком случае, — глубокомысленно рассудил Тришатный, решительно махнув рукой, — возьми, Хорошеньков, по этим образчикам ситцу на две рубашки.

Этим широким распоряжением и кончилась вся экипировка расходившегося есаула, а оставшийся капитал от щедрых монарших милостей возымел другое назначение: “царя

поздравить”. И вот Тришатный стал благодарить приятелей и знакомых за их всегдашнее к себе гостеприимство; в результате деньги быстро исчезли, и опять наступила прежняя нужда.

Между тем летние месяцы 1851 года знаменательны для меня еще и по участию моему в экспедиции с генералом Слепцовым, молодым начальником Сунженского отряда. Ее раз я уже упоминал о наружности и многих достоинствах этого замечательного богатыря не по росту и физической силе, но по душевным качествам. Биография его коротка. Родился он в Пензенской губернии в 1820 году, был в юнкерской школе, откуда вышел в [77] армию в 1838 году и в 1845 году перешел на Кавказ адъютантом к генералу Трескину. Здесь с первой экспедиции он выказал непомерное мужество и отвагу, был отличен от прочих сослуживцев и в чине майора назначен формировать и командовать Сунженским казачьим полком, который предрешено было создать из переселенцев-казаков с Терской и Кубанской линий. В первое время Слепцов испытал не мало горя, хлопот и затруднений, с пришельцами из всех полков кавказских казаков, так как, само собою разумеется, каждый командир старался спихнуть и сбыть ему людей самых беспокойных, плохих и бездомных. С ними пришлось возиться Слепцову целые годы, теряя часто всякую надежду добиться желаемого успеха. Но энергия и неусыпная деятельность увенчались наконец блестящим результатом, и не прошло трех, четырех лет со времени существования 1-го Сунженского полка, как разношерстные, сбродные линейные казаки, заселив берега Сунжи богатыми станицами, основали Сунженскую линию и сплотились воедино с такою боевой славой, что сделались страшилищем неприятеля и предметом зависти всего войска. Сам Слепцов, взяв с боя георгиевский крест, завоевал своим сунженцам георгиевский штандарт; насколько боготворили его казаки, настолько страшились соседи, горцы. С первого дня моего появления в отряде Николай Павлович обворожил меня своим милым и радушным приемом. Служить под его начальством было особенно приятно. Цель экспедиции была — сооружение укрепленной станицы как раз на середине пути между Грозной и Закат-Юртом, около трех братьев-курганов; новая станица называлась Алхан-Юртом. Пришлось участвовать вместе и в делах. В одном из них, 15-го июня, в ущелье Шеладжи, Слепцов был ранен, и куринцы должны были на себе вынести отступление до соединения с главной колонной пехоты и артиллерии, оставшейся невдалеке. В этом же деле был тяжело ранен симпатичный капитан генерального штаба Коведяев и молодой офицер моей роты Ипполитов.

Итак, летняя экспедиция под конец была отравлена раной Слепцова, которого отнесли в Ачхой, к его приятелю Сереге Мезенцову, а нас, куринцев, препроводили в Грозную, где уже шли деятельные приготовления для встречи нового командира с супругой, сына светлейшего, Семена Михайловича Воронцова. Второго ноября наконец прибыли к нам главнокомандующий с княгиней Елизаветой Ксаверьевной и новобрачными. По предварительному распоряжению, наши роты поставлены были уступами по пути следования поезда, и мне пришлось встречать начальство у самого Ермоловского кургана. После двухчасового ожидания наконец-то по дороге поднялись столбы пыли, и вслед затем [78] в Хал-Кальском ущелье показалась несущаяся кавалерия, прикрывающая целую вереницу экипажей. Скомандовав “на плечо” и “смирно”, я ожидал приближения передней коляски. Она остановилась в нескольких шагах от моей роты, и маститый наш шеф, быстро выскочив на дорогу, зашагал к фронту.

— Здоровы, братцы мои, куринцы! — весело приветствовал светлейший.

“Ура”, “ура” и бесчисленное “ура” прогремело ему в ответ.

— Ах, здравствуй, милый мой Полторацкий, — особенно нежно обратился ко мне князь, обняв меня и следуя так вдоль фронта. — А ты и молодецкая твоя рота опять и опять несколько раз сряду особенно отличились. Душевно благодарю тебя, мой дорогой! — и затем стал расспрашивать моих солдат первой шеренги, почти сплошь увешанных крестами, когда и за что они их получили. “За Зерены, ваша светлость!”. “За Ичкерию, ваша светлость!”. “За Ахульго!”. “За Андию!”. “За Дарго!”. Но вдруг шестой с правого фланга, бравый Гавриченко, хватил: “За выручку Даргов, ваша светлость”. “За что, за что?” — переспросил князь. “За выручку-с”, — гордо отчеканил кавалер. Старика покоробило, он невольно сделал гримасу, но тотчас же оправился и, сладко улыбаясь, похвалил Гавриченка за его молодецкий вид. Вместе с тем князь Михаил Семенович уж не стал больше расспрашивать своих милых куринцев, а, обратясь к княгине, сидевшей в его коляске, и показывая ее рукой солдатам, громко объявил: “А вот, братцы, и моя старуха!”. В ответ снова раздалось громкое “ура”. Тем временем около меня очутился и князь Семен Михайлович, радостно бросившийся ко мне на шею. Едва тронулся экипаж главнокомандующего, как князь Simon увлек меня к следующей коляске представлять супруге своей Марье Васильевне, сумевшей в один миг завоевать к себе мое восторженное поклонение… Не успел я поблагодарить княгиню за тьму лестных фраз, как очутился в крепких объятиях ее брата Николая, моего однокашника по Пажескому корпусу. По отъезде их я еще несколько минут оставался в оцепенении, смутно отдавая себе отчет после бесчисленных лобзаний и приветствий исчезнувшей толпы. Из всего виденного и слышанного ясно рисовался передо мной только образ чудной красоты и изящности нашей новой командирши. Впоследствии я состоял ее бессменным ординарцем и в доме Воронцова был принят, как свой, чему, конечно, не мало способствовали мои дружеские отношения к Николаю. Княгиня Марья Васильевна, эта очаровательнейшая из всех женщин, которых мне пришлось встречать потом в жизни, мила, любезна и внимательна до nec plus ultra. Ее стройный стан, рост, а главное — выражение прелестного лица с дивно блестящими глазами и нежнейшею улыбкой дополняются еще [79] речью, полною ума, жизни и вдохновения. Скуки в Воздвиженском, где они поселились, как не бывало. Каждый день я у них обедал, играл в вист и засиживался до полуночи, а когда княгине вздумалось писать с меня портрет, и я должен был каждое утро просиживать перед ней неподвижно, то обязанность эта была уже совсем не по силам, потому что глядеть на нее не восторгаясь человеку, в жилах которого течет не пресное молоко, а горячая, молодая кровь, было невозможно. А ведь ей-то невыносимо скучно должно было показаться такое существование. После Петербурга, двора и большого света, попасть в трущобу, как укрепление на Кавказе, к тому же на передовую линию, штука не веселая. Не могли же мы, сколько нас тут ни было, заинтересовать с детства избалованную красавицу. Впрочем a la guerre comme a la guerre, и княгиня, по-видимому, мирилась со всем и развлекалась как могла. Познакомилась она и с нашим любимым героем Слепцовым, которым и была приглашена с князем на Гехинку, где он давал 11-го декабря в честь ее большой праздник. День этот был выбран самою княгиней, так как 9-го она хотела ехать на именины к Анне Васильевне Козловской, а оттуда уже прямо через Алхан-Юрт и Урус-Мартан пробраться к начальнику Сунженской линии. 8-го числа вся компания наша: князь с княгиней Воронцовы, Трубецкой, Ушаковы, многие другие и я, в лучшем настроении духа, отправилась с оказией в Грозную. В торжественный день ангела добрейшей Анны Васильевны мы с утра у нее пировали. Викентий Михайлович, всегда любивший принимать у себя гостей, был в восторге от посещения Воронцовых и всей компании нашей. Он расхаживал в необыкновенно счастливом настроении, хохотал без умолку и всячески старался занять гостей своих забавными рассказами, которые, увы! Всё же по большей части вертелись на неизбежном: как,

как и как! Как бы то ни было, но совокупные старания радушных хозяев занять и веселить гостей были настолько искренни и очевидны, что все мы остались вполне довольными. Впрочем, действительно завтрак, обед и многолюдный бал прошли очень оживленно и удачно. На другое утро, после семейного завтрака, распростившись с милейшими Козловскими, мы тронулись к Сунженской линии под прикрытием двух сотен казаков. Выехали мы не рано, дни были короткие, и мы только к ночи добрались до Урус-Мартана. В нескольких верстах от крепости мы стали ясно различать гул отдаленных пушечных выстрелов и, конечно, не без основания предположили эту канонаду в отряде генерала Слепцова, так как по линии звука нас разделяло верст 12, не более. У крепостных ворот нас встретил с рапортом подполковник Ляшенко, тут же подтвердивший наши догадки сведениями, что как [80] сегодня, так и вчера, у Слепцова были стычки с неприятелем. Тем не менее, на утро мы решили рано выехать в Гехинку, а потому и разбрелись поскорее спать, князь с княгиней, в доме командира, а Трубецкой, Тришатный и я в соседнем, вновь выстроенном флигеле. Не увлекаясь на этот раз разговорами, мы очень скоро потушили огонь и заснули богатырским сном, но вскоре я был разбужен необычайным движением на улице. Открыв глаза, я вскочил к окну, но по случаю ночной темноты ничего разглядеть не мог, хотя отчетливо слышал тяжелые шаги проходящего мимо нашего дома многочисленного люда. На рассвете я задремал, но был разбужен, как и оба мои товарища, резко хлопнувшей дверью. Опять вскочил я, но на этот раз увидал перед собою князя Семена Михайловича. Но на что он был похож! Бледный, с осунувшимся лицом и нервною дрожью на губах, мутным взглядом обведя нас всех, с расстановкой, сильно захлебываясь и с трудом глотая рыдания, он с усилием проговорил: “Господа, Слепцов… убит!”. Все мы громко и отчаянно взвыли. Наскоро одевшись, Тришатный, Трубецкой и я поспешили в дом Ляшенка, где застали тенгинского офицера, конвоировавшего ночью раненых из лагеря. Он, как лично участвовавший в деле, и сообщил нам все подробности, но лучшей и верной характеристикой покойного и его последних минут служит нижеследующее письмо Циммермана из станицы Сунженской, копию с которого я снял впоследствии у Ольшевского.

“10-го декабря 1851 года Гехинский отряд под предводительством генерал-майора Слепцова имел жаркое и блистательное дело на правом берегу реки Гехи.

“Еще раньше через лазутчиков узнали мы, что неприятелем в лесу устроены огромные завалы, и что чеченцы намерены вывезти орудия и стрелять по лагерю. Вследствие того сделаны генералом Слепцовым следующие распоряжения, чтобы выбить неприятеля из завалов и, если будет можно, захватить орудия. Одна колонна из спешенных казаков-охотников и 2-го тенгинского батальона должна была войти в лес, идущий по правую сторону реки, и по первому выстрелу из неприятельского орудия броситься на путь отступления чеченцев и штурмовать там завалы. Центральная колонна, под личным предводительством генерала из батальона пехоты, двух сотен казаков и двух конных орудий, по первому же выстрелу должна была кинуться по правому берегу реки, кавалерия прямо лететь на завалы и орудия. Наконец, третьей колонне, большей прочих по составу, назначено было стоять на левом берегу Гехи, на Нуриковской поляне, рубить лес и быть в готовности, в случае появления неприятеля с орудием, перейти на правый берег и содействовать колонне генерала. [81]

“9-е число прошло в ожиданиях. 10-го лазутчики пришли с донесением, что в этот день чеченцы будут стрелять из орудий по пехоте, рубящей лес. Часов в 10 войска были на назначенных местах. В 1-м часу генерал приказал команде охотников тихо войти в лес и залечь

там. Он был в большом нетерпении... Наконец раздался выстрел из неприятельского орудия. Генерал вскочил на лошадь, бросился к кавалерии, закричал ей: “На конь! На конь!” и, поехав правым берегом рысью, пустился потом скакать. Я находился при нем. Две сотни неслись за нами на полном карьере. Мы проскакали уже версты полторы и были уже на одной высоте с колонной, находившейся на левом берегу. Кавалерия стала переходить реку; генерал, скакавший впереди, сказал: “Господа, кричите “ура!” Кричите “ура!”. Мы вынули шашки, продолжая нестись во весь дух, и влетели на поляну, усеянную редкими деревьями. Тут был неприятель и приветствовал нас градом пуль, но, приведенный в замешательство появлением кавалерии, которой он не ожидал с этой стороны, ошеломленный ее ударом, услышав слева “ура!” охотников, заходивших ему в тыл, он бросился бежать. Казаки догоняли и рубили пленных чеченцев. Много их здесь погибло. Кавалерия вся в рассыпном строе скакала вперед, перепрыгивая через срубленные и наваленные деревья. В лесу раздавался грохот от перестрелки, и гремело всюду русское “ура!”. Бегущий неприятель прикрылся завалами и открыл сильный огонь. Генерал послал меня с приказанием к пехоте идти как можно скорей. Через 10 минут приведен был батальон навагинцев; густая цепь их открыла сильный огонь и, подойдя к завалу, который тянулся длинною линией, залегла за ним. Неприятель быстро отступал. Лес был покрыт бегущими чеченцами. Генерал стоял правее навагинской цепи, окруженный лишь своим казачьим эскортом. При нем не находилось в эту минуту ни одного офицера (все были разосланы с приказаниями). Он был на своем знаменитом коне (на котором он скакал на Шалинский окоп, был в Шаладжинском деле и в Нурках, где его ранили). Издали можно было его различить по шапке с красным верхом. Он кричал навагинцам: “вперед, ребята, через завалы!”. Вдруг пуля ударила его в грудь под ложечку; он круто повернул коня направо, сказав своим конвойным казакам: “возьмите меня”, ухватился за гриву и стал валиться с лошади. В это время я подскакал к нему. Издали еще я кричал: “прикажете ли, ваше превосходительство, пехоте идти через завалы?” и удивлялся, что он мне не отвечает. Подъехав ближе, я увидел, что его снимают с лошади. Он был очень бледен и молчал. Никто не знал, куда он ранен, крови не было видно. Его положили [82] на бурку и понесли из огня. Минуты через две он сказал: “Команду после меня принимает полковник Карев; где барон Сталь?” (отрядный квартирмейстер). Приехал барон Сталь, он повторил ему это приказание. Его понесли далее. Явился доктор. Генерала положили на землю и стали раздевать; доктор отстегнул его кинжал, снял пояс с пистолетом, расстегнул черкеску, бешмет. Тогда на белой рубашке показалось небольшое кровавое пятно. Доктор опустил зонд в рану, не ощупал пули и вынул тотчас назад зонд. Я отвел его в сторону и спросил, какова рана. “Смертельная, — отвечал он, — бесполезно даже искать пулю”. Его понесли далее; от солдат и кавалерии скрыли смерть любимого начальника. Генерал Слепцов испустил дух, когда его переносили через реку. Доктор Лужинский находился при нем до последней минуты и помнить все его слова. Он спросил: “Взята ли пушка?” Ему отвечали: “Нет, но зато много побито чеченцев!”. Он сказал: “Ну, и это хорошо!”. Мысль о войсках не оставляла его, он вслушивался в гул перестрелки, гремевшей в лесу, спрашивал, соединились ли с колонною охотников, велика ли потеря у нас. Стал молиться: “Боже, милостив буди мне, грешному!”. Он глубоко был религиозен и умирал с твердою верою в вечную жизнь. Он не страдал, агония не была мучительна. Ни одного крика или стона. Жил он еще с полчаса после рокового удара и тихо заснул. Труп его был принесен казаками в лагерь.

“Так пал смертью героя доблестный генерал Слепцов, благороднейший из благородных, храбрейший из храбрых! Все жалеют о нем, от начальников до последнего солдата. Скорбь

общая и нелицемерная! Он умер в цвете лет (33-х), совершив уже блистательную карьеру, составив себе имя, громкое в кавказских войсках, грозное для чеченцев, имея ничем не запятнанную репутацию. Память его будет священна для всех, кто имел счастье его знать. Он был среднего роста, худ и сух; бледное лицо его было очень красиво. Строгий, благородный профиль, орлиный нос, густые короткие усы, бакенбарды, обходившие кругом лица, и черные глаза, которых обыкновенное выражение было мягко и ласково, но которые в минуту одушевления и гнева сверкали как угли, — составляли одну из тех физиономий, которых нельзя забыть.

“Я как будто теперь гляжу на него, как он сидит, бывало, задумавшись, около палатки, в своей высокой шапке, желтой черкеске и короткой шубе. Волосы его были густые, курчавые и черные, как смоль; серебро седин стало пробиваться в них. Он быстро ходил, движения и жесты его были резкие; говорил скоро; когда был в волнении, то немного заикался; голос его был приятен, особенного тона, в минуту же гнева и раздражения делался [83] необыкновенно громким и крикливым. Он был вспыльчив, как порох, но взрыв страсти скоро проходил, и он, если был не прав, спешил извиниться. Преобладающие военные качества: отвага безоглядная; не было преграды, которой бы он устрашился, или опасности, которая бы его остановила, предприятия военного, которое он счел бы неисполнимым. Это был бард кавказской армии, рыцарь без страха и упрека. Про него сложилась песня:

“Стая на небе орлов Тучу рассекает, На чеченцев наш Слепцов С Сунжи налетает”.

“Он имел все типические свойства русского человека: гостеприимен, радушен, хлебосол. Дом его и карман были открыты для всех. Он истратил все свое состояние на Сунженский полк. В кошельке его после смерти нашли один гривенник!..

“Выражался он просто, не любил фраз; в разговоре любил употреблять уменьшительные слова, был чрезвычайно ласков и приветлив.

“У генерала Слепцова были и свои странности. Он, столь отважный и смелый, прославившийся своим бесстрашием, боялся, и как еще, разных насекомых и пресмыкающихся, боялся их, как лев боится петушиного крику. Когда, бывало, он увидит гадину, то сейчас изменится в лице. В станице Самашки много ядовитых пауков; он не любил там бывать и говаривал: “там пауки есть!”. Когда он приезжал туда и сидел у станичного начальника, то всегда осматривался: ему казалось, что по нем ползают пауки. К сверчкам особенно имел страшное отвращение. При мне раз в Ачхое он увидел в комнате сверчка, сейчас побледнел и закричал: “Ларька, Ларька, лови сверчка, возьми его, не убивай и неси вон из укрепления”. С непокорными чеченцами он вел открытую и рыцарскую войну, но народ любил и много заботился о тех, кто к нам переселялся. С пленными не был вовсе жесток. К смерти был готов каждую минуту, боялся только умереть в постели от болезни; эта готовность и ожидание ее было особенно странно в молодом, красивом и здоровом человеке.

“Встреча праха его на Сунже исполнена была мрачной торжественности. За несколько верст старики, женщины и дети вышли встречать его тело; больные, хворые, все устремились на встречу тому, кто поселил их, водворил, заботился о всех их нуждах, защищал, берег и погиб за них. Клали грудных младенцев на гроб, отовсюду слышны были восклицания: “он меня из плена выкупил”, или: “он семью нашу [84] поддержал после смерти отца”. Каждый из них лично знал Слепцова, ведавшего все их нужды. Он сделался для казаков столь необходимым, что они не могли свыкнуться с его потерей, все думали, раздастся его призывный крик: “На

конь, за мной, Сунжа!”. Три дня стояло его тело в Сунженской; день и ночь теснился народ у гроба, рыдал, целовал его руки. Казаки говорили: “если бы мог он хоть на минуту воскреснуть, он увидел бы, как мы его любили!”. Такая скорбь и любовь — высшая ему награда. 14-го декабря были похороны. Генерал лежал в гробу с открытым лицом, он был одет в мундир Сунженского полка; казаки и слышать не хотели, чтобы на него надели парадный генеральский: “пусть положат его в нашей казацкой одеже”, — говорили они. За колесницей несли полковое знамя и вели белого коня генерала, на котором он был убит. Казаки к нему подходили и говорили ему в своей наивной горести: “ты не добрый конь, на тебе был убит наш отец, на тебе же он был и ранен, ты не берег его; если бы он был на гнедом, то остался бы жив, тот был добрый конь и часто был ранен под ним, а тебя ни разу не ранили”. Наконец пропели последнюю “вечную память”, гроб засыпали, и ничего не осталось на земле от убиенного боярина Николая, кроме громкой славы, пока жить будет казачий народ на Сунже.

“Дело 10-го декабря было удачно. Особенно отличились казачье охотники под предводительством Предимирова и майора Меркулова. Они взяли завалы и аул. Неприятель бежал, как бы пораженный паническим страхом. Ночью лишь узнали в горах о смерти их грозного врага”.

После панихиды в Урус-Мартане по Слепцове, в тот самый день, когда мы рассчитывали праздновать у него в Гехинке, мы все в печальном настроении вернулись в Воздвиженское. Тут мало-помалу жизнь вступила в свои права, и на сцену выступили ежедневные интересы. В последнее время, не смотря на таинственность, которою облекал свои деяния князь Семен Михайлович, я случайно уловил несколько несомненных признаков его тревожной деятельности в сношениях с какими-то чеченскими личностями. Два вечера сряду появления переводчика с закутанными байгушами неприятно прерывали наш вист. Князь бросал карты, уходил с пришельцами в кабинет и по получасу заставлял нас ожидать, а последний раз совещался с ними около двух часов. Наконец, спровадив посетителей, князь вернулся в гостиную, видимо озабоченный, но вместе и в отличном расположении духа. Предложив нам бросить глупый вист, он потребовал шампанского и в силу плохо скрываемого возбуждения, вопреки обыкновению, залпом осушил два [85] стакана. Мы переглянулись между собою, ничего не понимая, а он упорно хранил тайну. Не знал я тогда, что тайна эта разыграется таким сильным скандалом между начальством. По рассеянности князь три раза переспрашивал меня, я ли назначен назавтра вести колонну в лес, и, получая утвердительный ответ, что-то непонятное мычал себе под нос и только по четвертому разу, что вызвало взрыв хохота Николая и княгини, обратясь ко мне с тем же вопросом, его светлость загадочно заметил: “значит, мы рано увидимся!”. На следующий день, согласно с приказом по войскам гарнизона, три роты 2-го батальона, под моим начальством, назначены были идти в 7 часов утра в лес за дровами. Только что я успел за Чахкеринскими воротами поздороваться с людьми моей колонны, как за мною вслед выехал из крепости князь Семен Михайлович, торопливо приказавший мне отправить две роты с обозом в лес, а самому мне с 6-ю ротой идти с ним к Аргунскому ущелью. Сделав должные распоряжения, мы молча тронулись вперед; князь ехал рядом со мною, но не проронил ни одного слова. За полверсты от леса он приказал остановить мою роту и рассыпать впереди застрельщиков, с которыми я и сам направился к опушке леса, предварительно получив инструкцию его светлости принять и доставить к нему, ожидаемую им, очень важную личность. Минуту спустя, князь не выдержал, дал шпоры своему Нарзану, в несколько лансад нагнал меня и таинственно спросил: “Et vous ne devinez pas encore qui est l'individu que j'attends?” — “Mais non, mon prince, je n'en ai pas l'idee! ” —

ответил я. — “Eh bien, c'est... c'est... ni plus, ni moins, c'est Hadjy-Murat, en personne!” — торжественно пояснил он (“И вы до сих пор не догадываетесь, кто этот неизвестный, которого я жду? — Нет, князь, не имею никакого понятия. — Это... это... это, ни больше, ни меньше, сам Хаджи-Мурат!”). Только что подскакал я к 3-му взводу, как из опушки леса показалось несколько всадников. Впереди всех ехал красивый, статный брюнет, в щегольской белого сукна черкеске, увешанный дорогим, в золотой оправе, оружием. Умное и энергическое лицо его, с блестящими черными глазами, выражало полное спокойствие и самонадеянность. Подъехав ко мне, он остановил коня так близко, что мы щелкнулись с ним стременами. Приятельски протянув мне руку, он развязно сказал мне на аварском языке приветствие и, вопросительно махнув рукою в сторону князя, вместе со мною направился к нему. Это был сам Хаджи-Мурат, а по обеим его сторонам, по два почетных лица, все украшенные на груди металлическими бляхами, в роде звезд, точь в точь, как взятая нами в 1847 году у наиба Дубы. [86]

Состоящий при князе переводчик тут же передал суть всего сказанного экс-ханом аварским, а именно: “что он, Хаджи-Мурат, давно уже помышлял помириться с русскими, которых всегда уважал, но не мог оставить Шамиля, пока их соединяли узы дружбы и согласия; теперь же, по изменившимся между ними отношениям, он поспешил осуществить давно затаенное желание передаться русскому правительству и избрал явиться к представителю власти, именно к князю Воронцову, вследствие особенного и глубокого к его особе уважения”.

Очень довольный князь порывисто обнял Хаджи-Мурата, крепко пожал руки всей его свите и, отпустив меня с ротой в лес к моей колонне, сам вместе с новыми верноподданными царя русского курц-галопом поскакал к крепости. “Часа три спустя, ничего не подозревая о случившемся в Воздвиженском, я вернулся с колонною в крепость; но, явившись к барону Меллеру, им принят не был по нездоровью. Не придавая никакого значения этому обстоятельству, я переоделся и по обыкновению направился в дом Воронцовых, где застал страшную кутерьму, жалобы, негодование и даже со стороны княгини слезы. Увидя меня, она в большом волнении приступила к объяснению.

Князь Семен Михайлович, расставшись со мною, привез прямо к себе в дом Хаджи-Мурата и поспешил его представить княгине. Хаджи-Мурат сначала дичился в обществе женщины, но ловкость, ум и приветливость хозяйки скоро ободрили экс-аварского хана, и он не только принял предложенный ему кофе, но и обласкал 8-милетнего сына княгини. В свою очередь Булька, за несколько до того минут взиравший исподлобья и даже со страхом на страшного по молве наиба, почувствовал к нему симпатию, влез к нему на колени и со свойственной его возрасту любознательностью стал разглядывать блестящее его оружие. Хаджи-Мурат, строго придерживаясь коренного обычая на востоке относительно пешкешей (подарки.), поспешил снять с себя кинжал, привлекший внимание балованного мальчика, и тут же любезно опоясал им Бульку. Словом, в какой-нибудь час времени знакомство и даже дружеские отношения между Хаджи-Муратом и Воронцовыми установились сами собой, когда вдруг явился адъютант Меллера с приказанием сию же минуту представить к нему выбежавшего из гор Хаджи-Мурата.

Князь Семен Михайлович, смекнув возможность неприятной для его гостя выходки со стороны Меллера (как старшего начальника в крепости), вздумал для отвращения грозы не только сам сопровождать Хаджи-Мурата к командующему войсками Воздвиженского гарнизона, но и пригласил идти с ними Марью [87] Васильевну. Триумвират пешком через

площадь отправился к дому барона Меллера, нетерпеливо и страшно раздраженно ожидавшего появления знаменитого выходца. Увидев, наконец, из окна подходящего наиба, но не одного, а в обществе Воронцовых, барон выскочил на встречу к ним в сени и, вежливо пригласив княгиню на половину жены своей, а Хаджи-Мурата оставив в зале под наблюдением адъютанта Соболевского, попросил князя к себе в кабинет. Тут произошло между ними крупное объяснение, вызвавшее бурную сцену, причем Меллер позволил себе резкое выражение, за которое князь едва не нанес ему личного оскорбления. На страшный шум туда ворвались обе жены, и сцена должна была прекратиться, но Меллер арестовал на особой квартире Хаджи-Мурата за офицерским при нем караулом и послал с нарочным донесение начальнику левого фланга. Последнее обстоятельство вызвало и князя Воронцова сейчас же отправить письмо генералу Козловскому. Воображаю положение бедного Викентия Михайловича, при получении этих обоюдных протестов. “Как, как? Ну, как же поступить мне, Анна Васильевна, как?” Но наш тихоня Козловский оказался премудрым Соломоном. Получив оба донесения, его превосходительство ночью же прислал предписание немедленно же яблоко раздора, то есть Хаджи-Мурата, препроводить к нему в Грозную. Коротко и ясно!

Поступок князя относительно истории из-за Хаджи-Мурата в служебном отношении его, конечно, не оправдывает. Меллер-Закомельский высочайшим повелением назначен был командовать войсками в Воздвиженском, а князь Воронцов только командир Куринского полка, а потому первый был облечен правами и обязанностями всех внешних сношений с окружающим нас неприятелем, а второй только внутренним управлением одного полка. Из этого ясно, что князь Воронцов не имел никакого права прямо и помимо ведома барона Меллера вступать лично от себя в какие бы ни было переговоры с непокорною нам личностью и принимать ее непосредственно под свое покровительство.

Накануне Рождества нас ждала великая новость. Козловский назначен был в Ставрополь вместо скончавшегося Завадовского, а начальником левого фланга и 20-й пехотной дивизии сделан генерал-адъютант князь Александр Иванович Барятинский. Викентий Михайлович на третий день Рождества должен был приехать к нам в Воздвиженское, чтобы проститься с Куринским полком.

По донесению Козловского главнокомандующему о замирении и выходе к нам Хаджи-Мурата, из Тифлиса командирован был в Грозную Лорис-Меликов, чтобы привезти бывшего хана [88] аварского в столицу Грузии. Михаил Тариелович вместе с почетным пока пленником занимал временно бывшую квартиру Меллера. Я был у него, и Лорис очень любопытствовал узнать подробности войны алой и белой розы в Воздвиженском; он, как ловкий дипломат, вытянул у меня все на чистоту, а сам высказался очень туманно о том, как принята история из-за Хаджи-Мурата при Тифлисском дворе. Во всяком случае не князь тут пострадает.

На третий день праздника князь Семен Михайлович давал в честь генерала Козловского большой обед всему полку.

Задолго еще до назначенного часа мы увидали из окна в саду сосредоточенно двигающегося генерала Козловского, медленно шевелящего губами и ничего, казалось, кругом не замечающего. Не подлежало ни малейшему сомнению, что он придумывал и заучивал приличный и в данном случае необходимый спич на обеде с полком бывшей его дивизии, с таким полком, боевую историю которого он изучил по всем перипетиям собственной в течение более 30-ти лет кавказской службы. Судя по усиленной умственной работе, заставляющей его

так упорно искать одиночества, во мне рождалось сомнение, признаюсь, очень тягостное, в благополучном разрешении задачи; кроме того, мне искренно хотелось опровергнуть некоторые насмешки над Козловским жестокой сегодня Марьи Васильевны.

— Le pauvre homme, — говорила она, — est absorbe par la besogne bien penible pour lui de tenir un spitch. Бедный старикашка, как мне его жаль, с его-то красноречием!

Время близилось к парадному обеду. Уже в столовой стали собираться приглашенные, а Викентий Михайлович все еще шагал по саду. Наконец, он взошел в столовую, приветливо раскланялся со всеми наличными офицерами и с озабоченным и красным, как рак, лицом, тяжело отпихиваясь, опустился на кресло в гостиной. Княгиня, взглянув на него, лукаво подмигнула мне и с участием стала расспрашивать Викентия Михайловича о его здоровье.

В эту минуту дворецкий возвестил, que madame la princesse est servie, и Марья Васильевна, грациозно округлив свою прелестную руку, повела почетного гостя в столовую.

Сначала обед шел обычным порядком, но вот подали жареное, а с ним и роковая минута появления шампанского, следовательно, и ожидаемого спича. Меня начала бить лихорадка нетерпения, а более страха. За спиной княгини (я, все-таки, сидел у ней с правой стороны), взглянув на ее соседа слева, я испугался страдальческого его лица. Наконец, в бокалах заискрилось шампанское, Викентий Михайлович откашлялся, обвел всех глазами, потянулся, с трудом достал из заднего кармана [89] носовой платок и начал сморкаться. Напряженное ожидание обмануло нетерпеливую публику. Княгиня с очаровательной улыбкой, взглянула на генерала. Меня окончательно бросило в жар, а когда в эту минуту вдруг вскочил со стула Козловский, сердце громко застучало. Воцарилось молчание. Взоры всех присутствующих, не исключая многочисленной прислуги, которая по знаку князя замерла на месте, устремились на старика, все еще переводящего дух. Прошло еще несколько минут молчания, и он дрожащим голосом начал:

— Господа офицеры, как, дорогого сердцу моему, как, Куринского полка! По высочайшей его величества воле, я уезжаю от вас, расстаюсь с вами! Но как бы ни был я далеко, считайте меня всегда, как, с вами... Вам, господа, знакома, как, истина, один в поле не воин! Поэтому все, чем я на службе моей, как, награжден; все, как, чем осыпан великими щедротами государя императора, всем положением и, как, добрым именем моим, всем, всем, решительно, как, — здесь голос его еще сильнее задрожал, — я только, как, обязан вам и одним вам, дорогие друзья мои!.. — Выступившие на старческих глазах слезы покатились по сморщенным щекам его. — От всего сердца приношу вам, как, мою искреннюю, задушевную признательность! — Слезы душили его. Не в силах подавить волнение, Козловский зарыдал и порывисто бросился обнимать офицеров, всех от первого до последнего. Княгиня закрыла лицо платком: она плакала. Даже князь Семен Михайлович, как-то странно скривя рот, заморгал глазами.

Впечатление немногих слов Козловского было поразительное.

— J'ai en tort, je l'avoue, — шепнула мне княгиня.

На следующий день почти весь наличный состав офицеров верхом провожал Викентия Михайловича до Большого Кургана, где в последний раз мы осушили по бокалу шампанского за его здоровье с пожеланиями ему счастливого пути и всякого благополучия на новом посту.

Итак, поляны и леса чеченские уже не увидят у себя храбрейшего генерала Козловского во главе победоносных его отрядов. Ближайшая через несколько дней назначенная экспедиция должна уже состояться под командой вновь восходящей, но уже очень блестящей звезды кавказской, князя Александра Ивановича Барятинского.

В. Полторацкий.

(Продолжение в следующей книжке)

Текст воспроизведен по изданию: Воспоминания В. А. Полторацкого // Исторический вестник, № 4. 1893

ПОЛТОРАЦКИЙ В. А.

ВОСПОМИНАНИЯ

(Продолжение. См. “Исторический Вестник”, т. LII, стр. 72.)

XIII.

Встреча Нового года у Воронцовых. — Воспоминание о Сергее Трубецком. — Сбор отряда; предсказание; смерть генерала Крюковского. — Дело куринцев с Шамилем; пожалование Георгиевского креста князю Воронцову. — Отъезд его. — Жизнь в Воздвиженском; новые знакомые: Туманов, Орбелиани и др. — Движение с князем Барятинским по Большой Чечне. — Производство князя С. М. Воронцова в генерал-майоры и сдача им полка Ляшенку. — Хельмицкий. — Розен и Бартенев. — История Ясинского. — Кутлер, Гербель и Поливанов. — Случай с Бреверном.

Новый 1852 год встречен был нами у Воронцовых не шумно, без музыки и толпы гостей, посемейному.

Когда за несколько минут до полуночи поданы были бокалы шампанского, и все ожидали боя часов, мысленно перенесся я в Петербург, к своим, а оттуда к некоторым обездоленным, лишенным семейной радости, каков был, например, брат княгини Воронцовой, Сергей Трубецкой, томившийся в Оренбурге, в серой шинели солдата.

Раз, два, три, — раздались боевые удары Булевских часов на камине, и все бросились к хозяйке. Я тоже подошел к ней и под впечатлением только что промелькнувших воспоминаний чокнулся к княгиней за здоровье опального Сергея. [356] Чрезвычайно сердечно приняла она предложенный тост и, крепко от души пожимая мне руку, заметила:

— Вы одни, мой дорогой друг, в такую минуту могли вспомнить о несчастном Сереже.

В сущности, я лично мало знал этого Сережу, но понаслышке о его душевных качествах действительно принимал близко к сердцу все гонения, его преследующие. На Кавказе, куда он был сослан прежде из гвардии, Сергей Трубецкой оставил самую лучшую о себе память, как о теплой души человеке и отлично боевом офицере. Вернувшись в Петербург, он еще не успел забыть о миновавших невыгодах ссыльного, как опять новая беда стряслась над его головой, вследствие которой, лишенный княжеского титула, дворянского достоинства и офицерских

чинов, присужден был тянуть лямку рядовым в оренбургских линейных батальонах. Наказание это особенно жестоко тем, что разжалованный прислан не на Кавказ, где бы он мог отличиями и кровью своей снискать помилование, а отправлен в полуазиатские степи.

Преступление Трубецкого, вернее — проступок его, имело очень романтический характер. Сердце, говорит, не камень, а у Сергея оно было особенно нежное. Его-то он поверг к ногам соблазнительной и очень красивой молодой женщины. Справедливо отдавая ловкому, статному и очень любезному поклоннику предпочтение перед другим соперником его, не молодым, но очень важным, она без колебания согласилась бросить мужа и бежать на край света с милым сердцу. В одну прекрасную, но очень темную ночь, счастливая парочка, скрытно ускользнув от бдительного, строгого надзора, с подорожной по казенной надобности на имя штабс-капитана Федорова, понеслась по Московскому шоссе. Трубецкой, переодетый в долгополый купеческий сюртук, а его дама в казачий кафтан, под фирмою “будущего”, благополучно миновали Москву и прочие города на всем длинном пути от моря Балтийского до Черного и без всяких приключений доскакали до Поти, накануне дня отхода с рейда иностранного судна в Марсель. Трубецкой, поместив своего казачка в гостинице, поспешил к капитану экипажа, явил ему свои бумаги и, заплатив вперед за морской переезд, вернулся совершенно спокойный к своей возлюбленной. Между тем в Петербурге, узнав об исчезновении беглецов, всесильный соперник Сережи распорядился найти и нагнать их во что бы то ни стало. И фельдъегеря и жандармы понеслись из столицы по всем трактам обширной матушки России. Очертя голову, мчался и жандарм, направленный по следам пути мнимого Федорова, и только несколько часов после выезда из Кутаиси дезертиров он заявил губернатору о цели его бешеной скачки. Местное начальство [357] всполошилось, быстро собрало справки и, убедясь в кратковременном пребывании в Кутаиси штабс-капитана Федорова, не медля ни минуты, приняло самые энергические меры к поимке виновных. Тем временем, ничего не подозревая, наши друзья, в виду приближения часа отхода парохода, на котором уже разводились пары, спокойно, пешком, под руку подошли к морскому берегу. Здесь они замешкались с лодочником и причалили к судну за несколько минут до снятия его с якоря. Трубецкой, выскочив первым из лодки, подал с трапа руку спутнице и по неосторожности громко заторопил ее словами: “Vite, vite, Lavinia!”. Эти-то злополучные три слова погубили обоих. Переодетые полицейские, безуспешно осмотрев всех пассажиров, подозрительно смотрели с палубы на приплывающих в лодке, а когда услыхали имя искомой, тут же без промаха наложили на них свою тяжелую руку... Его судили за подлог и бегство по чужой подорожной.

Со всем тем юмор еще не оставил его, что видно из недавно присланных им сюда визитных карточек: “Serge Troubetskoy, ne prince”.

Несколько дней спустя, назначен был сбор отряда и выступление за Аргун. Князь Воронцов накануне пригласил весь генералитет к себе обедать. Обед был очень хороший, шумный, оживленный. Рядом с хозяйкой уселись князь Барятинский и атаман Крюковской, а с князем старшие затем представители отряда, Бакланов и Вревский. Тришатный, Николай и я заняли места на конце стола и все время проболтали очень весело. После обеда, кофе и ликеры подали в гостиную, где все общество расположилось к кейфу, около камина. Накануне выступления в бой, где предполагается несомненная опасность, всегда заметно особенно возбужденное состояние в участниках, а потому и теперь, после отличного обеда, яркое освещение, теплый и благоуханный воздух роскошно убранных комнат и наконец

поглощенное вино — все вместе невольно в каждом порождало мысль: то ли будет завтра на бивуаке? и придется ли в жизни еще испытывать подобные удобства и наслаждения? Княгиня Мария Васильевна оживленно перепархивала в разговоре с одного предмета на другой, а, наконец, под влиянием обще-гнетущей мысли громко подумала:

— А ведь вот мы теперь здесь вместе, нам тепло, уютно и весело, а что-то будет после экспедиции, и кому именно суждено не возвратиться? Эта мысль меня сильно терзает!

— Эх, ваша светлость, — первым на это возразил Крюковской, — да и, слава Богу, если кое-кого убьют!... Вакансии по службе они очистят! [358]

Как ужаленная в сердце, при этих словах вскочила Мария Васильевна.

— Можно ли так говорить, генерал? — мгновенно горячо вспыхнув, с увлечением заговорила она, — Знаете, что вы мне напомнили вашими словами? Послушайте. В прошлом году весною я ехала из Петербурга в Царское Село. В вагонах всех классов была бездна пассажиров, едущих в Павловск на концерт. Давка была страшная, места все заняты. В ту минуту, когда поезд тронулся, запоздавший господин хотел вспрыгнуть с платформы в вагон, оступился, упал и головою свалился под колеса. Минуту спустя, немец обер-кондуктор, отбирая наши билеты, со злою усмешкой сказал: “теперь, господа, вам будет попросторней, — одного из пассажиров сейчас раздавило поездом!”. Впечатление этими пошлыми словами он произвел на всех самое тяжелое... Двадцать минут спустя, когда поезд, несколько убавив ход, шел мимо полустанка, тот же самый обер-кондуктор захотел спрыгнуть на платформу и в свою очередь промахнулся и упал под поезд, моментально раздавивший его в лепешку! Вот, — закончила княгиня, — как провидение быстро и строго его наказало.

Здоровый, краснощекий, геркулес сложением, Крюковской при последних словах внезапно изменился в лице, побледнел и, как громом пораженный, остолбенел в бессилии что либо ответить. Но не на одного атамана рассказ княгини произвел впечатление даже Булька, шумно вертевшийся между гостями, приутих и, широко раскрыв глаза, не сводил их с Крюковского. Более же всех нас смутилась сама княгиня. В пылу минутной досады она как бы пророчила атаману возмездие, а теперь хотя и натянула все струны обычного своего красноречия, чтоб снова оживить слушателей, но что-то в обществе как будто надтреснуло... На Кавказе особенно люди становились суеверными.

Потом княгиня мне рассказывала, что когда она, укладывая Бульку, стала с ним на колени перед образом, чтоб помолиться за отца (то есть, за отчима), Булька перебил ее словами: “за папу не бойся, он вернется, а вот Крюковского убьют”... Как бы то ни было, но стечение обстоятельств вышло фатальное, поразительное.

На следующий день около Зааргунской башни были собраны все войска для молебствия. Приехал князь Барятинский, раздалась команда: “на молитву”, обнажилось несколько тысяч голов, и раздалось пение молебствия. Ближе всех к аналою, впереди многочисленной свиты, стал статный, внушительный и, нельзя не признать, изящно-красивый Александр Иванович, а в двух шагах от него Воронцовы (княгиня тоже выехала на молебствие). [359]

Я пробрался к ним ближе и стал рассматривать выражение лиц окружающих. Осанистая, с густой бородой и длинными усищами, мужественная физиономия атамана была полна невозмутимого спокойствия, даже апатии. Сосед его, Бакланов, выдвинув вперед богатырскую грудь, выразительными и полными огня глазами оглядывал всех по сторонам, но при каждом

возгласе священника осенял себя широким и размашистым крестным знамением и клал усердные поклоны. Из остальных одни сосредоточенно творили молитвы; другие же, подтягивая певчим, глазели по сторонам, пожимаясь от утреннего холода. Раздался отбой, и начались прощальные пожелания, рукопожатия и целования. Мой батальон в этот раз не выступал, и потому мы с княгиней Марьей Васильевной тихо и скучно вернулись в опустелую крепость.

Через несколько дней от князя Simon'a получено было из-за Аргуна письмо, которое княгиня после некоторого колебания сообщила, впрочем, мне и Николаю. Князь писал ей, “что в ту ночь, на 24-е число, значительная часть Шалинскаго отряда выступает из лагеря, перейдет Аргун и, обогнув Воздвиженское, ударит между реками Сошней и Гихой на Саит-Юрт, сильнейший аул у подножья Черных гор, а затем к вечеру того же дня рассчитывает придти в крепость, почему просит княгиню позаботиться о ночлеге для гостей”, и т. д. Здесь княгиня, уже не скрывая тревоги, обратилась ко мне, бывшему в тот день дежурным по караулам, с усиленною просьбой, при первых же выстрелах послать за полковым священником для совершения молебствия. На утро у княгини, при первых словах молитвы: “Царю Небесный”, я, стоя у окна, заметил скачущего по площади чеченца прямо к дому князя. По взмыленной лошади, тяжело водящей боками, я смекнул, что всадник должен быть нарочным из отряда, и тихонько вышел на крыльцо. В эту минуту подъехал чеченец и протянул мне незапечатанную вдвое сложенную записку. Я развернул ее, узнал почерк князя и прочел: “Хвала Всевышнему, я жив и невредим. Дело было жаркое, убиты: Крюковской, Дорохов, Полозов и много других. Потеря очень большая. Будем отдыхать в Урус-Мартане, а вечером жди нас к себе. Твой Simon”. Нетвердыми шагами, пораженный, вошел я обратно в столовую в ту минуту, как княгиня подходила к кресту. Выждав немного, я молча подал ей записку. Она жадно бросила на нее глаза и внезапно, как сноп, упала в обморок. Очнувшись спустя двадцать минут, она, вспомнив все, внятно проговорила: “сейчас же панихиду”. Послали за черною рясой, и в той же зале раздался раздирающий напев панихиды. [360]

Давно уже смерклось, когда на улице послышался топот кавалерии, и князь Семен Михайловичу а за ним князь Барятинский с большою свитой, усталые, измученные, но все же возбужденные, ввалились в гости иную княгини. Начались рассказы о деле, сожаления об убитых и раненых...

Но через несколько дней ждало княгиню большое утешение, а именно, накануне 30-го января, в движении князя Барятинского с частью отряда к аулу Автуры, муж княгини с двумя батальонами нашего полка командовал цепью, против которой, по сведениям лазутчиков, дрался самолично Шамиль, а потому князь Барятинский объявил, что он представляет князя Семена Михайловича к ордену св. Георгия.

Следующие затем дела, как Бакланова в Маюртупском лесу, барона Майделя около Мечика и всего отряда под Автуры, завершили зимнюю экспедицию 1852 года. Воронцовы уехали вместе с Барятинским в Тифлис, а оттуда княгиня с мужем отправлялась в Париж. В последний вечер князь сиял от счастья уехать наконец из Воздвиженского и нисколько этого не скрывал. Не то было с княгиней. Она, по свойственной ей деликатности, присущей сердечной женщине, старалась скрыть эгоистическое удовлетворение — от всего и всех избавиться. Ясно и совершенно легально было бы с ее стороны открытое признание, на сколько ей представлялось тягостным и несообразным с ее привычками, требованиями и воспитанием, насильственное пребывание здесь, среди лишений, скуки и опасности. Не смотря на все это,

княгиня весь вечер и виду не показала об охватывающем ее чувстве радости; мало того, она всячески старалась как бы с сожалением воскресить в памяти пережитые ею у нас одни приятные минуты, отнюдь не касаясь испытанных в трущобах наших случаев грустных и трагических. На другой день, после раннего завтрака, они уехали. Какая разница в существовании с тем, что было при них. Однообразие, скуку и застой испытывали мы во всем, а в особенности относительно новостей и сведений того, что делается в мире сем. Тогда усиленная корреспонденция князя, а еще больше княгини, посвящала нас во все, происходящее не только в северной, но и в нашей кавказской столице — Тифлисе, тогда как потом оказии из Грозной привозили некоторым только из нас письма, да и то скудные по общественному интересу.

Впрочем, наибольшее оживление составлял приезд в полк новых лиц; так, и на этот раз общество увеличилось вскоре двумя новыми членами, князьями Тумановым и Орбелиани. Князь Александр Туманов, назначенный командовать нашим вторым батальоном, принял его, как подобает всякому порядочному человеку, без всякой выходки, могущей вызвать порицание. В [361] частной же жизни оказался истым грузином: добродушным, бесхитростным и веселым. Вано же Орбелиани, beau-frere князя Гагарина, кутаисского губернатора, тоже не отставал от Туманова по честнейшим воззрениям и открытой душе.

Между тем барон Меллер, про которого чеченцы говорили, что у него “башка — масла конь” (в голове ума много), воспользовался отсутствием князя Барятинского и Воронцова и сделал набег на давно им желанный аул Талгика, который давно манил Меллера своими трофеями — полевыми орудиями. Талгик был старейший по летам и влиятельнейший по заслугам наиб чеченский; Шамиль был очень к нему расположен и в доказательство отдал ему в полное распоряжение два полевых орудия, которые и находились всегда в ауле, при сильном карауле. Не смотря на страшное и отчаянное сопротивление чеченцев, на сильные потери с обеих сторон, аул был разграблен и орудия взяты, а Оклобжио на следующее же утро отправлен курьером к главнокомандующему. Конечно, успех этот не мог обрадовать наших князей при существовавшем между ними и Меллером антагонизме, однако были присланы поздравления, похвалы и благодарности (искренние ли?) за отлично-славное дело 27-го марта. Познакомившись два месяца спустя со вновь переведенным из гвардии капитаном Ивиным, я узнал по этому поводу любопытные подробности, которые он слышал при посещении им в Москве Алексея Петровича Ермолова.

— Отец мой, — так говорил Ивин, — старинный сослуживец по артиллерии и приятель по душе знаменитого кавказского героя Ермолова, а потому, прощаясь со мною в Петербурге, поставил мне в непременное условие, проезжая через Москву, явиться к Алексею Петровичу. Разумеется, я по приезде в Белокаменную поспешил исполнить волю батюшки и пустился на Пречистенку. Докладывают. Ермолов принимает, как родного. Он едва помнил меня ребенком, но по дружбе к моему отцу обнял, обласкал, обворожил любезностью. После вопросов: почему, как, зачем я перешел на Кавказ, — Алексей Петрович спросил, в какой я еду полк; я ему назвал наш князя Воронцова полк. “А, это бывший Куринский, ну, поздравляю тебя, голубчик, отличный ты выбрал полк. Да, да, Куринский полк я знаю хорошо, полк славный и командир его, недавно бывший, Петр Петрович Меллер-Закомельский, умный и боевой офицер. Ну, а слыхал ты, какое славное дело вот недавно Куринский полк задал чеченцам? В пух разнес сильнейший аул, забрал два орудия и разгромил массу неприятеля. А все Меллер! Да, да, умный бесспорно человек, а, поди, какую великую глупость сотворил он!”

Я в недоумении захлопал глазами. “Так ты, мой милый друг, не догадываешься? — пристально взглянув [362] на меня и с сожалением в голосе, возразил Ермолов. — Так пойми же, что за это лихое дело его, Меллера, теперь с лица земли сживут и с Кавказа прогонят непременно. Слушай, голубчик, дразнить сильных мира сего никогда не следует!.. А Меллер без них сделал дело, и за это ему несдобровать!”

Пророчество Алексея Петровича сбылось. Барону Меллеру-Закомельскому, вместо следуемого ему по статуту ордена св. Георгия 3-й степени на шею, дали очередную награду Владимира 2-й степени и чистую отставку.

1-го июня того же года, под начальством князя Барятинского, отряд наш форсированным маршем вверх по Сунже сделал громадную прогулку в Большую Чечню. По расчету времени и пространства, пройденного нами от Воздвиженского, оказалось, что в 22 часа мы прошли 112 верст, а молодцы, бывшие накануне еще на фуражировке, те одолели в 24 часа до 130 верст. Кто у нас теперь поверит подобному подвигу? Летом, в страшную жару, не бросив на пути почти ни одного больного, ни одного отсталого. Нет, во всем мире не найти таких людей, как кавказские солдаты.

Неимоверно быстрое появление отряда князя Барятинского на плоскости, куда направлялся Шамиль с ордой своею, поразило имама. Вытянув из Бамутского ущелья частицу полчищ своих, пока остальные еще спускались с гор, он увидел перед собою как из-под земли выросшие русские войска, появлением своим парализованная все расчеты его проникнуть безнаказанно в Кабарду, где он надеялся по приходе своем (как известно было раньше от лазутчиков) произвести в населении общее против нашего правительства восстание. Коварные планы неприятеля рушились, и Шамиль, лично разглядев с возвышенности массу блестящих на солнце штыков, в горьком разочаровании показал тыл. Князь же Барятинский, получив верные сведения об отступлении всех вражьих сил по тому же Бамутскому ущелью в недоступные нам горы, тотчас же отдал приказание своему отряду расположиться бивуаком на берегу речки Кембилеевки, варить пищу и отдохнуть мирно и спокойно, в чем все люди сильно нуждались. Мертвым сном заснули богатыри наши. В полдень они выпили порционную водку, пообедали и снова завалились пополнять потраченные силы, а вечером и затем далеко за полночь во всем лагере уже раздавались веселый говор, смех, шутки и лихие песни. Обратный путь наш был с чувством, с толком, а главное — с расстановкой, и продолжался три дня.

Дома, в Воздвиженском, нас ждали новости. Наш командир, князь Семен Михайлович, уже вернувшийся из Парижа, скоро должен был прибыть сюда, а еще, что курьер наш, [363] капитан Оклобжио, представлен, к Георгиевскому кресту и помолвлен на княжне Орбелиани, кузине нашего Вано. Недолго побыл у нас опять князь Семен Михайлович. После дела в Аргунском ущелье князь “за особенное военное отличие” был представлен к чину генерал-майора, сдал полк Ляшенку и, распростившись с нами, снова уехал в Тифлис.

Скромно и мирно потекла жизнь в Воздвиженском. Несколько человек нашего полка как-то теснее сошлись между собою и образовали кружок дружный и неразлучный. Туманов, Орбелиани, Нордштейн, Бреверн, Швахгейм, Ивин и я, собирались ежедневно, вместе обедали, козыряли в безобидный вист, болтали и нередко возглашали Алла-Верды; из посторонних чаще других бывали: Ростовцев, Фадеев, Кноринг и Мамацев из артиллеристов, Богданов, Ахлебинин, Чихачев, Желтухин, Ромарино, Ренне, Ротчев, Воецкий, Павел Ипполитов и Пистолькорс из наших куринцев. Случались и неожиданные, и нельзя сказать,

чтобы приятные знакомства. Так, обедая как-то у Мамацева, я увидал у него нового офицера в его батарее, некоего Х. Этот господин служил прежде в гвардейской артиллерии, но там не удержался и переведен в армию за разные проделки, из которых первое место занимает отъявленное шуллерничанье в карты. Сам Х. очень откровенно, даже с некоторым хвастовством, сообщал всем и каждому о своих похождениях. Их много, и, быть может, я погрешу в их хронологическом порядке, но сущность настоящего дела будет та же.

Еще гвардейским артиллеристом Х. взял отпуск из Петербурга и прибыл в Москву, где его поджидала целая шайка сподвижников по ремеслу, чтобы начать “дела”. После мелкой практики над различными маменькиными сынками, компания задумала предприятие en gros, т. е. очистить на очень большой куш некоего юношу, только что получившего громадное наследство от умершего в провинции отца своего. Шайка, припрятав на время главного деятеля, мага и волшебника Х., свела знакомство с богатым наследником, приехавшим из глуши, как говорится, протереть глаза накопленным деньгам. Сначала юноша играл, но вяло и осторожно. Агенты шайки умышленно проигрывали ему довольно значительные куши, чтобы завлечь его “в настоящую”, но и это не брало, и молодой крез их обществу и игре предпочитал другие более игривы я наслаждения. Допустить трату дорогих капиталов непроизводительно агенты нашли слишком глупым, а потому систематически стали ему вбивать в голову, что хотят принять его в свою компанию, чтобы вместе воспользоваться, посредством азартной игры, баснословными драгоценностями персидского принца, едущего из Тегерана в Москву. Юноша не сразу поддался их басням, но мало-помалу [364] заинтересовался исчислением сокровищ принца и, ощутив сам значительную брешь в захваченной из деревни сумме, ударил по рукам, торжественно пообещав играть с ними заодно против богача персидского. Ожидания длились недолго. Приезжает в Москву желанный принц и со свитой занимает чуть ли не целый этаж в лучшей гостинице. Одеяние и вооружение его и всей челяди поражает восточной роскошью и богатством. Сам принц не старый, очень дородный мужчина, красивый брюнет, в высочайшей конусообразной шапке, с головы до ног увешанный оружием. По-русски он не понимает, но в карты играет и от скуки не прочь перекинуться в азартную. Наша шайка, в качестве золотой молодежи, попадает к нему на обед. И здесь гостям бросается в глаза роскошь сервировки, множество блюд и напитков. После шербетов и достарханов, смененных кальянами, являются столы и карты. Толстый принц, пыхтя и охая, неловко распечатывает колоду, неумелой рукою тасует и, высыпав на средину стола почтенную груду золота, делает неуклюжий знак головою в виде приглашения к началу игры. Не дали просить себя партнеры. Штосс отчаянный, качаловский, закипел между ними. Громадные куши передавал из рук в руки и чертил колоссальные записи богатый юноша, а к утру все унаследованное достояние, более чем на 600 тысяч, очутилось во владении счастливого банкомета, персидского принца. Через неделю принц персидский Шейх-Мирза, Кельб-Али-хан, был переведен из гвардии в армию и по подорожной на имя подпоручика Х. выслан из столицы с жандармом.

После неприятной развязки персидской истории в Москве (рассказывал потом сам Х.) он долго мыкался по белу свету. Одаренный от природы способностью приобретать средства к жизни более спокойным путем, чем службой где-нибудь в захолустье, он переколесил Россию вдоль и поперек, естественно, не из любопытства, а с более практическою целью.

“Теперь (с глубоким вздохом сказал Х.) времена много изменили и людей и все условия жизни, а тогда, лет десять назад, было куда лучше. Денег водилось больше, а людей

расчетливых, скупых меньше. Ах, какие славные были времена! Меня, например, безденежье, временно случающееся со всяким, никогда не тревожило серьезно. Хлеб насущный, необходимый, как и роскошное богатство и все наслаждения, все, все носилось у меня в кармане в виде двух колод карт. Но, впрочем, при этом скажу вам, что утонченное во мне искусство в механическом отношении и в чистоте работы вообще было доведено до такой степени совершенства, что без хвастовства могу уверить — я был страшилищем товарищей по ремеслу, но сам соперников не знал. Как один из множества тому примеров, [365] выслушайте следующий случай, характеризующей ту степень известности, которою пользовался я в былые времена во всех уголках нашего обширного отечества. Главным, надо вам сказать, центром деятельности нашей были ярмарки, и из всех них более других была мне по сердцу Лебедянская. Туда являлись богатые купчики, зажиточные помещики и с толстейшими бумажникими, кавалерийские ремонтеры, а главное, что прельщало меня при этом в Лебедяни, это патриархальность нравов, простота и добродушное доверие, но более всего — отдаленность от столиц. Вот-с, сделав надлежащие подготовления к выпуску на арену по зеленому сукну новых и усовершенствованных мною фортелей и вольтов, я, конечно, предварительно навел тщательные справки о тех дельных и опасных мне конкурентах, которых мог бы я встретить на предстоящем поле битвы, а затем благословясь отправился в путь. Дорога была хорошая, лошадей запрягли мне бойких, словом, на всем переезде ни остановок, ни приключений не встретил. На предпоследней же станции вижу у крыльца два отпряженных экипажа. Вхожу в общую комнату, четыре проезжающих накачиваются чаем, а станционный смотритель суетится около них с самоваром. “Лошадей, почтенный, поскорее лошадей”, — говорю ему. “Лошадей нет, все в разгоне”, — равнодушно отвечает виц-мундир. “Как нет? Быть не может? Ведите меня на конюшню. Подайте книгу” и проч., — вне себя от досады горячусь я. “Извольте, сейчас!” — не торопясь, проходя к столу соседней комнаты, говорить тот. “Да вот и эти господа, — добавил он: — уж с обеда ждут, а ранее утра я их со станции отправить не могу!” Всякие дальнейшие споры были бы бесполезны, и я, покорившись злой судьбе, вернулся из смотрительской в общую залу. Проезжающие, окинув меня беглым взглядом, вступили со мной в разговор: откуда и куда? какова дорога? каков в вашей местности урожай? и проч. ерунда. Просят с ними откушать стакан чаю, а полчаса спустя, познакомившись, как подобает дорожным людям, без церемонии и проволочки времени, но и без наименований друг другу фамилий, эти господа любезно предлагают мне, конечно, если я играю в карты, составить пульку преферанса, конечно, по самой маленькой, только чтобы убить время. Сели и режемся по полукопейке фишу, часа три сряду. Я проиграл, помнится, 70 копеек, но положил на стол пятидесятирублевую ассигнацию и предложил сыграться. В пять минут банк сорвали. Закладываю второй и третий, конец тот же. “Эге! — думаю про себя, — вы, господа, ребята чищеные!” Делать нечего, приходится в ход пускать “авантажи”. Говорю, что метать устал, и бросаю карты. “Да вы понтируйте”. — уговаривают они, и с этими словами один из них, кладя на стол [366] сторублевку, умышленно сует мне в глаза бумажник, туго набитый депозитками на несколько десятков тысяч рублей. Игра завязалась нешуточная. Банкомету везет, и на меня записано почти 6 тысяч. Ставлю брандера до 8 тысяч. Убита и эта карта. Встаю из-за стола, открываю чемодан и вместе с деньгами сую в карман и мои собственные карты. Раскрыв объемистую мошну мою для расчета, вижу, что у господ разбежались глаза… Мне только этого и было нужно. Я карты ловко подменил и, небрежно бросив на стол кипу бумажек, тысячи на три, предложил им сорвать и эту дрянь…

“Завязалось дело жаркое! Слежу внимательно за понтерами, ясно вижу, как загибаются ими лишние углы, как неправильно перечеркиваются куши в записи, но ни гу-гу, напротив, оказываю им полное доверие и самую изысканную деликатность, тогда как сам подвожу мину и, наконец, пускаю в ход новейшие фортели. Живо вернулись мои деньги, и накопился по записи изрядный куш. Трое понтировали горячо, а четвертый, предупредив нас, что он никогда в азартную не играет, стал против меня и не сводил глаз с моих рук. Два, три раза мне мерещилось, что он, этот непрошенный наблюдатель, мог заметить не вполне отчетливо исполненный мною вольт, но бриллиантовый мой перстень выручил. Давно уже на дворе пропели петухи, а к понтерам счастье не возвращалось. Они, горемычные, все больше и больше залезали в запись. Наглядно прикинув длинные столбцы, я приблизительно насчитал за ними до 50 тысяч. “Бастовать еще рано”, — думаю я, тем более, что у двух партнеров глаза налились кровью, и они полезли, как на рожна, пуская брандер за брандером. В это время четвертый, до того времени меня смущавший, вышел из комнаты с такою же поспешностью, как я подстроил камуфлет новейшей школы. Хлоп, хлоп, хлоп... Убил всем троим. Опять другая талия, хлоп, хлоп... “Господа, — стремительно влетая в комнату, отчаянным голосом заревел враг мой: — это он, он! смотрите”, — поспешно указывая на дагеротип, отысканный им на дне своего чемодана. Все вскочили с мест, впились в портрет и пристально стали его сверять со мною. Тем временем я хладнокровно подвел итог в 80 тысяч рублей!” — Х. смолк.

— Но чем же окончилась эта встреча? — спросили мы.

— Мы с той же минуты сошлись и стали работать сообща, искренними друзьями.

— А денег, конечно, вы с них не получили? — допрашивали мы.

— О, напротив, в тот же день и час — все до копейки, как только все дело между нами разъяснилось. При этом я из благодарности за поднесенный мне куш тут же на столе [367] показал им, на какой именно камуфлет я подвел их. У нас, скажу вам, все денежные между собою расчеты по игре исполняются всегда с неимоверною строгостью, если, конечно, не попадешься на месте преступления... А тогда — иное дело!

Да, никакого фокусника европейской известности нельзя сравнить с Х. Это виртуоз первоклассный, баснословный, необычайный. Видеть его гениальные таланты — любопытно, но носить с ним один мундир и считаться его товарищем — постыдно. Если закон преследует карманников, то почему же так снисходительно относится и терпит на службе подобного обер-мошенника?

Совсем другой характер носили так называемые “несчастненькие”, разжалованные за минутные увлечения, необузданные порывы гнева и проч. Много их было у нас на Кавказе, а в эту зиму особенный был наплыв. Первый из них, барон Розен, юноша (однофамилец гребенского Розена), только в нынешнем году произведенный из школы гвардейских подпрапорщиков в кавалергарды, убил на дуэли того же полка птенца графа Гендрикова, в один же день с ним выпущенного из Пажеского корпуса. После веселого в лагере обеда дети о чем-то горячо заспорили и так резко поругались, что стали на шесть шагов барьера, где один из мальчишек остался на месте, а другой в серой шинели попал к нам. Второй Бартенев — так же вновь испеченный прапорщик суконной гвардии, то есть Прусского полка. Этот господин поплатился своими первыми эполетами за следующую выходку. Он стоял на карауле в Красносельском лагере и за обедом подпил вместе с арестованным на гауптвахте офицером Австрийского полка. Перед самой зарей с церемонией, когда все части войск лагеря

выстраивались на передних линейках, представилась глазам их следующая курьезная картина: арестованный прапорщик, в сильном кураже, в расстегнутом сюртуке и фуражке на затылке, удирал вдоль лагеря с гауптвахты, а за ним вслед караульный прапорщик Прусского полка, в мундире и шарфе, но без каски, догонял беглеца с громкими на весь лагерь криками: держи, держи его!

Оба, почти одновременно преданные суду, разжалованы были в рядовые в егерский князя Воронцова полк и были присланы сюда тянуть солдатскую лямку. Наша молодежь их обласкала и как товарищей приняла в свое общество. Но были между ними и глубоко несчастные. Такова, например, история Ясинского, которую он сам мне рассказывал.

— “Из Инженерного училища, — начал он, — выпущен я в офицеры путей сообщения в 1846 году. За год перед тем переведенный в Петербург из Бахтинского кадетского корпуса, [368] я за болезнью не был на майском параде и не ходил в Петергофский кадетский лагерь, а потому не имел случая видеть в лицо государя императора. Произведенный в прапорщики, я опять-таки захворал на столько, что не мог участвовать на общем представлении всех новопроизведенных его величеству, и только три недели спустя, доктор разрешил мне выйти на воздух. Как было достойнее отпраздновать офицерские эполеты? После долгих колебаний мы вместе с закадычным приятелем по корпусу и сверстником моим решили отправиться в тот же вечер в Большой театр, а оттуда поужинать к Борелю. Нетерпеливо ожидая семи часов вечера, мы заблаговременно зашагали пешим хождением с Литейной на Морскую, где по пути к театру хотели еще зайти к перчаточнику. Беспечно и весело болтая, шли мы по Невскому и Большой Морской. До магазина с яркой золотой рукой оставалось несколько шагов, когда мы столкнулись на тротуаре с высокою фигурой, идущей прямо к нам на встречу. Не смотря на густые сумерки, мы, сблизившись с нею нос с носом, заметили офицерскую шинель, которую и пропустили между собой, причем я, желая посторониться, по неловкости задел ее плечом. Высокий мужчина мгновенно и очень строгим голосом остановил меня вопросом: “Как вы смеете толкаться?” — “Извините”, — развязно ответил я, намереваясь продолжать путь свой, но военный господин снова повторил вопрос, причем, резким движением руки откинув с плеча шинель, выставил на вид свои генеральские эполеты. “Извините, ваше превосходительство”, — поспешил я повторить те же слова. — “Нет, — грозно возразил генерал, — таких вещей извинять нельзя! Как ваша фамилия?” — Я назвал себя. — “А! Вы поляк?” — с неимоверным раздражением в голосе спросил он. — “Так точно, поляк, ваше превосходительство”. — “Ну, так ступайте сейчас же под арест на главную гауптвахту!” — повелительно отрезал суровый генерал. Я смутился, тогда как товарищ мой, отойдя от нас всего шагов на пять, с первых же слов генерала догадываясь, что я попался и меня распекают, помирал со смеха, делая мне рукой за спиною налетевшей грозы самые комические знаки. Генерал же круто повернулся и быстро зашагал по Невскому проспекту, а мы оба, обсудив грустное обстоятельство, разошлись в разные стороны: товарищ, весело надо мною подтрунивая, к Поцелуеву мосту, а я, очень грустный, на Исаакиевскую площадь. “Вот, — думалось мне, — как осуществились мои планы и где теперь приходится мне обновлять эполеты!” Прихожу на Адмиралтейскую гауптвахту, как ближайшую от Морской, и являюсь караульному офицеру. — “Кто вас прислал сюда?” — переспрашивает он. — “Генерал, которые встретил меня сейчас на Морской”, — отвечаю ему. — “Да ведь он [369] отправил вас на главную гауптвахту, говорите вы, ну, так и ступайте в Зимний дворец, а здесь я вас не приму!” Вот, думаю, попадешь на гауптвахту, да еще, прежде чем вкусить это удовольствие, изволь-ка маяться да клянчить, чтобы тебя приняли. Пришел во дворец, застаю дежурного по караулам. — “Так и так, говорю, прислан генералом к вам на

гауптвахту". — "Послушайте, — вразумительно говорить мне дежурный, — не догадываетесь ли вы, кто именно из членов императорской фамилии арестовал вас?" — "Нет, — уже смущенно объясняю ему, — нет, решительно я недоумеваю! Но почему, г. полковник, вы полагаете, что меня арестовал не простой генерал?" — "По очень простой причине, что сюда никто, кроме царской фамилии, арестовать офицеров не имеет права", — обязательно объяснил он. Меня охватил страх и сомнение. В эту самую минуту другой дежурный, но не по внутренним караулам, а дежурный флигель-адъютант, показался в дверях комнаты с вопросом: "прибыль ли на гауптвахту офицер путей сообщений, только что арестованный государем императором?" Когда я услышал об этом, в жилах моих застыла кровь от ужаса. Никогда в жизни не видав его величества, теперь я понял, что я арестован им лично, — за что? За то, что нечаянно толкнул императора. Давно исчез флигель-адъютант, а я все еще, как громом пораженный, стоял среди любопытных офицеров, не будучи в силах отвечать им. Не успел я еще придти в себя, как тот же флигель-адъютант, запыхавшись, вбежал опять на гауптвахту и торопливо передал дежурному по караулам высочайшее приказание препроводить меня к его величеству. Оставив мою саблю, я побрел за флигель-адъютантом по коридорам, лестницам и залам дворца, с таким сильным биением сердца, что он, с участием взглядывая на меня, умышленно два раза останавливался на пути, чтобы дать мне время несколько оправиться и перевести дух. Наконец, флигель-адъютант, задержав меня у одной двери, вошел один и, тотчас же вернувшись, ввел меня за собою. Я внезапно очутился в кабинете его величества. Государь сидел у письменного стола, а в двух шагах, в стороне от него, стоял бич Божий, Аттила всего инженерного корпуса, неумолимо злобный, граф Клейнмихель.

— "Я не сумею, господа, передать вам степень раздражения государя при первых словах его. Сильно насупив брови, его величество жестким и проницательным взглядом пронзил меня всего. От страха я решительно не чувствовал под собою ног, голова кружилась, дрожь пробегала по всему телу. Прошло немало минут, пока я собрался с силами отвечать на вопросы, которыми засыпал меня негодующий государь. Тяжелое, невыносимое было положение во все время допроса. Я едва не лишился чувств. [370] Государь, внимательно выслушав и взвесив все ответы мои, стал расспрашивать меня не только о моем воспитании, о приезде в Петербург, о болезни, лишившей меня возможности когда либо увидать его, но даже пожелал знать о моих родителях, каких они лет, где живут, чем занимаются. Я тут, когда я дрожащим голосом передал ответы мои некрасно и несвязно, но поистине чистосердечно, гнев государя стал понемногу утихать. В голосе его величества послышались мягкие ноты, и вслед затем, еще раз пристально, но уже милостиво взглянув мне в глаза, государь, заметив выступившие у меня слезы, с отеческою снисходительностью спросил меня: "А если бы я вздумал сейчас поступить с тобою строго, по закону, подумал ли ты, как бы огорчил стариков своих?". Чаша переполнилась, нервы не выдержали, и я громко зарыдал. Николай Павлович, тронутый неподдельным моим отчаянием, ласково прикоснулся рукою до плеча моего и взволнованным голосом стал меня успокаивать, тут же обратись к графу Клейнмихелю с необычайно милостивыми словами. "Я его прощаю совершенно, я верю происшедшему недоразумению так же твердо, как и тому, что он, как честный верноподданный, будет впредь хорошим офицером своего отечества. Кто старое помянет, тому глаз вон! Клейнмихель, ты не помышляй с него взыскивать, так как я простил его! А ты теперь можешь идти домой, с Богом!". Счастливый настолько же, как был несчастлив полчаса назад, я выскочил из ворот Зимнего дворца, с полусаблей на боку и с отрадным чувством глубокого благоговения к великодушию монарха".

Ясинский и теперь, как шесть лет назад, тяжело дышал, глаза его сделались влажны, голос дрожал. Пока он переводил дух, я, пристально всматриваясь в его симпатичное, взволнованное лицо, терялся в догадках о последствиях, могших так сильно изменить его существование. Но Ясинский уже продолжал.

— “В избытке благополучия я, как опьянелый, шел по Невскому, не зная сам куда. Был уже десятый час вечера, пробираться в театр уже не стоило, и я направился домой, где под впечатлением всего происшедшего настрочил длинное и восторженное письмо старику-отцу. Запечатав письмо, я уже поздно ночью лег в постель, представляя, как теперь помню, удивление моего товарища, когда завтра расскажу ему, где и как я провел часть сегодняшнего вечера.

“Но мне пришлось жестоко ошибиться.

“Рано утром мой сладкий сон был внезапно нарушен стуком двери в мою комнату. Я открыл глаза и увидел перед собою свирепую фигуру жандарма, грубо предложившего мне поторопиться сборами в дорогу, но куда, он счел излишним объяснять, указав лишь на записку, внизу которой красовалась [371] знакомая подпись Клейнмихеля… Не дав мне времени уложиться, почти в одном сюртуке, жандарм усадил меня рядом с собою в тележку, и курьерская тройка понеслась по Московскому шоссе. Восемь дней и ночей без малейшего отдыха мчал меня жандарм, пока не передал кавказскому начальству при конверте из штаба путей сообщения. В нем, в этом конверте, оказалось строжайшее предписание, за собственноручной подписью Клейнмихеля, меня, прапорщика Ясинского, “за политическую неблагонадежность” припрятать на Кавказе и ни под каким видом и никогда отсюда не выпускать ни в отпуск, ни в отставку.

“В шесть лет насильственного моего пребывания здесь много воды утекло. Старик мой, больной и дряхлый, измученный напрасными мольбами Клейнмихелю о смягчении моей участи, вскоре умер, а на днях и мать прислала мне свое последнее благословение”.

Ясинский неудержимо зарыдал… Прошло минут пять, не более, и он стремительно вскочил на ноги, залпом осушил объемистую чепурку чихиря, встряхнул головою и с присвистом пустился откалывать камаринского!.. Мы с Тришатным переглянулись и тяжело вздохнули. Не прошло и получаса, как Ясинский представлял из себя мертвое тело. Уложив его на своей постели, мы пошли бродить по Червленским улицам, где в это время гостили у Розена.

На другой день злосчастный наш знакомец обедать к барону Розену не явился, но вечером, увидя в окно нашу пульку в преферанс, вбежал в комнату, провозгласив: “карты, карты — вот мое утешение в жизни!”. А затем, не стесняясь, смешал нашу игру и потребовал банка, банка и банка. Под конец Ясинский проиграл до 600 рублей. Хотя он горячился, но платил деньги весело и беззаботно. Утром, когда Вавила торопливо укладывал на повозку чемоданы наши, вошел ко мне барон Розен, бледный, расстроенный.

— Что с вами, Алексей Александрович? — встретил я его.

— Un grand malheur vient de nous arriver, — вполголоса смущенно проговорил он. — Ясинский вчера проиграл казенные деньги и два часа назад он застрелился.

Положительно везло мне в этот год на знакомство “с несчастненькими” (как называли их солдаты); еще переведены были к нам из гвардии Кутлер и Поливанов, а в Кабардинский —

Гербель. Кутлер красивый, высокого роста, с каштановыми волосами и лазурево-голубыми прекрасными глазами, отлично сложенный мужчина, из петербургского бомонда, попал к нам, только благодаря необузданной страсти к картам; в один вечер он спустил в макао настолько крупный куш (свыше 200 тысяч рублей), что ликвидировал все свое состоите для [372] расплаты долга, а сам бежал на Кавказ в скромный Куринский полк.

Другие же два пострадали из-за обычной тогда дуэли. Слухами земля полна. О ней толковали различно; что же касается отзывов об обеих действующих личностях, то Гербель был нрава вообще сварливого, а о Поливанове общее мнение, как об отличнейшем человеке. Эта ссора была уже не между юнцами, а старыми ротмистрами гвардии.

Много было в то время рассказов и анекдотов. Как-то собрались мы у Бреверна. После ужина далеко за полночь просидели мы, слушая любопытные рассказы хозяина о минувшей Венгерской кампании. Он был тогда адъютантом командира 5-го армейского корпуса, Лидерса. По взятии города Германштадта, Бреверн был послан с донесением о славной победе к государю императору, находившемуся в то время в Варшаве. Счастливый вестник скакал дни и ночи из Трансильвании до берегов Вислы и, страшно утомленный от бешеной езды в перекладной, остановился, наконец, у подъезда императорского дворца в Лазенках. Дежурный флигель-адъютант ввел приезжего курьера в аванзалу рядом с кабинетом государя и пошел о нем доложить его величеству. Через несколько минут сам император Николай Павлович приотворил дверь, чтобы позвать к себе курьера, но, увидев его, растянувшегося в креслах, тихонько подошел к нему. Бреверн, не будучи в силах бороться с изнеможением, заснул крепчайшим сном, конечно, не подозревая, что творилось наяву около самого его кресла. Его величество, знаком руки запретив окружающим беспокоить сон курьера, собственноручно и очень осторожно снял с него сумку с депешами и, заняв за столиком место против Бреверна, углубился в чтение донесений графа Лидерса. Тем временем курьер потянулся, открыл глаза и, увидев перед собою сидящего императора, до того смутился, что вместо того, чтобы встать, истерически зарыдал на всю залу. Государь милостиво обнял Бреверна и поздравил его своим флигель-адъютантом.

В. Полторацкий.

(Продолжение в следующей книжке)

Текст воспроизведен по изданию: Воспоминания В. А. Полторацкого // Исторический вестник, № 5. 1893

ПОЛТОРАЦКИЙ В. А.

ВОСПОМИНАНИЯ

(Продолжение. См. “Исторический Вестник”. т. LII, стр. 355.)

XIII.

Переход отряда в Куринское укрепление. — Начало экспедиции 1853 года. — Лагерь на Хоби-Шавданских высотах. — Движение с Баклановыми. — Герой дня барон Николаи, — Оказия в

Грозную и приключение по дороге. — Барон Врангель. — Фатальное купанье на Гойте. — Отъезд курьером в Тифлис. — Поездка в Каджиоры. — Князь Барятинский. — Представление главнокомандующему. — Отдых в Тифлисе и возвращение в Воздвиженское. — Объявление войны Турции.

Января 15-го 1853 г. назначено было выступление из Воздвиженского, а через неделю из Грозной, нашего отряда. Переход от Грозной до укрепления Куринского, где мы должны были соединиться с кабардинцами и вместе войти в состав чеченского отряда, был крайне для нас неблагоприятен. Отряд, с обозом на колесах, с первого же шага попал под сильный снег с морозом и страшною метелью. Среди белого дня, во все время первого перехода, зги Божьей не было видно. Порывистый северный ветер надувал громадные сугробы, по которым бедные солдаты вязли по самое брюхо. Колонна двигалась с быстротою черепахи, так как колеса по ступицу тонули в снегу, лошади выбились из сил, и обоз останавливался ежеминутно. Шум, крик и ругань фурштатов сливались с отчаянным стоном прозябших и совершенно [668] изнемогавших рабочих, отряженных от рот в ведение геваль-дигеров, чтобы на себе вытаскивать грузные фуры и повозки. И так мучился весь отряд с 7 часов утра почти до сумерек, когда волей-неволей пришлось остановиться на ночлег в степи без воды, а что ужаснее всего — без топлива. В течение нескольких часов беспрерывно падавший снег был настолько глубок в поле, что для постановки каждой палатки потребовалось до тридцати людей, которые лопатами разгребали кучи снега до твердого грунта. Когда, после продолжительных усилий, удавалось окоченевшим солдатикам, наконец, натянуть палатку, то верх ее уже сравнивался с массами окружающего снега, и она, спрятанная в яму, принимала вид ледяного дома. Удобно было ночью спускаться в эту преисподнюю. Но смели ли мы роптать, когда рядом с нами столько людей не имели никакого убежища и под открытым небом, при разбушевавшейся буре, провели всю ночь напролет, заваленные снегом, без пищи и огня? Бесконечная ночь эта оставила пагубные следы в отряде. На другое утро жалкую картину представляли отважные бойцы зимней экспедиции. Озноблённые руки и ноги, распухшие лица и воспаленные глаза ясно говорили о перенесенных истязаниях. Судьба, однако, сжалилась над горемычными и к рассвету угомонила расходившиеся стихии. Стихло, отеплило, и снег повалил хлопьями, без вихря. Прозябший до костей и голодный отряд наш потащился вперед, но не далеко, верстах в трех не более, у лесистого берега Сунжи, был сделан привал, чтобы варить горячую пищу. Запылали костры, закипела в котлах каша, выпили по чарке водки, и ожили солдаты. Где-то по близости раздался звонкий голос запевалы: “Не белы снеги”, и через несколько времени во всех углах широко занятого бивуака полились молодецкие песни. Герои кавказские, каждые кто вас видел и имел возможность оценить, преклонится перед вами! Еще одну ночь проведя в степи под открытым небом, на третий день роты бодро и весело вступили в Куринское, где ожидал их не рай, конечно, а только не подмоченные сухари и запасенные дрова. Здесь же ждали нас кабардинцы и драгуны. Когда мы с шумом и треском парадно входили в убогое укрепление, узкие улицы его были наводнены встречающими солдатами обоих полков этих. Не успели мы остановиться, как людей наших нарасхват потащили кабардинцы и драгуны; обнимаясь истинно по-братски, они бросились угощать утомленных кунаков своих, являя и тут поразительный пример тесной дружбы, составляющей непреклонную, непобедимую силу нашей кавказской армии. В начале февраля мы опять очутились в палатках, откуда был обширный и прелестный кругозор. Недалеко у ног наших обрисовывались крутые берега [669] извилистой реки Мечика, за ней опять обширная поляна, а вдали, как рама, темнел сплошной черный лес на необозримые

пространства. Наш лагерь занял Хоби-Шавданские высоты. Подъем на них не обошелся без усиленных хлопот; местами на крутизны, по гололедице, с трудом карабкались лошади артиллерии, а в особенности отрядного обоза, но, раз взобравшись сюда, раздаваться с настоящей позицией никому не хотелось. Простым глазом, без подзорной трубы, видны все окрестности кругом на десятки верст, а следовательно от внезапных нападений чеченцев мы были совершенно обеспечены; даже ночные караулы в цепи здесь относительно были ничтожны. Равным образом, пока стоял отряд здесь, на высотах, то и ночных сюрпризов по лагерю ожидать было нельзя. Неприятель в виду у нас, но вне артиллерийских выстрелов из лагеря; как муравьи, работали чеченцы целые дни над укреплением противоположного берега. Завалы там, по всей ломаной линии реки, росли не по дням, а по часам. Работа у них кипела и, видно, спасала байгушей от мороза, который изрядно пощипывал. При усиленной деятельности со стороны неприятеля крайнее затишье в нашем лагере было явлением ненормальным. Все мы ожидали бури, и она разразилась, но как! Предание свежо, а верится с трудом.

16-го февраля, вечером, в ту минуту, когда били вечернюю зорю, все три батальона куринцев, 12 конных орудий и вся наличная кавалерия, под начальством Бакланова, тихо и скрытно двинулись с Хоби-Шавданских высот по северному спуску в лесистую лощину, тянувшуюся в стороне Кумыкской площади. Безостановочно шла колонна, пробивая себе дорогу в глубоком снегу, по дебрям и трущобам, задаваясь постоянно левым плечом вперед. Очевидно, мы совершали дальнее, очень утомительное и, судя по местности, далеко не безопасное обходное движение. Около полуночи дань был часовой привал. Ночь была звездная, но безлунная, тихая и очень морозная. Не смотря на это, остановившиеся для передышки люди, все, как по команде, сняли папахи и стали обтирать пот, обильно выступивший на лбах их: “рубашку хоть выжми”, поясняли солдаты, отдуваясь точь-в-точь, как русские мужички, слезая с верхней полки жаркой бани. Но вот в авангарде зашевелилась кавалерия, а за нею тронулась уже остывшая на морозе пехота. Долго и еще по худшей лесной чаще, без малейшего признака дороги, шаг за шагом тянулась колонна. На этом переходе много хлопот и усилий потребовала конная артиллерия. В трех переездах через крутые балки орудия так глубоко проваливались в сугробах, что буквально исчезали с лафетами под снегом. Обессиленные лошади решительно отказывались тронуть с места; пришлось их отпрягать и целыми ротами вытаскивать на лямках окунувшиеся орудия. Стало [670] рассветать, когда мы, отмерив за всю ночь, по крайней мере, до 30 верст, еще не были открыты неприятелем. Почти все время пути нашего зарево от пылающих костров лагеря на высотах светило нам с правой стороны, а перед утром мы уже видели его далеко против себя, что явно доказало, что колонной сделано обширное полукруговое движение. Теперь, по мере приближения дня и крепкой позиции неприятеля, ежеминутно надо было ожидать встречи с его пикетами, что и не замедлило осуществиться. Раздался сухой винтовочный выстрел, за ним другой, третий. “Рысью, марш”, послышался громовой голос богатыря-Баклана, и вся кавалерия, а за нею и пехота, ринулись из всех сил вперед. Солдаты наши сразу встрепенулись и по глубокому снегу побежали, шумно, с громким говором. Казалось, они были в восторге от окончания обязательной тишины и молчания, к которым присуждены они были в течение двенадцатичасового хода. Но вскоре веселые возгласы бегущей массы людей снова приутихли, и болтовня сменилась строгой сосредоточенностью. Впереди и с обоих боков раздались не одиночные выстрелы, а добрые залпы. Загорелся в лесу бой горячий. Не прошло и десяти минут, как сквозь оглушительные выстрелы двух батарей наших ясно слышались то здесь, то там пронзительные гики чеченцев.

Начались рукопашные схватки, грозная штыковая работа куринцев и спешенных драгун. Полились смешанные крики: алла! ура! и потоки русской и татарской крови. Штыками раскидывая громадные завалы, мы очищали путь для провоза орудий и медленно подвигались вперед, повсюду встречая отчаянный отпор уже скопившегося неприятеля. Но вот просвечивает чистая поляна, еще несколько десятков шагов, и, миновав опушку леса, мы уже на открытой плоскости в тылу неприятельских окопов, на Мечике. Восходящее солнце отчетливо и очень красиво яркими лучами окрасило нам великолепнейшую панораму. Впереди нас, версты за полторы, высились Хоби-Шавданские высоты, с живописно-раскинутым на них лагерем, а внизу, на половине расстояния от нас до отряда, на белом фоне выделялись черные фигуры неприятеля, пораженного неожиданным появлением у себя в тылу наступающей колонны. Но здесь мы удивлены были, не менее чеченцев, услышав громкую команду “стой!”. Вместо того, чтобы массой кавалерии, поддержанной нашими батальонами, не теряя минуты, атаковать врага, нас вдруг останавливают на орудийный выстрел от его окопов и дают ему время и возможность, безнаказанно бросив позицию, бежать направо и налево в лес.

Что это значит? Куда запрятал Баклан свою отвагу? “Измена”, — послышалось в рядах, ропот негодования стал общим. Но что мы видим? В лагере у нас тревога. Бегут войска — [671] строятся, слышен колонный марш, громкое “ура”, и… запоздалый штурм очищенных окопов. Все объяснилось, но после, в лагере.

В 1853 году очередь “посвящения в герои” стояла за командиром Кабардинского полка, бароном Николаи. Мечик с сильно укрепленными берегами представлял самую удобную арену для предрешенного начальством подвига, но слишком деятельная работа при сооружении укреплений чеченцами, в чем лично убедился при последней рекогносцировке сам начальник отдела, делала успех штурма сомнительным. Крутые берега реки, с отвесным подъемом и непрерывною стеною завалов, при атаке прямо в лоб, обошлись бы слишком дорого, а, быть может, и совсем бы не дались в руки. В силу этих соображений начальник отряда (князь Барятинский) и предложил “деду” (Бакланову) идти в обходное движение (которое и исполнено им с нашими батальонами) с тем, чтобы утром 17-го явиться в тылу укреплений неприятеля в тот самый момент, когда в лагере подготовленные к штурму кабардинцы с фронта тронутся на подвиг. Задачу свою Баклан совершил с блистательным успехом, но, вероятно, не сверив часов своих с часами “земного солнца” (по выражению Ильченка), вывел нас из дремучего леса на поляну прежде, чем кабардинцы успели начать свое победное шествие. Чеченцы, не посвященные в тайну комбинаций нашего начальства, сочли чересчур невыгодным попасть между двух огней, а потому, в первую минуту изумления, увидя себя обойденными, они со всех ног бросились наутек, совершенно очистив завалы. Но тут, в силу “mieux vaut tard que jamais”, по тревоге выстроились кабардинцы и с командиром впереди отважно ринулись на штурм. В несколько минут этого великолепного зрелища выпущены были сотни выстрелов картечью, десятки тысяч патронов и бесчисленное количество возгласов ура. Гуль, дым, треск — все явилось на сцену, не доставало одного — неприятеля. Кабардинцы заняли пустые завалы и нос к носу столкнулись с куринцами Баклановской колонны. Казалось бы, разочарование? Нисколько. Не мудрствуя лукаво, в донесении о штурме сказано только о мужестве, отваге и неустрашимости героя дня, барона Николаи. Но и тут “pour sauver les apparences”, благо кабардинцы перешли Мечик, их направили в тот же день брать аулы Гурдалой и Аса-Юрт, где им удалось потерять несколько убитых и раненых, что было необходимо, так как штурм окопов обошелся им без единой царапины.

Затем началась однообразная жизнь в лагере, нарушаемая ежедневными движениями через день взад и вперед и рубкой леса. Все это надоело до тошноты, и мы только и мечтали о роспуск отряда после нескончаемой экспедиции этого года. По [672] глубокой грязи и зарядившему дождю доплыли мы, наконец, обратно в Воздвиженское, где я нашел письмо от матери, очень грустное, так как младшего брата моего, Митю, исключили за шалость из Нажеского корпуса, а учился он хорошо и уже перешел во 2-й класс, как стряслась над ним эта беда по собственной, впрочем, вине. По поводу его наружности и курчавой головы мать писала, что Митя привлек внимание государя Николая Павловича в последнее посещение им Пажеского корпуса. На вопрос императора, как его фамилия и родственник ли он кавказскому Полторацкому, его величество громко, обращаясь ко всем пажам, выразился обо мне в самых лестных выражениях, поставив в пример отлично боевую службу и храбрость мою на Кавказе. Известие это очень отрадно на меня подействовало среди нашей скуки и однообразия.

Кружок наш по-прежнему был дружным и тесным, увеличенный еще новой личностью Иваном Петровичем Борисовым, человеком хорошим, честным и очень сердечным. Знакомства и все связи его были в Орловской губернии, где он с Сухотиным, Шеншиными и другими увлекался псовой охотой, оставившей в нем самые живые и приятные воспоминания. Раньше он кратковременно носил кирасирский мундир Орденского полка; представляю себе маленького, очень пропорционально-миниатюрного Бориньку в кирасирском мундире! Любовь сильная, страстная, но несчастная, увлекла его на гибельный Кавказ. В первое время он без надобности лез на опасность и как будто бы искал смерти, но время взяло свое. Теперь он не пьет, не играет, но с пылким увлечением говорит о своей любимой страсти — охоте.

Однако, для соблюдения хронологического порядка во всех важных явлениях на левом фланге, не лишним будет упомянуть, что нежданно, негаданно (но, впрочем, для нас в Воздвиженском, а не для высших сфер) произошла перемена в начальстве нашем, а именно: князь Барятинский назначен, вместо генерала Коцебу, начальником штаба, а генерал-лейтенант барон Врангель из Дагестана — к нам начальником левого фланга кавказской линии. Об этих крупных новостях услышал я только 12-го июня утром, а следующий день, с 5-й и 6-й ротой Куринского и одной ротой линейного батальона, при двух орудиях, отправился в сквозную оказию до Грозной. Держался я правой цепи. У Ермоловского кургана по обыкновенно быль сделан привал, а когда через полчаса я тронул колонну, то сам с Вавилой и двумя казаками опять вернулся к правой цепи. Отошли с версту. Из-под казака вскочил русак и потянул по направлению к Грозной. Вавила с неистовым азартом [673] бросился за ним и, во все горло атукая, старался указать его собакам, которые метались из одной стороны в другую и, высоко подпрыгивая над бурьяном, не могли всмотреться в косого. Не увлекаясь скачкой Вавилы и казаков, я подавался вперед рысью, но, поравнявшись с серединой вытянутой по дороге колонны, я вдруг увидел недалеко от авангарда влево на верхней плоскости между Хан-Кале и Грозненскою башней конную партию в 20 — 25 человек чеченцев, стремительно несущихся с уступа на перерез пути колонны. Тут ясно представилась уму моему другая травля, в которой, конечно, роль зайца играл кто-нибудь из наших джигитов, уехавших вперед от колонны. Стремглав бросился я к авангарду и на скаку слышал залп ружейных выстрелов, но, еще не достигнув 5-й роты, за сотню шагов, увидел уже снятое с передков орудие и поднятый над ним пальник. “Отставь, отставь, там наши!” — кричал я, что есть мочи, и к счастью успел остановить выстрел, уже направленный на горсть толпившихся на дороге всадников, между которыми, очевидно, попались и наши. Не успел 3-й взвод по приказанию моему броситься вперед и пробежать несколько шагов, как чеченцы пошли наутек степью к

Аргуну и тогда по ним вдогонку были пущены две гранаты. В ту же минуту от места схватки прискакал в колонну растерянный, бледный, как смерть, барон Розен, и почти вслед за ним прибежала без седла гнедая лошадь, по форменному седлу которой артиллеристы признали ее лошадью их взводного офицера. В это время из-за мелких по дороге кустов показался идущий пешком и сам артиллерийский прапорщик, Щербачев. Молодой и краснощекий 19-ти-летний юноша, Щербачев, за несколько перед тем месяцев оставивший скамью артиллерийского училища, удивлявший всех здоровьем и необыкновенным телосложением и силой, и в эту минуту поразил нас. Он шел медленными, но твердыми шагами, не хромая, не охая и только, когда спокойно подошел к нам, мы увидели, как он дорого поплатился чеченцам. Кровь буквально ключом била из ран его в грудь и обе ноги пулями, в живот ружейной картечью и по шее шашечным ударом. В колонне не было ни доктора, ни фельдшера, пришлось работать ротным цирюльникам, и Рыбоконь довольно быстро и ловко принялся за перевязку раненого. Между тем, Розен, несколько оправившийся от первого испуга, сумел объяснить, что они впятером поехали от оказии вперед, и что в минуту нападения горцев граф Лев Толстой, Павел Полторацкий и татарин Сада, вероятно, ускакали в Грозную, тогда как Щербачев и он повернули лошадей на встречу идущей колонне. — “Ваше благородие, — прервал артиллерийский солдат, лежавший на высоком возу сена, — там на дороге еще кто-то лежит, и сдается мне, что он шевелится!”. [674]

Я крикнул 3-му взводу: “вперед, бегом”, и сам бросился по дороге, а за мною поскакал Вавила. В пятистах шагах от авангардного орудия лежал убитый знакомый нам вороной конь, а из-под него торчало изуродованное тело Павла. Громко стонал он и отчаянным голосом просил освободить его от невыносимой тяжести трупа. Соскочив с лошади и бросив поводья Вавиле, я с необычайною силой, одним удачным взмахом опрокинул труп безжизненной лошади и освободил страдальца, исходящего кровью. Все раны были нанесены ему холодным оружием, тремя ударами по голове и четырьмя по плечу. Последние были так жестоко сильны, что буквально разворотили на двое правое плечо, раскрыв всю внутренность… Я послал Вавилу с приказанием всей колонне подвинуться сюда, и здесь уже начались перевязки и приготовление носилок. Эскулапы наши, то есть цирюльники, работали усердно; добыв от кого-то чистое белье, они его рвали на бинты и затягивали раны. С Щербачевым они справились отлично, но кровотечения Павла, при громаднейшем размере его раны, остановить никак не могли и требовали для этой цели спирта. Я вспомнил, что присутствовавший здесь майор Карпов на привале у Ермоловского кургана потчевал меня только что вывезенною им из матушки России березовой настойкой, но она оказалась для питья невозможной, так как, настоянная российским спиртом, обжигала рот и губы. Убийственная влага эта была налита в фунтовую от одеколона склянку, я схватил ее из рук Карпова и, не долго думая, опрокинул ее всю в рану Павла. Он неистово вскрикнул и от нестерпимого обжога лишился чувств! Слишком решительная и необдуманная мною мера в ту минуту меня испугала, но впоследствии оказалось, что она принесла несомненную пользу, с чем согласились и доктора госпиталя.

Все описанное произошло в течение нескольких минут, давших, однако, возможность нам оказать первую помощь раненым, а Грозненской кавалерии выскочить по тревоге из Грозной. Бакланов, рассмотрев с кургана спокойное положение колонны и уже скрывающихся на горизонте чеченцев, счел излишним за ними гнаться и вернул войска в крепость, но от них отделилось несколько всадников, которые понеслись к нам в колонну, стоявшую от Грозной не

более четырех верст. Прискакавшие к нам были Нистолькорс и несколько кунаков его, мирных чеченцев грозненских аулов.

Общими силами, соорудив для раненых из солдатских шинелей носилки, мы уложили обоих и тронулись вперед. Пистолькорс гарцевал от одного к другому и, вполне удовлетворив собственное любопытство, в свою очередь сообщил нам, что гр. Лев Толстой с татарином Садой, хотя и были очень ретиво [675] преследуемы семью чеченцами, но, благодаря быстроте коней своих, оставив им в трофей одну седельную подушку, сами целы и невредимы достигли ворот крепости. Все пятеро хотели поскорей приехать в Грозную и отделились еще у Ермоловского кургана. Маневр этот, увы, слишком известен на Кавказе! Кто из нас, обреченный на лихом коне двигаться шаг за шагом, в оказии с пехотной частью, не уезжал вперед? Это такой соблазн, что молодой и старый, вопреки строгому запрещение и преследованию начальством, частенько ему поддавался. И наши пять молодцов поступили также. Отъехав от колонны на сотню шагов, они условились между собою, чтобы двое из них для освещения местности ехали бы по верхнему уступу, а остальные нижнею дорогой. Только что поднялись Толстой и Сада на гребень, как увидали от Хан-Кальского леса несущуюся прямо на них толпу конных чеченцев. Не успев, по расчету времени, безнаказанно спуститься обратно, гр. Толстой сверху закричал товарищам о появлении неприятеля, а сам с Садою бросился в карьер, по гребню уступа, к крепости. Остальные внизу, не сразу поверив известию и, конечно, не имея возможности сами увидеть горцев, несколько минут провели в бездействии, а когда уже чеченцы (из которых человек семь отделилось в погоню за Толстым и Садою) показались на уступе и ринулись вниз, то Розен, повернув лошадь, помчался назад к колонне и счастливо достиг ее. За ним бросился и Щербачев, но казенная лошадь его скакала плохо, и чеченцы, нагнав его, ранили и выбили из седла, после чего он пешком добрался до колонны. Хуже же всех оказалось положение Павла. Увидев чеченцев, он инстинктивно бросился вперед по направленно к Грозной, но, тотчас же сообразив, что молодая, изнеженная и чересчур раскормленная лошадь не выскочит в жаркий день до пяти верст, отделяющих его от крепости, — он круто повернул ее назад в ту самую минуту, когда толпа неприятеля уже спустилась с уступа на дорогу, и, выхватив шашку наголо, очертя голову (как выразился сам), хотел напролом прорваться в колонну. Но один из горцев верно направил винтовку, и выждав приближение Павла, почти в упор всадил пулю в лоб его вороному; он со всех ног повалился и прикрыл его собою. Чеченец с коня нагнулся к Павлу и, выхватив у него из рук, в серебро оправленную шашку, стал тащить с него ножны, но при виде бежавшего на выручку 3-го взвода он полоснул лежащего по голове шашкой и поскакал сам наутек. Его примеру, один за другим, последовали еще шесть горцев, нанесшие на всем скаку жестокие удары шашками по голове и открытому плечу Павла, который [676] в недвижимом положении, под тяжестью трупа убитой лошади, истекал кровью до самой минуты моего появления...

Теперь рождался вопрос, как уехавших вперед, следовательно виновных, но уже так жестоко пострадавших, оправдать перед начальством. Еще недавно состоялся строжайший приказ по кавказскому корпусу о вменении в непременную обязанность колонных начальников открывать огонь по отъезжающим самовольно из оказии вперед и таковых затем предавать военному суду. Вновь назначенный преемником князя Барятинского начальник дивизии и левого фланга, барон Врангель, только что вступил в должность, и хотя о нем гремела слава, как о рыцаре “без страха и упрека”, но он сам еще никого из нас не знал, и мы его не видели.

Чистосердечно доложить о проступке пострадавших значило бы наверняка подвергнуть их строгой каре, и вот мы общим советом решили доложить, что в виду крепости напали на мирных чеченцев, ехавших при колонне, более 30 человек немирных, и потому Полторацкий и Щербачев, находившиеся в голове колонны, бросились со стрелками выручать их и поплатились собственною кровью.

У подъезда дома начальника левого фланга, отдав лошадь казаку, я вошел в переднюю и, переступив порог в приемную, приостановился. Мне мелькнула мысль, что не лучше ли, вопреки условленной лжи, с глазу на глаз, объяснить все обстоятельства несчастна го происшествия. Но случайное обстоятельство изменило доброе решение мое. Барон Врангель был не один и, нетерпеливо желая знать причину произведенной в крепости тревоги, он вышел в приемную в сопровождении шести-семи штабных. На вопрос его о слышанных в колонне моей орудийных выстрелах я не совсем твердым голосом отчеканил ему заученную басню, и барон, по-видимому, не обнаружив к ней недоверия, поспешил отдать мне приказание представить сегодня формальное донесение и, с участием расспросив о состоянии раненых, послал меня в госпиталь. Устроив там раненых, я заехал к Н. Н. Чихачеву. Рассказав ему все подробно, мы порешили с ним, для составления донесения, обратиться к помощи общего приятеля нашего, М. Я. Ольшевского, но в эту минуту он сам явился к нам и обязательно вызвался помочь. Через час оно было готово, и хозяин предложил нам сесть обедать, после чего я, утомленный всем происшедшим, повалился на постель хозяина и заснул богатырским сном.

Смеркалось, когда меня разбудили. С вытянутыми лицами стояли около меня Чихачев и гр. Ржевуский; последний принес известие, что барон Врангель, узнав истину утреннего происшествия, назначил майора Барабаша произвести на месте [677] строжайшее дознание для предания меня за ложное донесение суду. Случилось это так: во время моего словесного доклада барону, в числе прочих присутствующих, был пристав Грозненских аулов, майор Белик. Не будучи никогда со мной в нежных отношениях, он сомнительно отнесся к истории стычки между мирными и немирными, а потому поспешил навести справки в своих аулах и затем, явившись к обеду барона Врангеля, прямо заявил, что дело было вовсе не так, и мирных чеченцев в колонне не было вовсе. Барон сейчас же пешком отправился в госпиталь, где в первой палате лежал уже в агонии Щербачев.

Идет в другую и застает Павла в полном сознании; ему зашили раны, залепили плечо и голову пластырями, и он, несколько успокоенный от физических страданий, забыв причины, побудившие меня к обману, малодушно поддался откровению на ласковое участие Врангеля и, не долго думая, выдал все своим чистосердечным признанием. Выходя от него, генерал подошел в коридоре к вестовым от 5-й роты.

— Ребята, — сказал он, — господа офицеры во всем сознались, скажите и вы, как было дело.

И солдаты в один голос отчеканили:

— Точно так, ваше превосходительство, господа уехали вперед.

Все сомнения уже исчезли, я обманул барона Врангеля, а он, олицетворение правды и чести, этого потерпеть не мог. Донельзя раздраженный моим поступком относительно долга службы, а, быть может, еще более оскорбленный моим недоверием в возможность великодушного воззрения его на участь пострадавших, он сейчас же нарядил следствие. Как быть? Чихачев с

Ржевуским бросились к Ольшевскому и вместе с ним к барону Врангелю. Долго и настойчиво они упрашивали его о смягчении моей кары, барон не соглашался; но, наконец, уступая их отзывам о моей боевой службе и репутации в Куринском полку, а также о мнении обо мне самого главнокомандующего, Врангель согласился потребовать меня к себе для объяснения. Я бросился к нему со всех ног. Врангель был один. На столе стоял скромный холодный ужин, до которого он еще не прикасался, и быстрыми шагами ходил по комнате.

— Зачем вы меня сегодня обманули? — строгим голосом спросил он.

— Ваше превосходительство! Скрыть от вас истину я позволил себе только для спасения виновных. Сам я, как и всякий другой колонный начальник, не имел возможности удержать офицеров, раз что им разрешено ездить верхом. [678]

Вы должны были в силу приказа стрелять по ним картечью, а отнюдь не поощрять их преступлений, подвергая самого себя ответственности по закону за ложное донесение, — возразил генерал.

— Я знаю всю строгость этого закона, и если решился на ложное донесение вашему превосходительству, то только потому, что не мог, при посторонних свидетелях, обвинить офицеров, уже и без того жестоко наказанных.

— Предоставьте старшим карать и миловать, — резко заметил Врангель, но тут же, смягчая голос, продолжал: — расскажите мне теперь все подробно, не скрывая ничего.

Я начал рассказ и видел, что добрейший Александр Евстафьевич все благосклоннее и благосклоннее вслушивается; когда же я назвал в числе прочих барона Розена, не мог не заметить, что дело совсем повернуло в мою пользу. Барон Врангель, как земляк Розена, принимал горячее участие в несчастном его положении, а потому он окончательно смягчился и приказал мне сейчас же написать другое донесение, конечно, совершенно правдивое и за тем же номером, что и первое, и отвезти его для обмена майору Барабашу.

В эту ночь Павел проспал со спокойной совестью, а бедный Щербачев, в страшных мучениях и не приходя в себя, скончался до рассвета.

По возвращении в Воздвиженское, меня ждали еще мелкие неприятности, но все это пустяки в сравнении с происшествием 3-го июля, которое я вечно буду помнить.

Надобно сказать, что я совершенно изнемогал от удушливой жары. Приказав поднять полы палатки и сложить с кровати матрас на землю, я переселился туда и, все-таки, не находил спасения от 37 градусов температуры. В воздухе не чувствовалось ни малейшего движения, а солнце палило немилосердно. Раскиснув, как мокрая губка, я не сознавал за собою способности ни читать, ни думать. Вошел Николев.

— Ну, что вам жарко? Так пойдемте купаться, сразу освежитесь.

— Хорошо бы так, да где?

— А вы разве не знаете? Вчера я, Самойлов, Мацкевич и Муханов отличнейшим образом выкупались в Гойте, — отвечала эта бесшабашная, беспечнейшая головушка. — Место глубокое и грунт чудесный!

— А не опасно ли туда соваться, ведь река далеко?

— Какая опасность! вчера мы без всякого прикрытия среди бела дня ходили туда и с наслаждением более часа плескались в воде.

Так как предстояло идти вдоль всего лагеря и еще дальше [679] с версту, то я потребовал неоседланных лошадей, на недоуздках (чтобы их тоже выкупать), а денщику Сидору и вестовому Пароенову приказал взять на всякий случай ружья и идти за нами. Через минуту я вскочил на “Поросенка”, а Вавила на “Милку”. Собаки с радостным визгом завертелись около нас, предполагая отъезд на охоту. Николев схватил у Вавилы арапник и стал им хлопать. Шустрые кони всполошились и ринулись вскачь. Не имея сил одним поводом удержать не взнузданного “Поросенка”, я дал ему волю, и мы вихрем пронеслись вдоль лагеря. Выскочив в степь и подскакав к самой реке, мы, чтобы с размаху не ухнуть в воду, шенкелями свернули лошадей по берегу. Здесь, находя дальнейшую скачку бесполезной, я спрыгнул с лошади, думая удержать ее за повод, но ошибся в расчете. “Поросенок” проволок меня еще по земле, вырвался и, подняв хвост, умчался за Вавилой, который, сделав вольт, скакал уже обратно к лагерю. Утомленный жарой и притом усиленною скачкой, внезапно очутившись в одиночестве и без оружия, в версте от лагеря, я несколько минут недвижимо пролежал на берегу, в густой траве, когда вдруг послышался мне шорох, и, подняв голову, я с ужасом увидел с той стороны речонки, из опушки леса, бегущих прямо ко мне человек 15 пеших чеченцев. Быстро вскочил я на ноги. В одно мгновение сообразил я всю степень отчаянного моего положения. До лагеря было около версты, все там спало и не помышляло об опасности, в которую я брошен непредвиденною случайностью. Никто не мог и увидать грозящей мне драмы, так как я соскочил с лошади за поворотом дороги к реке, а по прямому пути предстоящего мне для спасения бегства стоял высокой стеною бурьян. Изо всех сил закричав: “партия! партия!”, — я бросился бежать от берега в ту секунду, когда двое передовых чеченцев уже соскочили в мелкий ручей. Нас разделяло не более 20 шагов... Пробежав несколько по бурьяну, я из любопытства взглянул назад. Чеченцы, вытянувшись гуськом, с ружьями в чехлах, нагоняли меня. Мне очевидно стало, что они рассчитывали захватить меня живьем. В этот момент, плохо разбирая под ногами, я упал, но живо вскочил и пустился бежать снова. Раздалось несколько выстрелов; одна пуля зацепила верх фуражки, а другая пробила полу кителя, но ни одна, слава Богу, не задела меня. Шум шагов сзади видимо приближался. Я не вытерпел опять оглянуться и, отчетливо рассмотрев двух разбойников не более, как в десяти шагах, снова запутался ногами в бурьяне и упал вторично. Вскочив и на этот раз, я бросился вперед, но, задыхаясь от жары, от бега и страха, в ту минуту, когда заметил просвет сквозь густой бурьян, [680] отделявший меня от открытой к лагерю местности, я почувствовал слишком близкий за мною шорох, невольно обернулся и увидел в двух шагах запыхавшегося горца, с обнаженною шашкой в руках. Он напрягал все усилия меня нагнать и, как дикий зверь, прыгал за мною. Сколько бы лет ни суждено мне прожить на земле, никогда, до последнего вздоха, не забуду я выражения лица и всей фигуры этого чеченца. Образ его глубоко врезался мне в память, и хотя я видел его одну секунду, но успел изучить в мельчайших подробностях... С великим трудом, переводя дух, я со сверхъестественным усилием ринулся еще вперед, но нога скользнула, и я грохнулся в скрытую под бурьяном яму. В тот же момент и вслед за мною, с поднятою шашкой, растянулся рядом зверь-чеченец.

В этот кратчайший промежуток времени я на себе испытал непостижимое явление. Уверенный в неизбежной гибели, я в эту одну секунду успел сосредоточить все прошлое и настоящее. Мне казалось даже, что мне удалось совершить последние обряды христианина:

покаяться в грехах, проститься с родными. В одно мгновение я точно пережил все ощущения моей жизни.

С помощью Божьей мне удалось, однако, выскочить из ямы прежде смертельного врага моего, ошеломленного внезапным падением до такой степени, что он беспрепятственно допустил меня одолеть еще несколько шагов, по направлению к чистой и спасительной поляне. Когда опомнился чеченец и сделал несколько отчаянных прыжков за мною, то на самой опушке бурьянов концом шашки сбил с меня фуражку и на спине пропорол китель… но вдруг остановился, осекся и, как дикая кошка, осел на задних лапах. В пяти шагах от нас, со вскинутым на прицел ружьем, стоял денщик мой Сидор. Он только что прибежал к роковому месту и когда сквозь редеющий бурьян заметил наше общее падение в яму, то полагая, что я уже погиб под ударами чеченца, он приложился и спустил курок, но, к счастью, ружье осеклось. Чеченец при неожиданной встрече дула, в упор на него направленного, понял, что роли изменились, и совершенно растерялся перед солдатом, громко крикнувшем “ура”… В бессознательном и крайне расслабленном состоянии, нетвердыми шагами прошел я мимо моего спасителя, не переставшего целиться в чеченца, и, бессмысленно взглянув на бежавших на встречу солдат, растерянно поплелся к лагерю. Меня не задела ни одна пуля, не достала и шашка, но нравственное потрясение было настолько сильно, что опасались горячки.

В лагере били тревогу, несколько казаков уже скакали в [681] рассыпную. Через несколько минут пронесли тяжелораненого урядника, затем провели двух раненых лошадей.

5-го числа, я явился к барону Врангелю проситься в 14-ти-дневный отпуск в Тифлис. Он разрешил, но, желая дать какие-то частные поручения, задержал меня у себя. Между тем пришел к нему Ждан-Пушкин, капитан генерального штаба, вновь назначенный на место Ольшевского, и с ним молодой донской казак хорунжий, которого и представил барону, как назначенного ехать в Тифлис курьером. Пока генерал говорил с казачьим офицером, Ждан-Пушкин в полголоса спросил меня, по какому случаю я представляюсь начальству, и, выслушав ответ мой, предложил мне исполнить поручение, назначенное казаку, т. е. скакать курьером в Тифлис сейчас же. Я согласился, и барон Врангель, отпустив казака, дал мне свои поручения к М. П. Кулебякину, приказав за получением экстренных на имя главнокомандующего бумаг зайти к Ждан-Пушкину; при этом барон убедительно просил, не жалея себя, скакать, что есть силы, и непременно завтра же доставить бумаги по назначению.

В первом часу я вышел от Врангеля, а в два на белом красавце своем Лабазане выехал в Сунженския ворота, где меня ждала назначенная в конвой сотня казаков. В Алхан-Юрте переменилась другая сотня, а далее и я сменил своего Лабазана на казачью лошадь.

В 2 часа ночи я выехал из Владикавказа на курьерской тройке и погнал во всю прыть. По дороге встречались задержки, например, завалы, после Ларса и на Гут-горе, но, миновав все это благополучно где верхом, где на перекладной, я достиг наконец Гартискара; здесь умылся, освежился, крепко перетянулся ремнем и, ловко устроившись на исправном переплете, в 9-м часу вечера въехал уже в Тифлис прямо ко дворцу главнокомандующего. Светлейший находился в Каджиорах, начальник штаба там же, — таково было известие, мною здесь полученное. Приезжаю к зданию штаба кавказского корпуса. По темным и крутым лестницам влезаю на верх, где застаю дежурного штаб-офицера Вагнера. Прошу немедленного отправления в Каджиоры, на что он тут же отдает приказание нарядить казачью лошадь и казака для сопровождения меня до места назначения.

— Как? опять верхом? Я не доеду, у меня сил нет…

— Иначе нельзя, — объясняет Вагнер: — почтового тракта здесь нет, а впрочем, если хотите, то можете нанять легкового извозчика, который вас туда доставить.

Шатаясь, схожу вниз, с трудом влезаю опять на перекладную и по злодейской мостовой трясусь по Головинскому [682] проспекту, к гостинице Крылова, У подъезда стояло несколько извозчичьих парных дрожек. На спрос мой, кто возьмется сейчас же везти меня в Каджиоры, один вызвался за 15 рублей, но с тем, чтоб я дал ему время еще припрячь лошадь.

— Хорошо, но скорей!

Извозчик исчез снаряжаться, а я вошел в гостиницу и потребовал чая. Коридорный ввел меня в общую комнату, зажег на столе две свечи и, оставив меня одного, убежал исполнить мое приказание.

Салон этот был большой, в пять окон. Мягкая мебель заманчиво приглашала к отдыху, но, проученный горьким опытом, я не поддался соблазну и не только не прилег, но сел прямо на вытяжку. Кругом царила тишина. Не вставая с места, я пристально смотрел на убранство светлой комнаты, на картины по стенам, на люстру и мебель, как вдруг увидел из-за малиновой драпировки среднего окна молодую женщину. Она, вся в белом, манила меня к себе рукой. Удивленный этим неожиданным явлением и ее движениями, я встал, подошел к окну и никого там не нашел. Вернувшись к своему креслу, я сел и пристально рассматривая драпировку, отчетливо и ясно увидел снова ту же незнакомку. Опять встаю, быстро подхожу к ней, но она исчезает еще быстрее. В третий раз повторилось то же самое явление, но еще с большею определенностью. Я бросился к ней, схватил драпировку и упал… Меня поднял и усадил на диван вошедший с подносом коридорный.

— Кто была здесь женщина? — допрашивал я.

— Никакой, сударь, женщины тут не было, — с ироническою улыбкой доказывал он, лукаво ухмыляясь и, вероятно, предполагая, что я хватил лишнее.

Мне стало досадно на него и на себя и, чтобы не оставаться опять одному в комнате, я различными вопросами удержал его при себе, пока не проглотил стакана чаю и не увидел в дверях ямщика с известием, что лошади готовы. Выехав за город очень скромною рысью, тройка поднималась по бесконечным зигзагам крутого подъема. Ночь было дивная: теплая, тихая и светлая. Полная луна, бросая матовые лучи света, обрисовывала фантастические тени и фигуры. Я задремал, но не надолго. В пяти шагах от меня представился мне живой лик Богородицы. В глазах ее, поднятых к небу, я мгновенно прочел все святое и блаженное, и, выпрыгнув из дрожек, я тут же преклонил перед нею колени.

— Батюшка, что с вами? — оглянувшись, вскричал извозчик и, видя, что я ползаю на траве на коленях, с испугом бросился за мною, схватил за обе руки и насильно затащил в дрожки. Проехали версты три спокойно. Чтобы не поддаться [683] снова видениям, я вступил в разговор с возницей, но он недоверчиво посмотрел на меня и неохотно отвечал. Молчание, однако, продолжалось недолго. Галлюцинация брала свое, и на одном из поворотов я бессознательно прыгнул из дрожек и стал нежно и страстно целовать пегую пристяжную в морду.

В 11 часов вечера извозчик, одною рукой крепко придерживая меня за шиворот, остановил лошадей и внушительно объявил: “приехали, теперь ступайте!”. Куда приехали? Зачем? — я не понимал вовсе и, встав на ноги, долго не приходил в себя. В Каджиорах уже все успокоилось и, судя по отсутствию в домах огней, все спало. На даче, занятой князем наместником, была совершенная тьма, а не вдалеке, в соседнем доме, светился еще огонь из окон. Добраться туда казалось не трудно, но я, решившись идти к нему прямиком, попал на изгородь из колючки, в кровь исцарапал себе руки и в изнеможении ползком дотащился до входа.

— Кто стоить здесь? — спросил я показавшуюся на крыльце человеческую фигуру.

— Начальник штаба, князь Барятинский, — отвечал солдат. О счастье! Я прямо наудачу попал куда следует. Князь Александр Иванович лечился методой Присница. Он принимал в эту минуту холодную ванну, т. е. лежал завернутый в холодную простыню, и принять меня не мог. Адъютант его, Давыдов, живший в том же доме и занимавший помещение рядом с князем, меня встретил. Не доверяя ему бумаг на имя главнокомандующего, я просил его доложить о моем приезде князю Барятинскому, который через стену, нас разделявшую, громко поздоровался со мною и поручил привезенные конверты передать его адъютанту. Взглянув на число отправления меня из Грозной, князь не поверил глазам своим и, все через стену, завязал разговор со мною.

— Неужели в самом деле вы вчера выехали из Грозной? Это невероятно быстро! Чего хотите, Полторацкий, чая или ужинать, прикажите, сейчас вам подадут.

Повалившись на диван около стены, нас разделяющей, я попросил князя сделать мне одолжение — разрешить сейчас же вернуться в Тифлис, а явиться его светлости дня через два, когда сошьют мне новый мундир. Главною же причиной этой просьбы было сознание ненормального состоянии моего, очевидно, требовавшего спокойного отдыха и сна. Князь в самых любезных выражениях прокричал мне из соседней комнаты свое согласие, и я, поблагодарив его, с помощью любезного Давыдова, приказавшего привести к подъезду экипаж мой, поспешил в обратный путь. Это путешествие совершилось благополучно, и в третьем часу ночи я уже лежал на мягкой постели [684] в гостинице Крылова, но подробностей обратная путешествия описать не могу, так как галлюцинации достигли высшего размера и даже не оставили меня, когда я очутился в тишине и на покое. Усталость была так велика и раздражение нервов от бессонницы так сильно, что я стал метаться по постели и только к утру забылся немного. Часов в 8 поехал в баню, где, долго просидев в горячей ванне, отдался в руки персиянина-банщика, удивительно бойко и ловко расправившего мне все суставы своими акробатическими, неподражаемыми приемами. Почувствовав облегчение, я на обратном пути заехал к портному, заказал ему платье и завернул на одну минуту к Клавдию Ермолову. Но человек предполагает… У него встретил я А. М. Соколова, подвернулся Кулебякин, и мы сыграли пульку с мизерами до завтрака, другую до обеда, третью после обеда, продолжали вечером и проиграли всю ночь на пролет до следующего дня. Откуда взялись силы! Уже утром, в кунацкой Ермолова, на тахте, не раздеваясь, не зная, как случилось, заснул я непробудным сном на 22 часа и на следующий день встал, как встрепанный, здоров, весел и свеж.

Получив от портного новый мундир, я отправился в Каджиоры. На этот раз, проезжая днем по живописной дороге, я решительно не узнавал местности, полной видений и призраков той памятной ночи. Все по пути было прекрасно, но естественно и просто. Каджиоры

представились мне очень оригинальным уголком земного шара. Местопребыванием князя-наместника они избраны им по причине поразительной разницы климатических условий с Тифлисом. В Каджиорах в самое знойные дни — свежесть и прохлада, а за 16 верст в Тифлисе, расположенном в котловине, от жары неимоверно страдают и от солнечных ударов зачастую умирают и люди, и животные.

Приехал я к князю Барятинскому. Прием ласковый и милый. Вместе отправились и к светлейшему — он с портфелем, я с надеждами. Князь Михаил Семенович, узнав от начальника штаба о моем приходе, позвал к себе, конечно, обнял нежно, осведомился о здоровье, в самых лестных выражениях изъявил не только благодарность, но и удивление за быстрое путешествие мое сюда из Грозной и, позвав в кабинет князя Барятинского, при мне отдал категорическое приказание: при первой открывшейся адъютантской вакансии, даже не спрашивая его самого, представить меня к зачислению адъютантом, а пока князь стал внушать мне, что необходимо вернуться сейчас же в полк, конечно, на очень короткое время, откуда я скоро буду вызван, в виду ожидаемого открытия вакансии при нем, вследствие ухода Давида Чавчавадзе или Ростислава Давыдова. Долго, ласково и мягко говорил светлейший и, покончив приглашением у него откушать, еще раз обнял и отпустил из кабинета. [685]

Ах, еще раз поддался я увлекательным обещаниям и льстивому красноречию Михаила Семеновича, до тонкости умевшего своим обращением обворожить каждого. Каков поп, таков и приход. Любезностям и радушию при встрече со мною всех приближенных князя не было предела. Мягко стелят эти господа, да жестко спать. В тот же день я вернулся в Тифлис, заручившись разрешением пробыть здесь неделю или две, пока меня не потребуют для доставления спешных бумаг барону Врангелю.

22-го августа, меня потребовали в штаб, вручили бумаги для доставления в Грозную, и через три дня, к полному удовольствию Вавилы, мы приехали в эту крепость без всяких приключений. Не доезжая, однако, нескольких верст до станции Казбек, я заметил, как мелькнул мимо меня отчаянно скачущий фельдъегерь, а когда я сам подъехал к станции, то увидел смотрителя, стоящего без шапки на площадке в недвижимом положении. Не обратив никакого на меня внимания, он пристально смотрел на свою серебряную луковицу, изредка взглядывая на дорогу в Коби. Я вылез из телеги, крикнул лошадей, но он не шевельнулся и продолжал свои наблюдения. Наконец, как будто решив трудную Пифагорову проблему, он обратился ко мне со словами:

— Да-с, много лет служу я по почтовому ведомству и здесь на станции уже шестой год смотрителем, а такого чёрта, прости Господи, не видал.

— Где вы, батюшка, чёрта видели? — с сомнением, не рехнулся ли старик, спросил я.

— Да, как же, милостивый государь, не чёрт этот фельдегерь! Извольте посудить сами: из Петербурга он прискакал сюда почти в шестые сутки. А вот-с от меня, со станции, до того вон, извольте видеть, поворота, мерных пять верст, а он, как тронул с места, так и ухнул до того места в 7 минут и 40 секунд. Видно, везет он важнейшие бумаги.

По возвращении в Грозную, я сильно прихворнул, и хотя 31-го мне было уже лучше, но я еще не вставал с дивана, на квартире у Кости Тришатного и Швахгейма. Часу в четвертом, когда оба собеседника куда-то улетучились, я услыхал, что кто-то с улицы кричал Тришатного. Я приподнялся на диване и у открытого окна увидел остановившегося верхом Оклобжио.

Оживленная физиономия его и настойчивый вызов Тришатного заставили меня пренебречь натянутыми между нами отношениями и, не скрывая любопытства, откликнуться на зов его.

— Война объявлена Турции и, по приказанию главнокомандующего, наши 1-й и 3-й батальоны выступают. Сейчас идет оказия в Воздвиженское, — второпях и взволнованно передал майор, тотчас же ускакавший хлопотать и распоряжаться. [686]

Так вот важнейшие сообщения, привезенные фельдъегерем из Петербурга. Старичок-смотритель был прав. Но не злая ли насмешка судьбы? 1-й и 3-й батальоны идут в Турцию, а я командир роты во втором батальоне. Что делать мне? “Вавила, одеваться!”. К великому его изумлению, я вскочил на ноги и хотя с гримасами от боли, но через пять минут был одет и, опираясь на него, отправился к дому барона Врангеля. Он принял меня, с участием выслушал мое плачевное повествование, но в содействии отказал, посоветовав ехать в штаб-квартиру полка и обратиться к командиру Ляшенку. “Но времени не теряйте, оказия сейчас уйдет”, — добавил барон. Забыв все прошлые и настоящие боли, я чуть не рысью добежал до квартиры моей, поднял там тревогу, разослал людей нанять подводу до Воздвиженского и, четверть часа спустя, ничком лежа на телеге, потащился к Хан-Калам. Удастся ли мне там устроить дело, — вот вопрос, терзавший меня похуже физических страданий. Я не желал бы командовать ротой в 1-м батальоне, пока во главе его стоит Оклобжио. С ним ужиться мне невозможно, потому что характеры наши не сходятся или вернее слишком схожи, так как цель и стремления у нас обоих одни и те же, а потому, встречая друг друга на пути к ним, мы невольно ощущаем взаимное недоброжелательство... Впрочем и так из всех четырех ротных 1-го батальона нет ни одного, который бы за все злато Калифорнии согласился поменяться со мною ротою. Другое дело во втором батальоне: или Пелепейко, избалованный комфортом и спокойною жизнью, или Давыдов, бывший полковой адъютант, никогда не слывший за кровожадного, да к тому же недавно женившийся. Так рассуждал я всю дорогу, конечно, не допуская мысли, чтобы Руденко или Кутлер могли представить мне такие же надежды, какие я возлагал на Пелипейка и особенно на Давыдова. Легко верится тому, чего желаешь, а я больше всего желал вести на турку 7-ю егерскую роту, которую знал и любил со дня моей службы в Куринском полку с Гречневским и с 1848 и 1849 года, когда я сам ею командовал при Меллер-Закомельском. В Воздвиженском уже давно пробили зорю, когда колонна подходила к крепости. Я поспешил к Бреверну. Его я застал дома, и когда передал ему о войне с Турцией, а вместе и о желании моем перейти в его 3-й батальон, Бреверн, восхищенный первым известием, с радостью принял и второе, а потому, не теряя минуты, мы быстрыми шагами направились к Ляшенку. Был одиннадцатый час ночи, но тревога в его доме была полная. Все должностные были в сборе, толковали, суетились. Сам Ляшенко семенил кривыми ножками и бегал из одной комнаты в другую растерянный. Но правда и было от чего. [687] Предписание, внезапно им полученное, о полном снаряжении и отправлении двух батальонов завтра ранним утром в поход в Турцию, сбило бы с ног и всякого другого. Вполне понимая его положение, я, однако, из опасения быть предупрежденным другими, не мог терять минуты и, перехватив его на пути суетливой беготни, энергически повел атаку. Нетерпеливо, но довольно добродушно, выслушал он вступление, а затем и суть моей просьбы. Бреверн в том же смысле поддержал меня и, заручившись на честное слово обещанием Ляшенка, очень довольного, по-видимому, возможностью так дешево от нас отделаться, мы соединенными силами приступили к дальнейшему устройству дела.

Зала командира полка быстро наполнялась приходящим офицерством. Оно являлось частью за получением прямых приказаний, а частью для разъяснения тысячи мелких вопросов, имеющих громадное значение при предстоящем походе. Был и Пелепейко. Бреверн его отвел в сторону и в полголоса заговорил с ним; издали я следил за ними и по выражению лиц обоих безошибочно заключил о постигшей меня неудаче. Хохол Пелепейко с чувством полного достоинства, с первых же слов Бреверна, резко возразил, что честь не позволяет ему в подобную минуту оставить вверенную ему часть, если бы даже он и знал вперед о пагубном для него конце предстоящего похода. У Давыдова также мы потерпели фиаско, не смотря на долгие убеждения Бреверна. Надежд оставалось мало. Толпа офицеров все прибывала, но в среде их не было никого, кто своим согласием мог бы меня выручить. Руденко и Кутлер не помнили себя от восторга идти на турку и только приставали к Бреверну с вопросами относительно разных мелочей и часа выступления. Грустный и убитый, лег я в ту ночь; не знаю, скоро ли заснул сосед мой, Бреверн, но я долго еще думал, думал и ничего не мог придумать. Уже рассветало, когда я заснул тяжелым сном; мне грезились сражения, турки в чалмах, крики “алла, алла”...

— Вставайте, — шепотом над самым моим ухом послышалось мне.

Открываю глаза и вижу не во сне, а наяву добродушную фигуру Карлуши Юргенсона.

— Вставайте скорее и пойдемте, — повторил он.

— Что случилось?

— Выйдем скорей, я все расскажу, а то разбудим Бреверна, — тихо объяснял добрый немец.

— Я и так не сплю, — громко произнес Бреверн, — в чем дело? [688]

— Я пришел, полковник, к Владимиру Алексеевичу объявить приятное известие: Давыдов сдает ему 7-ю роту.

Надо было видеть, как при этих словах быстро вскочил с постели Александр Христофорович. Никакие уверения в его расположении и дружбе ко мне не могли бы осязательнее убедить меня, как та радостная поспешность, с которою он, в одной ночной рубашке, выскочил из спальной к Юргенсону с расспросами, кому и как удалось уговорить Давыдова. Объяснение было очень просто. Давыдов после переговоров с нами зашел к Юргенсону, где застал в сборе всех офицеров 2-го батальона, остающегося в Воздвиженском. Подробно передав весь разговор с нами, он встретил полное неодобрение своему упорству; долго судили и рядили и кончили тем, что отправили его на совещание к жене, от которой он только что вернулся с решением отказаться воевать с туркой, и в настоящую минуту ожидает меня, чтобы сейчас же приступить к сдаче и приему роты. Восторгу моему не было пределов. Я в две минуты был одет и буквально бегом, забыв боль в пояснице и все невзгоды, пустился к Юргенсону, а оттуда вместе с Давыдовым — к Ляшенку. Выло только 6 часов утра, но командир был уже на ногах, да и вряд ли ложился в эту хлопотливую для него ночь. Получив разрешение об обмене наших рот, о чем было сделано распоряжение объявить сейчас же приказом по полку, я повлек Давыдова в казармы 6-й роты. Люди живо были выстроены, претензии опрошены (их не оказалось), проверены на лету в канцелярии ротные книги, и 6-я егерская рота в 20 минут была уже сдана. Таким же образом принял я и 7-ю роту. При опросе претензий: “никаких не имеем, а уж оченно рады служить с вашим благородием!” — был общий радостный крик молодцов 7-й роты. Растроганный, я распустил людей в казармы собираться к выступлению, а

сам зашел по приглашению Давыдова к нему на квартиру, где за стаканом чая мы подписали ротные книги и обменялись ротными квитанциями.

В 8 часов перед казармами торопливо строились люди 3-го батальона. Послышались голоса ротных, поздравлявших с походом, и дружные ответы нижних чинов. “Прощайте, Давыдов, или лучше до свидания!” Я вскочил на лошадь и подскакал к возлюбленным моим боевым товарищам. На поздравление мое с предстоящим походом на турок громкое, непрерывное “ура” было их ответом. На всех лицах я видел восторженное выражение. “С Богом, братцы! Справа по отделениям шагом марш!” И рота бодро, весело зашагала в гору. [689]

“С командиром хватским весело служить, С нашим Полторацким не о чем тужить!” —

раздался звучный голос запевалы, подхваченный, с шумом и треском тулумбаса и бубен, всем хором песенников. Не выдержал я, и тут же вывоpотил все карманы в их пользу, а всего-то за душой было у меня рублей двадцать пять.

В. Полторацкий.

(Продолжение в следующей книжке)

Текст воспроизведен по изданию: Воспоминания В. А. Полторацкого // Исторический вестник, № 6. 1893

ПОЛТОРАЦКИЙ В. А.

ВОСПОМИНАНИЯ

(Продолжение. См. “Исторический Вестник” т. LII, стр. 667.)

XIV.

Выступление и задержка в Грозной. — Тифлис. — Лезгинская линия, Царские Колодцы и князь Ревас Андроников. — Укрепление Елису. — Знакомство с князем Анзором. — Конец Хаджи-Мурата. — Соколиная охота. — Выступление батальона снова в Тифлис и затем в Турцию. — Сломанная ключица. — Известия о делах: Ахалцихском, Баяндурском и Башкадыкларском. — Курьер Виктор Барятинский. — Моя дорога вдогонку батальона. — Имение князей Эристовых. — Прибытие в Озургеты.

“Накройсь, справа поротно, шагом марш!” — раздалась после молебна команда Бреверна, и батальон потянулся по знакомой и избитой, всем до тошноты наскучившей, дороге в Грозную. Но на этот раз люди шли как-то особенно бодро; сначала, под впечатлением прочувствованной молитвы, торжества обстановки выступления и прощания с остающимися в Воздвиженском товарищами, между ними царила тишина и сосредоточенность, но вскоре русская бесшабашная натура взяла верх, разговоры стали слышнее, смех и шутки посыпались, и песни полились во всех ротах. Каково же было разочарование, когда по просьбе ли Ляшенка, или по собственному побуждению, барон Врангель послал курьера к главнокомандующему с письменным изложением крайнего затруднения в отправлении с левого фланга двух батальонов куринцев, а потому доносил, что 1-й — выступит в Тифлис 3-го сентября, а третий

будет задержан им в [32] Грозной, впредь до получения от его светлости разрешения оставить его совершенно. Но через неделю со всех сторон опять раздавались радостные крики: поход, поход, поход! Прискакал курьер из Тифлиса с нахлобучкой от князя Воронцова барону Врангелю за задержание 3-го батальона и с категорическим приказанием немедленно двинуть нас форсированным маршем без маршрута. Началась суета непомерная. В магазинах, в лавках, в духанах, везде толкались куринцы всех чинов и званий. Каждому надо было запастись тем, другим. Все болтало скороговоркой, без связи я толка. Наконец, роты потянулись к Алхан-Юртским воротам и за крепостью, в ожидании начальства, составили ружья. Густые толпы обывателей, а еще большие — обывательниц, высыпали за ворота проводить “родимых”. Молодые поселянки с бубликами и сайками шныряли между рядами солдат, и кому за медные деньги, а кому и даром, совали в мешки свои гостинцы. В группе офицеров захлопали пробки, вино полилось и возгласы, тосты и крики “ура” посыпались, встречая и перебивая друг друга. Уже послали денщика за подкреплением, когда обеспокоил нас приезд начальника дивизии. Объехав шагом роты, Александр Евстафьевич поздравил куринцев с походом, но с таким исключительным умением говорил с ними, что несколько слов его завоевали солдатское сердце. К офицерам он также обратился с задушевною речью; случайно заметив подскакавшего в ту минуту денщика с бутылками, он попросил себе стакан и залпом осушил его за здоровье и преуспевание в боях с турками доблестного 3-го батальона. Наэлектризованные искренностью обращения с нами этого прославленного рыцаря на Кавказе, мы все от старшего до младшего рядового прониклись сожалением, что барон Врангель не идет с нами.

Дорога была донельзя удачна. Погода удивительно теплая, и даже в Дарьяльском ущелье — ясно. Люди были здоровы и веселы. Больных не было. Переходы делались легко, хотя были не малы. Седьмой раз в жизни проезжал я тогда из Владикавказа в Тифлис, и если суждено мне будет сто раз переваливать горы Кавказского хребта, то всякий раз я, кажется, только больше буду восхищаться дивной, чудной природой. Кто только читал бессчетные и самые живые описания всех прелестей этого пути, а сам не видел его воочию, тот не может иметь должного понятия о величии, поражающем все существо человека, родившегося на нашем севере. Здесь на протяжении 200 верст встречаются все разнообразия причудливой природы: ущелья, долины, обвалы и отвесные скалы. В лесистых горах во множестве водились медведи, олени, козы, серны, туры, волки, шакалы, лисицы, зайцы, а из пернатых великаны орлы, горные [33] индейки и все птицы севера и юга. Но в Чёртовой долине, уже по названию своему обещающей мало наслаждений, зачастую свирепствуют страшные бури и метели, ежегодно губящие много жертв, а Крестовая и Гут-Гора славятся завалами снегов, грозного бича проездного люда и окрестных жителей. Массы снега, внезапно отделяясь от вершин гор, вечно покрытых льдом, заваливают собою не только дорогу на протяжении целых верст, не только людей и животных, но погребают целые селения, расположенные в долинах, у подошв отвесных гор. Расчистка дороги сопряжена с неимоверными трудами, а раскопка селений для спасения задавленных снежными завалами физически невозможна.

Еще не доезжая Тифлиса, мы узнали, что 1-й батальон уже выступил к Александрополю, куда и мы должны были спешить на соединение с ним, но человек предполагает… в этом еще раз пришлось убедиться. В Тифлисе нам объявили выступление не в Александрополь, а на Лезгинскую линию, куда, по полученным сведениям, Шамиль намерен был сделать сильное нападение. Вот тебе и Турция!

После трех переходов пришли мы в Царские Колодцы, штаб-квартиру Тифлисского полка. Здесь встретил нас мой старый знакомый, Ревас Андроников. Из бывших адъютантов князя Воронцова он попал сюда в генеральском чине командиром бригады и, конечно, хотел по этому случаю разыграть роль начальства. С глубоким достоинством выехал он к батальону, объехал ряды, держал несвязный спич, и если удивил всех, то только красотою своего золотисто-рыжего верхового жеребца. Действительно, редко удавалось мне встречать Карабаха таких изящных статей и склада, и притом замечательного ростом: в нем было полных четыре вершка.

Князь Ревас пригласил всех офицеров к себе обедать, был радушен, внимателен и хотел быть любезным, но, тем не менее, все как-то у него не клеилось, и когда вся церемония кончилась, мы вздохнули легко и свободно.

Вспомнил я эпизод с этим Адрониковым.

В 1845 году, по взятии Дарго, граф Воронцов послал в Петербург с донесением, состоящего при нем по особым поручениям, графа Галатери; а после всех ужасов Сухарной экспедиции, возвратясь с остатками отряда в Герзель-аул, отправил к государю императору вторым курьером личного адъютанта своего, гвардии штаб-ротмистра, князя Реваса Андроникова, который быстро добрался до Терской линии и сломя голову помчался в Петербурга. Случилось так, что Андроников проехал Екатеринодар прежде, чем по Военно-Грузинской дороге из Закавказья попал туда граф Галатери, не любивший [34] никогда ни в чем стеснять себя и в этом случае не пожелавший нарушать своих привычек к комфорту и покою. Он ежедневно останавливался на ночлеги и значительную часть времени посвящал отдохновению и сну. Андроникову же во всю дорогу не пришла благая мысль справиться на станциях о времени проезда графа Галатери, и он, быстро подвигаясь вперед, твердил лишь про себя все подробности словесных объяснений его величеству по приезде в Петербург. При этом Андроников подготовлял изустный доклад свой о Даргинской экспедиции не с самого начала ее, а только с периода отправления графа Галатери, то есть после Сухарной экспедиции и до прибытия отряда в Герзель-аул.

Не смотря на жестоко-беспокойные условия перекладной, на толчки и все физические страдания, им испытанные при бешеной скачке на расстоянии 2.700 верст, Андроников усердно зубрил наизусть: какого полка и какие батальоны были ежедневно при отступлении в арьергарде и в цепях; в какие дни и где именно были самые жаркие схватки, кто командовал в означенных делах, сколько потерь в отряде и проч., словом, все мельчайшие подробности при злополучном отступлении нашего разбитого отряда. Но при этом Андроников не потрудился осветить в своей памяти все случившееся при наступлении наших войск в Андию, занятии Дарго, несчастной экспедиции за сухарями, потери Пассека и прочее.

Приезжает он наконец в Петербург. Ему говорят, что государь в Петергофе; он сейчас же скачет туда. Оказывается, что государь в Красном Селе; Андроников в ту же минуту несется за его величеством, и на пол дороге, часу в 11-м вечера, встречает царский поезд. Андроников ворочает свою тройку и двигается вслед, но государь император, ехавший в коляске с графом Бенкендорфом, заметил звук курьерского колокольчика, а потому, давно уже беспокоясь неполучением донесений от графа Воронцова, осведомился, не курьер ли это с Кавказа. По получению утвердительного ответа, его величество, остановив экипаж свой, поспешно подозвал курьера, спросил его фамилию и когда выехал с Кавказа, а затем, пригласив графа

Бенкендорфа пересесть в другой экипаж, приказал Андроникову сесть рядом с собою, в коляску. Его величество, не имея возможности, по случаю темноты ночи, прочесть письменных донесений Воронцова и нетерпеливо желая скорее узнать о всех подробностях экспедиции, обратился с расспросами к курьеру, но с первых же слов Андроникова остановил его замечанием, почему он не начинает рассказ свой сначала, а с половины экспедиции. Ревас, недоумевая о причинах неведения государем первоначальных донесений, отправленных [35] главнокомандующим к его величеству с графом Галатери, смущается, путается в словах и в конце концов теряется совершенно. Само собою, государь раздражается полным неумением присланного к нему адъютанта удовлетворить его, но, когда после всевозможных сокращений и пробелов о ходе первого периода экспедиции Андроникову удалось, наконец, выбраться на торную свою дорогу, и он безостановочно и связно начал, как попугай, заученное повествование свое, государю тотчас же пришла мысль о случившемся недоразумении, и он с живостью спросил:

— Да не был ли раньше тебя послан ко мне другой курьер?

— Точно так, ваше императорское величество, граф Галатери, отправленный за десять дней ранее меня, — отвечал ободрившийся князь Андроников.

— Где же он? Куда девался? — спросил государь и, смягчившись относительно Андроникова, приказал немедленно отправить фельдегеря на встречу и розыски пропавшего графа Галатери.

Как бы то ни было, но приятное впечатление, которое надеялся произвести Андроников на государя Николая Павловича привезенным известием о возвращении отряда нашего в Герзель-аул, исчезло безвозвратно. Правда, на другой день в Александрии Андроников был удостоен приглашения к высочайшему столу, за которым государь император, посадив его между великой княгиней Марией Николаевной и великой княжной Ольгой Николаевной, поздравил его со следующим чином, причем предложил выдернуть из эполет Андроникова штаб-ротмистрские звездочки, что, к великому смущению вновь произведенного, во время же обеда и было с помощью вилок собственноручно исполнено их высочествами, однако же мечта ретивого курьера о получении флигель-адъютантских вензелей не осуществилась.

Достойно замечания и то, что граф Галатери, только на четвертый день после приезда князя Андроникова явившийся в Петербург с первоначальным донесением о взятии Дарго, изобрел какие-то уважительные причины своего замедления, а потому наравне с Андрониковым удостоен был также производства в следующий чин.

После Царских Колодцев, при вступлении в Закаталы, центральный пункт и главную квартиру начальника Лезгинской линии, князь Григорий Орбелиани выехал к нам на встречу и, распорядившись о помещении и угощении батальона, позвал офицеров к себе обедать. Из всех грузин, простых и знатных, никого не встречал я симпатичнее, а вместе и умнее этого Орбелиани, Григория. Брат его, Илико, знаменитый красавец, статный и ловкий танцор, лихой собутыльник и отчаянный вояка, быстро сделавший карьеру и теперь уже в [36] генеральском чине занимающий видное положение в отряде князя Бебутова, далеко в сущности не располагает в свою пользу сослуживцев своих, как старший брат Григорий. Развитой, образованный, красноречивый и обаятельно любезный, он слывет в Грузии за очень талантливого поэта, за первого представителя высшей аристократии всего края и популярнейшеаго друга грузинского народа. Гостеприимно и радушно угощал нас князь

Григорий национальным обедом, отличным вином Кахетии и стройным хором русских певчих.

Немного отдохнув, мы снова двинулись в поход и после многих мытарств с одной позиции на другую стали наконец бивуаком около большого селения Кох, откуда я ходил с ротой в укрепление Елису. Расположено оно в узком и неприступном ущелье, бывшем владении султана Елисуйского, когда-то генерал-лейтенанта русской службы, а ныне одного из влиятельнейших сподвижников Шамиля. Неудовольствия его на наше правительство побудили его в один прекрасный день бросить свои богатые здесь владения и передаться имаму. Укрепленный замок султана преобразован был в казарму двух рот Мингрельского полка, занимающего форт Елису, при входе на Кавказский хребет. Дикая местность укрепления, вплотную окруженного отвесными, как стенами, скалами, производит убийственное, тяжелое впечатление. Мне казалось, что эти голые кругом каменья образуют собою просторный гроб, чтобы нас заживо похоронить и приплюснуть висячими над головой утесами. В Елису солнце светит час, много полтора в день, так как неба видно из этого глубокого колодца самый крошечный кусочек. Не смотря на радушный прием коменданта и всех офицеров Мингрельского полка, которых злая судьба обрекла жить в этой ужасной яме, я забрал следуемый к получению для батальона провиант и поспешил бежать из Елису без оглядки.

На другой день приезжал явиться к Бреверну, как флигель-адъютанту его величества, племянник ех-султана Елисуйского, князь Анзор, состоящий на службе в собственном государя конвое. Сюда он приехал весною в отпуск и случайно попал в передрягу, где оказал немаловажное отличие при преследовании, — кого же? — Хаджи-Мурата.

Историю трагического конца этого баснословного фанатика я слышал уже давно, но подробности узнал только здесь, на месте происшествия.

Невольный виновник войны “Алой и Белой Розы”, разгоревшейся из-за него в Воздвиженском, между Меллером и князем Simon'ом Воронцовым, Хаджи-Мурат был увезен тогда в Грозную, куда к нему командировать был Лорис-Меликов от главнокомандующего. Дождавшись прибытия из гор в [37] Грозную жен и имущества нового подданного России, Хаджи-Мурата, — Лорис снарядил экипажи и повез его с семейством в Тифлис, где князь Воронцов, а по его примеру и вся знать города, долго чествовали знаменитого богатыря дагестанского. Несколько месяцев сряду с ним нянчились в Тифлисе; ему показывали все достопримечательности, возили в театр, давали обеды и загородные празднества, катали по улицам с блистательным конвоем, ухаживали всячески, любезничали и кокетничали с ним до того, что наконец ему надоели, и он, дитя природы, родившееся в горах и всю жизнь пользовавшееся свободой и чистым воздухом живописной страны Аварии, настойчиво просил и получил разрешение оставить шумный, пыльный и в летнее время невыносимый по духоте город. Резиденцию Хаджи-Мурату, по его желанию, назначили в одном из соседних с Елису селений, на плоскости, а в караул к нему, но в виде почетного конвоя, — полсотни донских казаков. Пользуясь относительной свободой, Хаджи-Мурат ежедневно делал прогулки верхом, сопровождаемый казаками, что, конечно, ему не нравилось, так как ему была очевидна цель назначения мнимого почета, постоянно стеснявшего его действия. Еще из Тифлиса, под предлогом вредных климатических условий, он отпустил жен своих, тайно пробравшихся к себе на родину, а он сам, водворенный в здешней местности, томился в одиночестве, если не считать четырех ему преданнейших мюридов, занимавших две комнаты в одном же с ним

доме. Версты за две от селения, на север, по направлению хребта гор, на плоскости, находился высокий курган, на который Хаджи-Мурат ежедневно ездил, слезал с коня и, разостлав бурку, кейфовал целые часы. Офицер-казак, начальствовавший над полусотней, во избежание ежедневного утомления себя и всех людей своих, счел возможным наряжать в конвой своему знатному арестанту по 12 казаков в день и, привыкнув к его вседневным прогулкам, мало-помалу стал халатно относиться к возложенной на него обязанности — смотреть за ним в оба. Однажды Хаджи-Мурат с мюридами и обычным конвоем выехал на излюбленный курган свой и, как делал прежде, повалился на бурку, задумчиво и лениво любуясь видом окружной местности. По его примеру слезли с коней и казаки. Зная по опыту, что им придется провести здесь большую часть дня, они стреножили лошадей и, пустив их на пастбище, сами беспечно задремали. Того и нужно было Хаджи-Мурату. Условившись предварительно на своем языке, он и его мюриды внезапно вскочили на коней и понеслись степью, по направлению к горам. Гаврилычи ахнули, всполошились, но пока распутали лошадей и вскочили в седла, беглецы уже были на полверсты. [38]

Хаджи-Мурату, с мюридами, вероятно, удалось бы невредимо скрыться, так как их лошади были несравненно высшего достоинства, чем донские, и притом они сразу отделились от казаков, если бы последние не догадались дать несколько сигнальных выстрелов, на которые по тревоге ринулись почти на перерез беглецам джигиты князя Анзора, случайно возвращавшегося с соколиной охоты. Погоня началась отчаянная. На протяжении десятка верст один за другим пали от метких выстрелов джигитов-охотников все четыре мюрида. Один Хаджи-Мурат, хотя тоже раненый, но отстреливаясь и всеми силами понукая ослабевшего коня своего, еще мчался впереди всех. Уже недалеко оставалось ему до опушки леса, спасение возможно, но в ту минуту карабах его, задетый пулею, зашатался и, спотыкаясь, пошел вперед в полмаха, а погоня уже близко, на пистолетный выстрел. Хаджи-Мурат на всем скаку спрыгнул с раненной лошади, пешком достиг леса и, как дикий зверь, спасая свою шкуру, неимоверными прыжками перескакивая через кусты и колоды, бросился в чащу. Рассыпавшиеся за ним всадники открыли его убежище, но прежде, чем им удалось спешиться и атаковать его, двое пали убитыми и трое ранеными. Джигиты князя Анзора, казаки с кургана и остальные, по тревоге подоспевшие из селения, всего до 60 человек, собравшиеся здесь, долго не могли одолеть одного Хаджи-Мурата, явившего неслыханную отвагу. Расстреляв до последнего все заряды из винтовки и пистолета, он, как лев, вскочил на прикрывавший его завал и, истекая кровью от тяжких ран, отчаянно рубился шашкой. Целый рой пуль летит в освирепевшего зверя, но он в исступлении все еще крошит на смерть ближайших врагов своих. Наконец, роковая пуля повалила его на землю. С криком восторга победители устремились к павшему герою, но и тут Хаджи-Мурат, закатывая глаза в предсмертной агонии, успел распороть кинжалом животы двум отважнейшим врагам. Так погиб легендарный боец Хаджи-Мурат, но какою ценою достался нам труп его? Из 18 жертв, уложенных рукою героя, прежде чем овладеть им, 11 поплатились жизнью... Исчезла с лица земли колоссальная личность, но вместе с ним на веки умерла и тайная цель мнимого примирения его с Россией.

Кстати о соколиной охоте. Как-то, рано утром, приехал князь Анзор. Большая свита нукеров сопровождала его с кречетами, соколами и беркутами. Погода была удовлетворительная, и мы, большою компанией — Ренне, Воецкий, Кутлер, Поливанов и Леус, отправились с князем на эту оригинальную охоту. Впервые ее увидев, мне было очень любопытно смотреть на весь процесс преследования птиц и даже зверя не очень крупными [39] хищниками, посредственно выношенными и приученными. Отыскивание дичи производилось общепринятым гаем,

верховыми людьми, но без собак. Подымался фазан, куропатка, утка, перепел, или бежал заяц или лисица, вслед за ними скакали нукеры, спуская с руки свою хищную птицу. Красивее всех был один сокол, любимец князя Анзора. Приметив летящую добычу, он стремительно несся за нею, постепенно поднимаясь вверх, и затем, уловив момент с высоты, камнем бросался вниз и без промаха вместе с жертвой своей катился на землю. Около полудня задул сильный ветер и помешал нам дальше охотиться. В бурю немыслимо охотиться с соколами, которые не только плохо преследуют добычу, но и сами легко пропадают. Любезный наш амфитрион, расставаясь, обещал еще раз устроить в больших размерах полевание в местностях, где много диких коз и лисиц.

До нас стали доноситься смутные слухи о громких победах, одержанных отрядами Александропольским и Алалцихским над турками. Недолго пришлось ждать и нам. 2-го ноября Бреверн получил с эстафетой предписание немедленно выступить с 3-м батальоном обратно по Лезгинской линии, в Тифлис. Что было делать мне, несчастному неудачнику? Скучая до одури в Кахе, мы устроили накануне состязание верхом, причем мой конь споткнулся о камень и грохнулся со всех четырех ног о землю, придавив меня собою. В результате оказалась сломанная в правом плече ключица и непременное приказание доктора лежать неподвижно в крахмальной подвязке, но я не послушался этих мудрых советов; устроившись на арбе, хотя с большими страданиями, но доплелся-таки вслед за батальоном до Тифлиса. Здесь же следовать дальше за товарищами, которые назавтра выступали, оказалось для меня совершенно немыслимо, и я должен был дней на 12 принять гостеприимство милейшего друга Александра Ивановича Вастена; после чего решил пуститься в погоню за своими, но не по Александропольскому тракту, а в другую сторону. Многое узнал я здесь относительно начинающейся войны и тех дел, которые уже были у нас. Первым враждебным действием турок послужил форт св. Николая около Озургет. В означенном форте в прикрытие хлебных магазинов наших, на крайнем пограничном пункте Черного моря, весь гарнизон заключался в 15 донских казаках, при уряднике, и трех провиантских нижних чинах интендантского ведомства. На эти ничтожные военные силы обрушился турецкий отряд, внезапно атаковал и занял форт, бесчеловечно истребив всех его защитников. По слухам турки укрепили этот пост и, поставив надежные силы, намерены удержать его за собою. [40]

Рассказывают люди, посвященные в дело, что при объявления разрыва с Оттоманской империей государь Николай Павлович предложил нашему здесь главнокомандующему барона Остен-Сакена, Лидерса или Панютина в помощь, но что князь Михаил Семенович всеподданнейше ответил его величеству, что не желает ни первого, ни второго, ни третьего на том основания, что кавказская школа на столько образовала военных людей, что он, князь Воронцов, твердо надеется привести предначертания его величества относительно Азиатской Турции к исполнению своими кавказскими генералами. В силу этого князь представил, а государь утвердил, начальниками отрядов: Александропольского, самого сильного по численности войск, вошедших в состав его, в виду первоклассной турецкой крепости Карса, расположенной в районе предположенных военных действий, — князя В. О. Бебутова, бывшего до минуты назначения своего управляющим гражданскою частью на Кавказе; Баязетского — барона Карла Врангеля; Ахалцихского — князя Ивана Малхазовича Андроникова, бывшего до того тифлисским военным губернатором, и Гурийского — князя А. И. Гагарина, когда-то служившего при князе Воронцове личным адъютантом, а ныне кутаисского губернатора.

Князь Александр Иванович Гагарин — очень милый и достойный человек, женатый на одной из бесчисленных здесь княжон Орбелиани, родной сестре нашего Вано. Штаб-квартира Гагарина была в Озургетах, а весь Гурийский отряд состоял, кроме нашего 1-го батальона, из войск 13-й пехотной дивизии, 5-го корпуса Лидерса, так что Бреверн рассчитывал встретить там много друзей и знакомых.

Князя Барятинского также не было в Тифлисе: он назначен был начальником штаба в действующем отряде князя Бебутова. Первое сражение с турками имел Ахалцихский отряд князя Андроникова, разбивший неприятеля наголову, причем захвачена и неприятельская артиллерия. В этом сражения оказался героем дня, но совершенно фуксом, мой давнишний приятель Циммерман. Когда наша колонна рано утром, в густой туман, начала наступление на турецкие укрепления, начальником ее был генерал-майор Фрейтаг, а при нем, как офицер генерального штаба, Циммерман. Неприятель за несколько сот шагов открыл нашу атаку и встретил ее усиленным огнем, причем пулею был ранен в руку начальник отряда. Фрейтаг слез с лошади, и, пока ему делали перевязку, войска без всяких распоряжений свыше продолжали идти вперед и на “ура” заняли ложементы и батареи, сбили неприятеля на всех пунктах и завладели орудиями. Победа громкая! Но кто главный виновник и чью грудь украсить Георгиевским крестом, [41] заслуженным по статуту? Фрейтаг в минуту одержанной победы был вне выстрелов, следовательно, очередь была за старшим в чине. Собираются справки, и оказывается, что все батальонные командиры, шедшие в счастливую атаку, по производству моложе подполковника Циммермана, которому и присужден был белый крест. После Ахалцихского дела было два последовательных сражения в Александропольском отряде. Первое, под командой князя Илико Орбелиани, под селением Баяндуром, было чисто артиллерийским боем. Наш 1-й батальон принимал в нем участие и понес изрядные потери. Второе же сражение дано было блистательно под Баш-Кадыкляром. Здесь дрался весь отряд князя Бебутова против главных турецких сил, в три раза превышавших числом наши батальоны, что не помешало, однако, неприятелю отдать нам весь лагерь, обоз и всю артиллерию свою. 1-й батальон опять отличился, и командир его контужен ядром в голову. Победа под Баш-Кадыкляром была бы еще блистательнее, если бы не такая большая потеря с нашей стороны (более 2.000 человек) и смерть, например, такого заметного героя, как князь Илико Орбелиани, убитого наповал ядром.

Но все это, как ни было блестяще, меркло, однако, при известии о морском сражении и поражении турецкого флота под Синопом. Герой Нахимов оказал чудеса отваги, приняв бой с сильнейшим неприятелем, по числу судов, поддержанных к тому же береговыми батареями; не смотря на это, турецкий флот в своей собственной бухте истреблен окончательно. Официальное сообщение об этой славной морской победе привез в Тифлис моряк, князь Виктор Барятинский, родной брат Александра Ивановича; весь город, конечно, чествовал его на славу; но военных и свитских князя Воронцова мало оставалось в городе: все они разбрелись по отрядам действующих войск в Азиатской Турции.

Наконец, 21-го ноября и я выехал из Тифлиса в 9 часов утра. Сурамский перевал пришлось переваливать ночью, что, конечно, не могло улыбаться мне при условии очень грязной дороги и непомерной темноты. Из опасения быть вываленным, я требовал от ямщика не спешной, но осторожной езды, на что он равнодушным тоном отвечал: “Что Бог даст!” как вдруг на 12-й версте от оставленной станции повозка сразу перегнулась на сторону и, не опрокидываясь совершенно, повисла левыми колесами на воздухе. Чемоданы быстро вылетели в какой-то

овраг, а я, закинув ногу за ящик повозки, удержался в висячем положении, пока ямщику не удалось обежать кругом и с неимоверными усилиями восстановить телегу в нормальное положение. Этим маневром я избег падения, но зато [42] от натуги ноги у меня соскочила с места чашка правого колена. Одно другого не легче! Ямщик так схватил меня за ногу и дернул, что она хотя и хрустнула, но выпрямилась; тем не менее нестерпимая боль при сильной опухоли еще долго давала себя чувствовать. В Кутаиси мы въехали к раннему завтраку и там узнали, что батальон наш только накануне выступил из города. Не долго мешкая, я пустился в дальнейший путь и в конце второго перегона нагнал растянувшийся батальон, очень медленно шлепавший по слякоти. Повозку мою окружили и посыпались вопросы и сообщения о всем случившемся за время нашей разлуки. До имения князей Эристовых, где предназначен был ночлег, оставалось не более версты, и я пустился вперед. На горе, у деревянного господского дома, стояли наши повозки, а около них шнырял Вавила. Осторожно высадив меня из повозки, он заахал, услышав о ночном приключении с ногой, но не мог не порадоваться моему приезду, так как в отсутствие мое его совсем будто бы “затуркал” А. И. Поливанов. Тем временем подошли и наши, и мы, обнявшись с Бреверном, отправились в отведенное нам помещение. Животрепещущее крыльцо, покрившееся от ветхости и сложенное из пролетных досок, показалось мне сомнительной прочности, а потому я со всевозможною осторожностью занес на него ногу, но с первой же ступени она поскользнулась, я потерял равновесие и упал головой в промежуток между досками… С ушибленным плечом и распухшею ногою далеко не весело провел я ту ночь, а дождь, ливший целый день, разразился еще с новою силой, немилосердно стуча не только в стекло, но через крышу и потолок и по жалкой мебели нашего палаццо. 25-го числа ноября 1853 года мы прибыли, наконец, в Озургеты.

XV.

Озургеты. — Новые личности. — Карзанов, Мазараки, Голофеев, Щербаков, братья Гуриели. — Лагерь на реке Нетонеби и позиция у Чехатского моста. — Встреча Нового года. — Фарс Карганова и его последствия. — Приезд Гагарина и И. М. Андроникова. — Новости: разрыв с Англией и Францией и отъезд князя Воронцова с Кавказа. — Багговут и его рассказы. — Судьба свиты светлейшего князя. — Приезд в отряд князя Семена Михайловича Воронцова. — Отступление из Озургет к реке Риону и соединение отрядов. — Поездка в Ланчхут; предчувствия. — Роковое известие о побоище в Ланчхутском ущелье. — Кутаиси и вторичное выступление к Озургетам.

В течение недели я познакомился со всем новым начальством Гурийского отряда, во главе которого стоял князь Гагарин. Как наружною, так и нравственными сторонами он [43] первоклассный оригинал, очень милый, любезный и обходительный, но своеобразный, с седыми локонами по плечи. Начальником штаба его — полковник Иосиф Иванович Карганов, боевой офицер, образованный и очень умный. Он сын знаменитого когда-то Ваньки Каина, о подвигах которого гремела на Кавказе общая молва. Сам Иосиф прекрасный, с выразительными чертами лица армянского происхождения, страшно заикается от рождения и часто встречает непреодолимые затруднения выговорить слово, но зато, когда удается одолеть это механическое препятствие, речь его течет плавно и последовательно, дельно и красноречиво. Будучи молодым саперным офицером, он получил Георгиевский крест в Дагестане, где на Сулаке ему удалось под сильнейшим огнем неприятеля навести мост. С той

поры имя Карганова стало известно в Закавказье, и выбор главнокомандующего на видную должность начальника штаба отдельного Гурийского отряда пал на него, как весьма способного, хотя и не генерального штаба офицера.

Другой штабной, Николай Семенович Мазараки, принадлежа к воспитанникам военной академии, как исключение, очень прост в обращении, без тени всякой фанаберии. Он давно уже служил при генерале Лидерсе и Венгерскую кампанию делал с Бреверном, с которым и в настоящую минуту состоял в самых дружелюбных отношениях. Мазараки очень был занят канцелярской работой в штабе, что не мешало ему, однако, урывками забегать к нам. Далее Бруннер, командир Брестского полка, личность почтенная и по общим отзывам очень дельная. В его полку командовал батальоном толстый Голофеев, тот самый, про которого ходил знаменитый анекдот обогащения во сне, в замке венгерского магната; Щербаков, штабс-капитан, старший отрядный адъютант, замечательный усидчивою деятельностью днем в канцелярии, а ночью за зеленым столом у начальства, у нас или где бы то ни было; а так как в настоящее время года, при непроходимых путях в окрестностях Озургет, то есть во всей Гурии, Мингрелии и Сухумском отделе, движений войск как наших, так и неприятельских ожидать было нельзя, то все мы прозябали пока в однообразной скуке, рассеять которую все от мала до велика старались на зеленом поле. Здесь фельдмаршальский жезл с достоинством носил в руках Иосиф Иванович Карганов, завзятый игрок и страстный любитель ланскнехта. И не у нас одних идет борьба сильных ощущений, но куда ни заглянешь, везде наша бесшабашная братия чуть не с утра резалась между собою. В большом, довольно грязном доме, на городской площади, разместилось большинство наших офицеров; там председательствовал Рудой (Руденко), а членами заседали: Мацкевич, [44] Кутлер, Ренне, Воецкий, Саверин, Пашенька Полторацкий и два брата Хилинские. “Не красна изба углами”, — гласит русская пословица, но тут надо сказать не “пирогами”, а бесчисленным количеством бутылок и карт, составляющих не только главное украшение, но и мебель этого волшебного отеля.

Зима здесь в Гурии своеобразная, без снега, но с беспрерывным дождем, какая-то гнилая. На площади и улицах Озургет море жидкой грязи, которую ночью даже верхом одолеть не безопасно. Везде, на всех театрах войны затишье. За Дунаем было жаркое дело у Четати, о котором рассказывают чудеса, но и там потом все смолкло, и армия Паскевича копошилась вся у Силистрии. У нас же в Азиатской Турции был положительный застой во всех новостях. Но тишина эта была перед бурей. Ближайший от нас пункт, занятый неприятелем, вновь воздвигнутое укрепление, Шехвители, на месте бывшего форта св. Николая. Турки там очень укрепились и содержали в гарнизоне крепости до 3-х батальонов низама и несколько орудий. Как-то приезжал в нам уездный предводитель озургетский, князь Леван Гуриели, и заявил, что решен вопрос о занятии вблизи от Шехвители Чехатского моста всею гурийской милицией, куда она и выступила в числе до 4.000 человек. Мост на реке Чолоке, в лесистой местности, всего в четырех верстах от бывшего Николаевского форта, представлял очень важный стратегический пункт, удержание которого было крайне необходимо как для охранения Озургет, так и для наблюдения над действиями турок вообще. Два брата Гуриели, Леван и Димитрий, богатые помещики здешнего уезда, первый предводитель, а второй рьяный партнер в ланскнехт, часто оба являлись к нам, или приглашали на свои национальные обеды, где мы познакомились со многими туземцами лучших фамилий.

Жизнь шла мирно весь месяц, как вдруг 21-го декабря явился к нам Мазараки и предупредил, что батальону предстоит выступление к Чехатскому мосту на подкрепление милиции нашей,

так как турки угрожали ей нападением из Шехвители. Итак, праздники Рождества Христова нам предстояло провести под открытым небом.

В темнейшую ночь на сочельник, с дождем и ветром, вползли мы в полуразрушенное селение, оставленное жителями на произвол судьбы и шакал. Ощупью занимали мы беспорядочную позицию, так как осмотреться кругом было немыслимо. Окликая друг друга в наступившей темноте, из опасения не быть сбитым наплывающим потоком людей, бессознательно ищущих себе приюта и страшно утомленных, мы прониклись убеждением взять то, что пошлет нам судьба. Начальнику колонны, т. е. Бреверну, и мне, судьба эта послала крытое и [45] защищенное с боков деревянное строение, в котором неоднократно зажигаемый огонь тушился гуляющим насквозь ветром. После долгих усилий и хлопот прислуги, удалось наконец осветить нам отведенный дворец, оказавшийся довольно обширным свиным хлевом. Навоз снизу, навоз с боков и навоз на крыше свидетельствовал о продолжительном пребывании здесь бывших перед нами квартирантов, что подтвердилось ночью внезапным хрюканием в темном углу палаццо одного из членов большой семьи, невежливо обеспокоенной нами, не прошенными гостями. Не особенно приятное ощущение испытал я так же при пробуждении от крепчайшего сна, обеспокоенный капелью через крышу прямо на лицо чего-то зловонного и омерзительно противного.

На другое утро мы стали лагерем на реке Нетонеби, где и отпраздновали великие дни Рождества Христова.

Кругом грязь, мерзость, запустение. Мы не раздеваемся и в сапогах, по колена в грязи, валяемся с утра на постелях, с бельем буро-серого цвета. Впереди нас за четыре версты стоит Имеретинская и Гурийская милиция, охраняющая Чехатский мост на реке Чолоке, в четырех же верстах ниже впадающей в Черное море, у самого форта св. Николая. От турок мы следовательно теперь в 8 верстах. Опасения или, лучше сказать, надежды, что они воспользуются нашими праздниками и сделают на нас нападение, к сожалению, не сбываются, и из-за их новой твердыни они не показывают и носа.

Новый Год ознаменовался приездом к нам в лагерь Карганова, с пол сотней донских казаков, в виде конвоя, и ради компании с капитаном Литовского полка Романовым и инженером путей сообщения капитаном Ежиковым. Присев у нас на несколько минут, Карганов предложил нам, равно как и вошедшим Кутлеру и Саверину, ехать с ним навестить соседей наших, князей милиции на Чехатском мосту.

— По-по-посмотрите, господа, как они сла-сла-славно угостят нас, — добавил он. Действительно его ожидали на милиционер-ном бивуаке.

Только что услышали топот лошадей наших, все князья и дворяне Имеретии и Гурии высыпали из шалашей своих на встречу дорогого гостя и, увидев его не одного, а со спутниками, видимо обрадовались нашему приезду. Прием был приготовлен у князя Димитрия Гуриели, где кругом длинного стола были вкопаны в землю скамейки, покрытые коврами. Помещение было просторное, но и общество собралось не малое. Здесь увидели мы брата хозяина Левана, князя Михако Сумбатова, состоящего при [46] главнокомандующем и приехавшего сюда накануне, князей Эристовых, князя Кайхасро, князя Церетели и всяких других князей Мачутатзе, Мачевариани, Мочабели, всех служащих в милиции. Хозяин заявил во всеуслышание:

— Шашлык подан, покорно прошу садиться! Карганов, около которого я был в ту минуту, схватил меня за руку и потащил на длинную скамью, где и усадил рядом с собою налево, а Бреверна пригласил направо. Удивительный шашлык появился на сцене и прозрачное, чудесного цвета рубина гурийское вино заискрилось в серебряных азарпешах.

Все заговорило шумнее и шумнее, перебивая друг друга и не дожидаясь очереди. “Алла-верды” и “Якши-иол” раздавались на всех концах.

Карганов принимал горячее участие в беседе.

— А ведь что ни го-го-говорите, а, все-таки, без-без-без дела скучно стоять здесь? — обратился он ко всему обществу.

— Да, да, скучно, Иосиф Иванович, хорошо бы дело… Отлично бы дело… надо бы подраться!.. Турку поколотить было бы славно, — послышались ответы со всех сторон. Я налил рюмки и чокнулся с соседом: “за успех первого дела”, — шепнул я ему.

— А что, турки не показываются около вас? — почти не заикаясь, обратился Карганов к князьям.

— Нет, нет, боятся нос показать! — в один голос ответили многие.

— Желал бы в первом деле быть с вами, Иосиф Иванович, — опять шепнул я.

— Здоровье достойнейшего и храбрейшего Иосифа Карганова, — вскрикнул хромой кн. Димитрий Гуриели.

Все заорали ура и очистили стаканы.

— А вы что же? — обратился ко мне Карганов.

— А я хотел предложить сначала другой тост: за здоровье Ивана Михайловича Лабинцева, — брякнул я.

— Почему за Лабинцева? — с любопытством спросил он.

— За то, что он с одною ротою взял в 29 году Карс, — наивно объяснил я.

— А что вы думаете, господа князья и дворяне? Ведь Полторацкий прав: он вспомнил факт исторический и совершенно верный!

Я опять подлил ему вина.

Карганов проглотил, чмокнул губами и проговорил:

— Не попробовать ли и нам что-нибудь около форта Николая, Александр Христофорович? — громко отчеканил он, хотя Бреверн сидел с ним рядом — Придвиньте сейчас из вашего [47] батальона две роты с двумя орудиями на поддержку храброй нашей милиции, и пойдемте на турок!

Среди восторженного “ура” присутствующих, все вскочили из-за стола, засуетились и разбежались по лагерю вооружаться. Бреверн поспешил отдать приказание Саверину скакать в лагерь. Батальонный адъютант выскочил из шалаша, но по нерасторопности поскользнулся, упал, стал садиться и сразу не мог попасть ногой в стремя.

— Ах, Боже мой, — заметил Карганов, — время дорого и этому конца не будет, — и при этом выразительно взглянул на меня.

— Лучше я поеду, — предложил я.

— Конечно, поезжайте! Александр Христофорович, Полторацкий сам поедет, это будет вернее, — одобрительно подтвердил Иосиф Иванович.

Приехав в лагерь, я тотчас же передал Пелепейку приказание начальника штаба идти с двумя ротами в прикрытие артиллерии, а сам, схватив свою 7-ю роту, бегом направился с нею к Чехатскому мосту. Прибежав к бивуаку милиции, мы застали ее совсем готовою, а Карганова, Бреверна и прочих офицеров, ожидающих моего прибытия.

— Вызовите ваших штуцерных вперед и с Богом, марш! — провозгласил наш главный начальник.

Толпы пешей милиции затеснились с обеих сторон, и все потянулось по лесистой дороге, к форту св. Николая. Не прошли и версты, как встретили препятствие: мост через поток был уничтожен турками. Артиллерии перебраться не было возможности, а потому Карганов, поручив поправку моста какому-то князю с милиционерами, двинулся вперед. Пройдя еще сажен двести вперед, мы наткнулись на второй мост, а сотню шагов далее на третий, также уничтоженный неприятелем. Оставив и здесь часть милиции, начальник отряда поручил общее наблюдение за наводкой мостов капитану Ежикову, а с нами продолжал путь, не останавливаясь.

В безмолвной тишине подвигался отряд; вскоре до нашего уха долетел неопределенный гул, оказавшийся прибоем морских волн. Еще несколько сот шагов, и густой лес стал редеть, показалась опушка, а вслед за нею открытая поляна, на оконечности которой, всего саженях в 150 от нас, на самом берегу моря, мы увидели значительных размеров новое турецкое укрепление. Выйдя из опушки, я тотчас направил штуцерной взвод (всего 24 человека) под командой Павла Полторацкого занять кладбище, всего в ста саженях приблизительно от крепости, а сам выстроил 7-ю роту во взводную колонну. За мной стала рота Кутлера, а вправо и влево в лесу рассыпалась милиция. [48]

Прошло две, три минуты, и в крепости раздался барабанный грохот, на вал высыпали красные фески, взвился на воздух густой клуб дыма, за ним второй, третий и четвертый, и над нашими головами с грозным ревом и свистом пронеслись тяжелые снаряды. Турки палили из четырех орудий без передышки. Первое ядро второй очереди прожужжало гораздо ближе предыдущих, а второе шлепнулось в десяти шагах и, оторвав по локоть руку капитана Рыланова, с визгом взлетело, как резиновый мяч, дугою к верху, в лес. Штуцерные мои из-за прикрытия каменных памятников стали выцеливать вертящихся на валу турок и изредка по ним пощелкивать, что несколько оживило наше комически-пассивное положение. Не имея под рукой артиллерии, нам и ружейного огня по пространству, нас разделяющему, открыть было невозможно, и мы, как дети, “сложив ручки на терпении” и стоя на одном месте, представляли из себя неподвижную мишень для практической стрельбы неприятеля. Между тем турки, заметив перелет своих снарядов, опустили подъем орудий и стали потчевать нас чугунным гостинцем с несравненно большею верностью. Кругом послышались стоны раненых и контуженных, а затем приволокли и несколько трупов убитых… Наконец, Карганов, все время недвижимо стоявший перед нами, приказал отозвать штуцерных и начать отступление.

Павел Полторацкий был также ранен в ногу. Еще на протяжении полуверсты турецкие снаряды пытались догонять наших по лесу, в щепы разбивая верхи деревьев, но, пущенные зря, уже не принесли нам вреда.

Таким образом кончился этот фарс, хотя и стоивший некоторым жизни.

Но из него вышло и нечто хорошее, — это то, что нас вернули в более теплые и удобные квартиры в Озургетах. Туда же прибыл спустя, впрочем, месяц князь Андроников с частью своего Ахалцихского отряда и, как старший по чину генерал-лейтенант, принял начальство над обоими соединенными отрядами. Я познакомился с князем Иваном Малхазовичем у Гагарина и, всматриваясь в его фигуру, нашел немалое сходство между ним и Викентием Михайловичем Козловским. У Андроникова, складом и ростом очень схожего с Козловским, было также любимое словечко, без которого он трех слов сложить не мог, но вместо “как, как” у него было “уже-уже”. Князь Иван Малхазович, из туземцев Грузии, безвыездно провел весь век свой на восточных окраинах Кавказа и в бесчисленных экспедициях на Лезгинской линии и в Дагестане, а так же в двух турецких кампаниях, стяжал себе славу очень храброго, смелого и донельзя решительного в боях офицера. Что касается анекдотов о нем, то они были бесчисленны. [49]

После победы под Ахалцихом был отслужен благодарственный молебен, после которого части, наряженные в парад, проходили мимо Андроникова церемониальным маршем. Горячо благодаря понтирующие взводы и полусотни пехоты и кавалерии, он к каждой части обращался с фразой:

— “Уже везде все вы молодцами, уже, и в бою и, уже, на параде, уже, спасибо вам, уже, братцы!” — Но в то время, как потянулась мимо него артиллерия, он круто отвернулся от нее и заговорил о постороннем предмете с окружающими. Начальник штаба, заметив неловкость князя относительно одного только рода оружия и зная за достоверное, что он не имел предвзятой мысли оскорбить людей, не менее других исполнивших накануне долг службы, позволил себе прервать речь его, почтительно напомнив:

— Ваше сиятельство, артиллерия проходит!

— Ну, уже, что-ж такого, уже, что она проходит?

— Вы не изволили поблагодарить ее, — поспешил оправдаться начальник штаба.

— Уже, что вы хотите этим сказать мне? — с окриком резко возразил Иван Малхазович. — Уже, вы что же меня за дурака, уже, считаете, чтобы я здесь на площади, уже, перед парадом стал бы разговаривать с медными пушками.

Никакие доводы не могли убедить князя, что над ним никто не хотел насмеяться.

А вот еще. Как-то с Чехатского мосту, окруженный большою свитою князей и дворян милиции, он полюбопытствовал сделать рекогносцировку прибрежья, по той простой причине, что ему еще в жизни не довелось никогда видеть море. Поехали и приехали к самому берегу. Князь Иван Малхазович взглянул вдаль и, не открыв ничего на горизонте, с неподдельным изумлением громогласно заметил:

— Ого, уже какое большое и того берега, уже, не видно!

10-го марта получены были две свежие и очень важные новости: первая о разрыве России с Англией и Францией, а вторая, как бы последствие первой, отъезд с Кавказа главнокомандующего, князя Михаила Семеновича. Вот тебе и адъютантство!

Оба сведения эти привез нам сам Нико Эристов, адъютант светлейшего, третьего дня выехавший из Тифлиса, после того как окончательно откланялся и распростился с маститым своим генералом.

Предстоят громадные изменения во всем. Вести борьбу с французами, англичанами и турками не так-то легко, как предполагалось при объявлении войны одной пошатнувшейся Оттоманской империи. [50]

Много вестников с театра войны начало являться к нам. Так на два дня приезжал генерал Багговут из Александропольского отряда. Интересно рассказывал он о делах Баяндурском и особенно Башкадыклярском. Накануне последнего сражения князь Бебутов, чувствуя себя не совсем здоровым, ранее обыкновенного лег в постель, отдав приказание ночью его не беспокоить, хотя с вечера были получены сведения о намерении турок сделать наступление на нашу позицию. В полночь лазутчики привезли сведения, что турки снялись с лагеря и готовы к движению, а два часа спустя прибыли и другие с предупреждением, что неприятель со всеми силами своими уже на пути к Башкадыкляру. Начальник штаба Александропольского отряда, князь А. И. Барятинский, не беспокоя больного князя Василия Осиповича, сам от себя известил начальников частей о полученных им сведениях, но, не уверенный в их справедливости, войск отряда еще не беспокоил, и весь лагерь спал крепким сном. На рассвете, не лазутчики, а казак с передового поста, расположенного за полверсты от лагеря, прискакал доложить в штаб отряда, что с кургана слышно движение наступающего неприятеля. Князь Барятинский, отдав войскам приказание строиться, послал разбудить начальника отряда, а сам, схватив несколько сотен казаков, пустился к кургану лично удостовериться в справедливости тревожных слухов. Но не успел еще князь доехать до аванпостов, как увидел, что полсотни казаков, занимавших курган, быстро с него спускается и стремительно отступает в лагерь. Разгадка стала очевидною: на кургане уже гарцевали всадники в красных фесках, занявшие высоты перед нашим лагерем прежде, чем успели наши войска построиться в боевой порядок. И это-то сражение, начавшееся при таких невыгодных для нас условиях, против неприятеля, в трое нас сильнейшего, — окончилось полным поражением врага. Турки, к вечеру того дня, потеряв артиллерию и весь обоз, искали спасения в бегстве, усеяв путь беспорядочного отступления бесчисленным количеством трупов.

Александр Феодрович Багговут, герой польской кампании, в которой он под Остроленкой поплатился куском собственного черепа, красавец собой, с мужественно-воинственною физиономией, пользовался общею известностью выдающегося кавалерийского генерала и назначен был начальником кавалерии в отряде князя Бебутова. Сюда он прибыл по своим частным делам и на другой день должен был ехать обратно. О князе Воронцове он не только подтвердил сведения, но даже читал в Тифлисе прощальный приказ его светлости по войскам отдельного Кавказского корпуса, с передачей командования ими [51] генералу Реаду. На этих днях князь Михаил Семенович оставляет Тифлис и направляется прямо в Дрезден, так как расстроившееся здоровье его требует заграничного пользования. Из свиты его большинство откомандировано в разные отряды, а некоторые отчислились от должностей с назначением в строевые части: князь Сергей Васильчиков принял Графский, то есть Ширванский полк, Дондуков отчислен в нижегородские драгуны, Меллер — в Эриванский полк, Лисаневич — в

стрелковую бригаду, Ермолов (Север) назначен адъютантом к московскому генерал-губернатору, Ростислав Давыдов отчислен в свой полк, Минквиц будет назначен губернатором, Ираклий Грузинский переименовывается в гражданский чин и проч., и проч. Словом, весь блестящий штат свиты его светлости рассеялся по белу свету, и даже князь Дмитрий Святополк-Мирский уходить в один из полков 20-й пехотной дивизии.

В воздухе запахло порохом. Всех толков слишком тревожного свойства не перечтешь. Западные державы еще сами ничего пока не предпринимали, и за Дунаем успеха не было никакого, осада Силистрии не подвигалась... Все как-то приуныли и потеряли уверенность в несокрушимую свою силу. Грустно убеждаться на деле, как быстро у нас меняется настроение: то мы шапками весь мир закидаем, то чуть... при одном известии, что французы и англичане хотят пожаловать к нам в гости.

На Пасху приехал к нам князь С. М. Воронцов прямо из Петербурга по высочайшему повелению осмотреть расположение Гурийского отряда. Его светлость, вместе с князьями Андрониковым и Гагариным и обоими штабами, объехал всю позицию наших войск, причем князь Семен Михайлович, особенно любезно приветствуя родных своих куринцев, поздравил их со скорым свиданием с товарищами 1-го батальона. Вечером, после долгих таинственных совещаний у начальника отряда, князь Воронцов сообщил мне о принятом решении, будто бы по его настоятельному требованию, бросить Озургеты и отступить отряду во внутрь страны к р. Риону. Мера эта, по мнению его светлости, была крайне необходима и вызывалась опасностью быть отрезанными неприятелем, который в самом непродолжительном времени намерен большими силами произвести натиск от Батума, в обход нашего отряда, к Кутаису.

Итак, приказом по отряду мы 21-го выступаем из Озургет на соединение с 1-м батальоном, уже отправленным из Александрополя к нам в западный отряд.

25-го утром подошли мы к Риону и на противоположном берегу широкой реки увидели своих однополчан, которые еще накануне прибыли сюда из Кутаиси и здесь ожидали нас с хлебом и солью. Я думаю, не у меня одного, при переправе [52] через Рион на пароме учащенно бился пульс от нетерпения скорей обнять друзей, ратных братьев своих.

Стоянка паша первоначально была около селения Усть-Цхени-Цхале, давнишний пункт оседлости всех водворенных здесь скопцов из России. На вид как мужчины, так и женщины, очень жалкой наружности, худые, желтые и старообразные, но в материальном отношении очень зажиточные и исправные. Хозяйство их в цветущем положении, и нигде мы не находили столько предметов продовольствия, как у них. Но вот мы очутились на Чехатаурских высотах. Игра в шашки началась: то мы в поддавки играли и турка пропускали в дамки, то опять начинаем партию в крепкую и лезем куда-то. Системы и планов действия не замечалось. А тут еще в берлоге два медведя не могли ужиться. Возникли всякие пререкания и шпильки между двумя штабами Ахалцихского и Гурийского отрядов, и хотя серьезной ссоры между Гагариным и Андрониковым не произошло, но, тем не менее, по неволе применяешь пословицу, что “когда бары дерутся, то у хлопцев чубы болят”.

Мы хотели сперва заманить к нам турецкие силы на открытую плоскость, имея пред собою в виде обороны широкую реку. Для достижения этого мы пожертвовали многим, не только Озургетами, но всею Гурией и взорванными на воздух укреплениями по всей Черноморской береговой линии, оголили Мингрелию и предоставили Сухумский отдел собственной защите.

Затем, простояв почти месяц в бездействии, двинулись опять-таки назад, то есть туда, где мирно и спокойно стояли мы до прибытия князя С. М. Воронцова.

А пока мы шли, много еще мытарств пришлось вытерпеть. Подходили мы к Зугзидам, резиденции владетельной княгини Мингрельской, переправлялись по горло в воде через реку Циву, делали ходы направо, налево и назад, стали на большой дороге к Редут-Кале и через сутки убежали назад, на пути разъединившись по частям. Главные силы ума, распорядительности и власти, то есть штабы с начальниками отрядов, вернулись за Рион, на старое пепелище; семь батальонов с артиллерией и частью кавалерии, под начальством генерал-майора Бруннера, поставлены здесь на Чехатаурских высотах, в 30-ти верстах от Риона, по направлению к Озургетам; а два батальона — один наш первый и один Литовский, под командой Нико Эристова, брошены в Ланчхутском ущелье, на западе, верстах в 20-ти от Риона.

С последними-то и поехал я как-то повидаться. Швахгейм и Борисов, очень дружные между собою, держали общее хозяйство и жили вместе в одной палатке. Радушный, милый и всегда веселый Иван Петрович Борисов лез из кожи, чтобы каждого [53] из гостей угостить и приголубить. Я на столько увлекся его рассказами о житье-бытье в их лагере, о забавных выходках их начальника Нико, об образе жизни товарищей и наконец о личных его заботах и трудах по кулинарному вопросу, что не обратил внимания на угрюмое расположение Швахгейма. Обед кончился, и по приглашению хозяев оставили душное помещение в палатке, чтобы занять в нескольких шагах, под тенью гигантского чинара, лежачее положение на раскинутых коврах и бурках. Обычный кофе и коньяк сыграли роль свою, когда стали собираться к нам братья по мундиру, и через четверть часа оказались на лицо почти все офицеры 1-го батальона. Явилась почтенных размеров посудина с кахетинским вином и непременный в торжественных случаях турий рог. Боринька ушел спать, а нас осталось в горизонтальном положении девять человек: Швахгейм, Мацкевич, два Хилинских, кн. Урусов, Саверин (приехавший сюда еще накануне), Воецкий, барон Ровен и я.

Разговор как-то не клеился, и я с изумлением заметил у всех вытянутые лица. Осушив первым и не без стараний целый турий рог, в полторы бутылки вина, я налил его и передал соседу справа, Швахгейму.

— Нет, — сказал он, — сегодня я не стану пить.

— Почему это? — спросил я, не мало удивленный, так как знал лучше других постоянную жажду моего друга.

— Мне что то не по себе, — сквозь зубы процедил Егор.

Я взглянул на него и испугался. Энергическое, а вместе и добродушное, лицо его было бледно, глаза горели и губы подергивались.

— Что с тобой, Егор, ты болен?

— Нет, пока здоров, а вот прошлою ночью я видел сон, и мне несдобровать, — решительно выговорил Швахгейм.

— Ты ли говоришь это, когда я всегда слышал от тебя, что все предчувствия — бабьи глупости и болезненные причуды?

— Прежде — да, а теперь вот чувствую, что меня скоро убьют, оставь меня, ради Бога.

Ошеломленный, я с досадой отвернулся и предложил рог Мацкевичу.

— Нет, меня тоже увольте.

— Да, что вы тоже сон видели?

— Сон не сон, а наяву отчетливо и ясно видел, что она зовет меня.

— Кого, ее, вы видели?

— Да смерть мою!

— Фу, ты пропасть, что за блажь вас обуяла сегодня, — раздраженно заметил я, в душе убежденный, что Мацкевич по [54] страсти рисоваться и сегодня хочет разыграть роль фаталиста Лермонтова.

— Господа Урусов, Саверин, Хилинские, Воецкий, Розен, выручайте меня и не заражайтесь примером, давайте пить, петь и веселиться! — крикнул я, но в ответ увидел только растерянные физиономии и на столько странное выражение лиц, что я стал уже сомневаться в том, что они играли комедию, но, тем не менее, вскочил на ноги, бросился в палатку, разбудил сладко заснувшего Бориньку и, излив пред ним все негодование на бабью команду, пригласившую меня на какие-то поминки, точно в насмешку надо мной, закричал Вавиле подать мне лошадь; не простившись ни с кем, вскочил на Али и в карьер умчался из Ланчхутскаго лагеря.

Это было 25-го мая, а в ночь на 27-е нас разбудили известием из Ланчхута. Накануне утром громадная масса турок обходным движением обрушилась на наших. Бой был страшный. Победа за нами, но досталась недешево: убиты Швахгейм, Урусов, Хилинский и без вести пропал барон Розен. Нижних чинов выбыло из строя 1-го батальона 240 человек. 29-го мая прибыли князья Андроников и Гагарин со штабами и поспешно начали стягивать все войска обоих отрядов. Предстояло движение вперед и бой на смерть. Отрицая прежде на земле все сверхъестественное и труднообъяснимое для моего слабого разума, я не допускал мысли о возможности внутреннего, невидимого, непонятного общения нашего с Божеством, но необычайное явление 25-го мая глубоко врезалось мне в память и потрясло все ложные во мне понимания. Почему из десяти собравшихся людей, как только один удалился спать, восемь сразу заговорили о смерти, а десятый, я, даже под давлением заразительного влияния окружающих, один не поддался этим непонятным ощущениям?!

Тело Розена было найдено среди груды мертвых на поле сражения около с. Нагаиты.

Итак, 29-го, мая на Чахатаурские высоты прибыло все начальство, а 30-го войска. Была дневка, и на 2-е июня назначено с утра выступление на Озургеты, по слухам, уже занятые турками. В числе собравшихся на наш бивуак, мы встретились с бароном Майделем, уже генерал-майором, и с Константином Христофоровичем Мамацевым, назначенным к нам начальником артиллерии. День 1-го июня прошел оживленно; забегал и Мазараки, который не преминул рассказать свеженький анекдот о нашем начальнике отряда.

За три дня до выступления главной квартиры с берега Риона, во время обеда, в столовой палатке у князя Андроникова, вошедший унтер-офицер ординарец шепнул на ухо Н. С. [55]

Мазараки и вызвал его за собою. Когда через несколько минут он вернулся, князь Иван Малхазович, заметивший его отсутствие, с любопытством спросил:

— Уже, что такое случилось?

— Слышна артиллерийская канонада, ваше сиятельство, — отвечал Мазараки.

— Уже, с какой стороны?

— С западной, — объяснил тот.

— Уже, странно! Кто же в той стороне может стрелять? — в недоумении соображал генерал.

— Я полагаю, — сказал Мазараки: — что это союзный флот бомбардирует Редут-Кале.

— Как Редут-Кале? Уже, что вы мне говорите, подполковнику редут Кале! Да знаете ли вы, — уже горячась возразил его сиятельство, — что отсюда до Редут-Кале более 100 верст, уже?

— Я знаю, ваше сиятельство, но по реке слышится очень далеко, а к тому же по линии звука и ближе.

— Уже, как вы смеете шутить! — вне себя, вскочив со стула, закричал Андроников, — уже, про какую линию звука вы толкуете? Здесь до самого моря непроходимые болота, трясины и канавы, что, уже, ни конный, ни пеший не пролезет, а по-вашему тут пройдет какая-то линия звука. Уже, прошу вас, господин офицер генерального штаба, твердо запомнить, что ваш ученый, уже, кант не дает вам права дерзко смеяться над вашим, уже, начальством.

Утром 2-го июня, тотчас после утренней зори, ударили сбор, а в 5 часов отряд уже вытянулся по склону Чахатаурских гор в равнину, по дороге к Озургетам.

В. Полторацкий.

(Продолжение в следующей книжке)

Текст воспроизведен по изданию: Воспоминания В. А. Полторацкого // Исторический вестник, № 7. 1893

ПОЛТОРАЦКИЙ В. А.

ВОСПОМИНАНИЯ

(Продолжение. См. “Исторический Вестник”, т. LIII, стр. 31.)

XVI.

Движение отряда к Озургетам. — Приготовления к сражению. — Приближение к реке Чолоку. — Турецкий лагерь. — Чолокское сражение. — Взятие неприятельских орудий. — Критическое положение. — Перевязочный пункт. — Смерть Воецкого. — Барон Рейне и Тыртов. — Песенник Костин. — Старик-священник. — Победа. — Обратное движение к Озургетам. — Бреверн и Кутлер. — Барон Майдель. — Потери 7-й роты. — Обещание Георгиевского креста.

Отряд наш, под начальством князя Андроникова, 3-го июня 1854 года, направлялся к Озургетам, и, по мере приближения, нас всех занимала мысль, как и где мы встретим турок. Версты за две мы увидели грозные укрепления, с очень крутыми профилями, воздвигнутая лицом к нам, при везде в совершенно беззащитный прежде город. Но движения не видно в них. Подходим ближе и ожидаем: вот-вот грянут из амбразур орудия, но везде царит мертвая тишина, и неприятеля нет и следа. В боевом порядке подступаем к самым городским воротам и убеждаемся, что город оставлен турками, отступившими в тот самый день, рано утром. Наши куринские батальоны, шедшие в [302] авангарде, были направлены на плоскую возвышенность, ту самую, где зимой мы стояли бивуаком. Здесь, в ожидании прихода арьергарда, назначен был отряду привал. Только что успели мы составить ружья, а Вавиле, моему человеку, поручено распорядиться самоваром, как невдалеке послышался шум и крик; бросаюсь туда и застаю драку между людьми моей и 8-й роты. Кто из них нашел большую палатку, второпях брошенную турками, — неизвестно. Но те и другие, во что бы то ни стало, хотели добыть ее для своего командира и прежде, нежели я успел разобрать спор, обе роты с торжеством волокли, каждая по половине, надвое разорванной, басурманской палатки.

В силу аксиомы, что одна половина несравненно более, чем ровно ничего, мы с благодарностью приняли этот свалившийся с неба приют для ночлега, а песенники мои тем временем в один миг искусно зачинили в нем прореху. Вид неожиданно явившейся на бивуаке зеленой, высокой, с медным шаром на верху, турецкой палатки привлек внимание начальства, и князь Андронников, а за ним князь Гагарин, подъехав к нам, слезли с лошадей и, расположившись на барабанах, с радостью приняли предложенный им чай. Был четвертый час по полудни. Солнце уже не парило и приближалось к вершине высокой горы, лежавшей около нас.

— Уже времени-то немного, уже, осталось, а барона Майделя все еще нет, — проговорил князь Андронников, не в первый раз взглядывая на часы свои. — Хотелось бы уже сегодня покончить с ними, а то уже, пожалуй, уйдут подлецы! — в раздумье повторял он.

Прошло еще с час времени. Князь Иван Малхазович кушал уже третий стакан чаю и докуривал пятую трубку, когда, наконец, показался барон Майдель. Прежде чем обратиться к нему, князь опять вытащил часы и, с видимым сожалением проговорив: “Нет, уже теперь поздно!” — стал расспрашивать прибывшего генерала, подтянулся ли весь арьергард, и не устали ли люди. На это Майдель ответил, что арьергард подошел весь, и хотя люди не очень устали, а все лучше было бы им дать отдых.

— Ну, уже, хорошо! Будем, уже, ночевать, а турок бить, уже, завтра! — решил начальник отряда. — Но не надо их, ужо, терять из виду, — добавил он. — Нет ли у вас расторопного унтер-офицера, чтобы, уже, послать его с пикетом вон на ту, уже, гору? — обратился ко мне князь.

Я вскочил с барабана и увидел в ближайшей группе солдат юнкера Ромарино, которого и представил начальству. Князь Андронников лично отдал ему приказание сейчас же взять трех рядовых и с ними взлезть на самую вершину конусообразной [303] горы (гора Экадия.), где и провести всю ночь, зорко следя за движением в неприятельском лагере, который должен быть верст за 8 от Озургет, на юго-запад; а если с горы лагеря не будет видно, то внимательно прислушаться к турецким выстрелам, сегодня на вечерней и завтра на утренней зорях, и обо всем, что заметит, немедленно сообщать по команде. Сделав это распоряжение, князь, перед

уходом к своей ставке, отдал приказание сейчас же пригласить всех начальников отдельных частей к нему, на военный совет. Через несколько минут мой сожитель, Бреверн (батальонный командир.), ушел, а я закусил, чем Бог послал, и растянулся на постели, устроенной мне на земле, в палатке.

Чего-чего не передумал я в течение двухчасового одиночества! Проследив мысленно все прошлое в моей жизни, я вник и в настоящее, но не сумел вывести что либо определенное... Какие только разнородные картины боя не представились моему воображению! На всевозможные лады рисовались передо мной различные моменты сражения, но — странно! — как раз совершенно не те, которым суждено было осуществиться несколько часов позднее!..

Мечты мои были прерваны появлением рядового Савельчука, присланного юнкером Ромарино с донесением, что неприятельского лагеря с горы не видно, но что явственно был слышен заревой выстрел, и именно с того направления, куда указывал его сиятельство. Отправив Савельчука к Бреверну для доклада полученных сведений князю Андронникову, я снова предался моим думам.

Вскоре пришел Бреверн, довольно спокойный. Пока он раздавался, я не хотел, в присутствии денщика Иоганна, его расспрашивать о принятом решении на военном совете, а он сам молчал. Наконец, Бреверн повалился рядом со мной на землю и затушил свечу. В воздухе было тихо, тепло... но на душе как-то жутко...

— Ну, что? — не выдержав долее, спросил я.

— Мы идем на штурм впереди всех, — самодовольным тоном ответил он. — Отстоял-таки права наши, и спасибо Майделю, он поддержал меня.

Затем Бреверн стал посвящать меня во все прения, предложения и споры всех участников военного совета. Много, очень много говорили и соображали все, а особенно господа офицеры генерального штаба. Выражения: диспозиция, дислокация, обсервация и демонстрация, встречались, сыпались, путались, мешались... [304]

— Но молодец, право, молодец, — князь Иван Малхазович! — с увлечением вставил Бреверн.

— А чем именно? — спросил я.

— А тем молодец, что он, как пароход, выпускал дым, выкуривая трубку за трубкой, и, не обращая малейшего внимания на все мудрые рассуждения, дал вволю наболтаться всем его окружающим, затем вдруг встал, махнул рукой и среди наступившая молчания отчетливо провозгласил: “Мое, уже, решение, завтра с рассветом бить турок! А теперь покойной ночи, уже, спать пора!”

Вполне соглашаясь со всей прелестью этого решения начальства, я обратился тогда к Бреверну с вопросом, лично касающимся меня и 7-й роты. И тут-то мы встретили очень усложненные препятствия. Приказано было на выезде из города, у самой подошвы высокой горы, на рассвете строиться отряду, 3-му батальону куринцев впереди, а после того двигаться к неприятельской позиции по дороге лесом. Следовательно, Бреверну предоставлялся порядок первоначального построения рот, но тут-то и загадка. Если построить батальон справа, впереди будет 3-я карабинерная, а затем 7-я, 8-я и 9-я роты. Если построить слева, впереди станет 9-я рота, аза нею 8-я, 7-я и 3-я карабинерная. В колонне в атаке, по уставу, в голове должна стать 8-я рота со знаменем, а за нею по полуротно справа 7-я, слева 9-я, а сзади

карабинерная. Нет такого построения, по которому можно было бы 7-ю егерскую роту расположить впереди других. Нет, нет и нет! “Но надо же изобрести его”, — в одно слово решили мы. — “Qui cherche bien, trouve!” — вскрикнул я и предложил следующую комбинацию. Батальон на указанном месте построить в ротных колоннах, развернутым фронтом, поручив знамя 3-й карабинерной роте, то есть поставить посредине три егерские роты: 7-ю на правом фланге, а 9-ю на левом, 3-ю же карабинерную в резерве за серединою батальона. После этого, когда двинемся вперед, то пойдет по лесной дороге, впереди всех, 7-я рота, за нею 8-я, 9-я и со знаменем 3-я карабинерная. Если по выходе из леса местность в виду неприятеля позволит выстроить фронт, то батальон станет в тот же порядок, как был прежде, если же нет, то построим батальон во взводной колонне, причем опять в голове будет 7-я рота, за нею 8-я, потом 9-я и сзади карабинерная. Бреверн признал мое соображение удобно применимым и, положив резолюцию: “быть посему”, пожелал мне покойного сна.

Через пять минут мы оба крепко заснули, а через четыре часа, то есть в третьем часу утра, нас разбудила свеча и поднос с чаем.

Было совершенно темно, когда мы вышли из палатки. О луне [305] не было уже помина, а заря еще не занималась. Люди, по кавказскому обычаю, пообедав до рассвета, толпились около потухавших огоньков; некоторые из них, сняв шапки и обернувшись на восток, нашептывая молитвы, набожно крестились. “В ружье!” — в полголоса скомандовал батальонный командир. Слова его повторились по рядам, тени быстро зашевелились и вскоре замерли в глубокой тишине. Имея в виду отданное приказание выступать отряду без малейшего шума, я, не здороваясь с людьми, проехал вдоль фронта роты и нетвердым от волнения голосом выразил им глубокую уверенность, что они и сегодня, как всегда, покажут себя истинными молодцами. “Постараемся, ваше благородие”, — шепотом отвечали они, но с таким успокоительным убеждением и верою в свои могучие силы, что в сущности не я их, а они меня в ту минуту ободрили... Знамя, без обычной по уставу церемонии, а втихомолку, но с должною торжественностью, было передано в 3-ю карабинерную роту, а затем 7-я рота, в голове батальона, двинулась справа по отделениям. В эту минуту стало светать. Спустившись по отлогости вдоль предместья города, у самой подошвы горы, на которой находился караул мой, егерские роты остановились и молча развернули фронт, а карабинеры заняли место в резерве, за 8-й ротой. Не прошло четверти часа, как подъехал к рядам нашим начальник отряда. “А что, уже, нет новых сведений?” — полушепотом спросил он. Я взглянул на гору и, заметив спускающихся к нам четырех людей, ответил: “Сейчас доложу вашему сиятельству”, — и рысью поехал к ним навстречу, а через минуту передал князю Андроникову известие, что в неприятельском лагере только что был дан заревой выстрел. “Ну, уже, слава Богу, не ушли. Значит, уже, побьем их”, — приподняв фуражку и, крестясь, ответил мне почтенный старик, но на столько громко, что в передних рядах его прекрасно слышали.

— Уже, уже ваш батальон готов? — обращаясь к Бреверну, спросил князь и, получив утвердительный ответ, добавил: — ну, так, уже, с Богом, марш!

С первого же шага, как по команде, обнажились 650 голов всего батальона, и широкие, во всю грудь кресты, возвестили восходящему солнцу, что на нехристей тронулась сильная рать православная...

Молча, в глубокой тишине, вытянулись мы справа отделениями, по узкой дороге, ведущей через густой лес к границе нашей, реке Чолоку. Вызванные мною стрелки, с жаждущим

особых отличий командиром их, князем Муцхеловым, отделились вперед, а за ними и рядом со мною, в голове 7-й роты, ехали Майдель и Бреверн. Прошли верст шесть в непрерывных между нами рассуждениях, примет или не примет неприятель сражение, [306] или же, чего Боже упаси, он бросит свою позицию и отступит. Из слов Майделя нам известно стало, что турецкая армия Селима-паши, стоящая перед нами, численностью в 35.000 человек, при 36 полевых орудиях, а мы вели против нее пехоты с кавалерией до 9.000 и 18 орудий, из которых один дивизион горных. Пропорциональная несообразность сил не только никого не смущала, но в те минуты даже не являлась на ум, всецело занятый единственным сомнением: “а ну, как турки уйдут!”.

Ко мне, на бывшем моем поросенке, подъехал мой любимец, молодой Воецкий. Он был сосредоточен и сумрачен. Заведя с ним разговор совершенно о посторонних предметах, я коснулся близкого его отъезда в Петербург и поручений, которые намерен дать ему. Он молчал, и когда я на него взглянул, на его губах скользнула не хорошая улыбка… В эту минуту из леса слева, полною ходом белого бачи, нагнал нас мой Вавила с густой связкой крупной и сочной земляники в руках.

— Не угодно ли ягод? — спросил он.

Я отказался, а Андрюша Воецкий протянул к нему руку со словами:

— Дай-ка мне, Вавила, в последний раз полакомиться.

— Полноте грешить, Андрей Григорьевич, Бог милостив, скушайте на здоровье, а мы еще долго поживем с вами, — возразил Вавила, передавая ему весь букет ягод.

— Нет, голубчик, меня сегодня хватят сюда, — указывая на лоб, ответил Андрюша.

Прошли еще с версту по извилистой дороге. Внезапно лес оборвался, и мы, передовые, выехали на опушку. Перед нами расстилалась обширная плоскость, перерезанная в саженях пятидесяти от леса рекою Чолоком, а по ту сторону ее гладкою местностью сажен на 300 или 350, в конце которой, на большой возвышенности, несколько амфитеатром стоял громадный, по числу палаток, неприятельский лагерь. Картина была прекрасная. Серебристые отблески прозрачной воды Чолока, по обеим сторонам реки изумрудного цвета обширный луг и на горе светло-зеленые палатки, резко выделяющиеся на темном фоне густого леса, стоящего по ту сторону позиции турок, — все освещенное ярко-красными лучами восходящего солнца, — представляли глазам дивную панораму. В немом созерцании приостановили мы лошадей, и сердце у нас упало. Во вражьем лагере была мертвая тишина, и ни одной живой души не было видно. “Ушли”, — была первая мысль, мелькнувшая у всех. Лица вытянулись с выражением досады, негодования. “Ушли, подлецы!” — громко прервал гробовое молчание Майдель. “Ушли!” — хором повторили мы. 7-я рота уже выстроилась во взводную колонну, за нею вытянулась 8-я… В эту [307] минуту на горе раздался барабанный бой, тотчас же принятый на всех фасах неприятельской позиции. Как в потревоженном муравьином гнезде зашевелились турки, и бесчисленное количество красных фесок, выскочивших из палаток, забегали по всем направлениям лагеря.

В одно мгновение лица всех в авангарде нашем просияли. Не ушли, значит — победа, — выражалась твердая уверенность в глазах каждого. “3-й батальон вперед!” — раздалась оживленная команда Майделя. Я бегом повел 7-ю роту к реке. “За мной, ребята!” — крикнул я своим молодцам и, толкнув шенкелями Али, спрыгнул в воду не глубже брюха лошади. В эту

минуту на горе взвился клуб дыма, и первое ядро с раздирающим воздух свистом шлепнулось рядом со мною, прямо в реку, всего меня окатив свежею водою. Выскочив на левый берег Чолока, я отвел роту сажен на 50 вперед и выстроил ее опять в колонну. Неприятельские снаряды, с двух фасов из 16 орудий, направленные на переправу войск наших через реку, перелетали над нашими головами. Беглым шагом догнали и пристроились за мною остальные роты 3-го батальона. Позиция, нами занятая, была от неприятельской приблизительно на 300 или 350 сажен, но мы стояли на открытой плоскости внизу, а турки за земляными укреплениями на высотах, командующих всею окружною местностью. Большие выгоды были на их стороне, но... Бог за нас, твердо верилось нам.

Уставив глаза на вражий стан, я увлекся, на сколько позволяло расстояние, подробным изучением неприятельской позиции, и без помощи подзорной трубы мне удалось отчетливо рассмотреть расположение левого фаса, который, по всем вероятиям, нам предстояло брать штурмом. На самом исходящем пункте, в углу, между левым и передним фасами, воздвигнута была батарея на четыре орудия, затем тянулись ложементы, занятые низамом (регулярная пехота) в числе двух таборов (батальоны). Они упирались в батарею на два орудия (как раз против нас), а рядом ложементы и низам, не менее одного табора; потом опять батарея на два орудия и снова ложементы, скрытые здесь буфом, поросшим лесом, вплоть до заднего фаса укрепленной позиции. Эту наглядную съемку я вскоре дополнил еще одним важным открытием, а именно, что перед батареей на два орудия, расположенной против меня, турки строили на откосе другую, как бы передовую батарею, но до прихода нашего они не успели ее окончить и вооружить, а потому у подошвы ее, под самой насыпью, образовалось мертвое пространство. Важность этого обстоятельства, случайно подмеченного мною, впоследствии вполне оправдалась и имела громадное для меня значение в самую минуту штурма. [308]

Сделав эти наблюдения над расположением частицы неприятельских сил только на фасе, против нашей колонны, я посмотрел, что делалось у нас, и увидел вправо от моей роты снятый с передков дивизион горной артиллерии, а по другую его сторону наш 1-й батальон, также как и мы, во взводной колонне. За каждым из Куринских батальонов на дивизионной дистанции стояли в резервах: за 1-м батальоном 1-й же, а за нашим 2-ой батальоны Литовского полка. Этими четырьмя батальонами, или штурмовой колонной, как их назвали потом, командовал генерал-майор барон Майдель, взявший от нас к себе в ординарцы земляка своего, барона Ренне, и все время находившегося при 1-м батальоне Момбели. Оглянувшись назад, я увидел остальные части, еще только дефилирующие из опушки леса. Они под командой генерала Бруннера вытягивались правым плечом вперед и, не переходя Чолока на нашу сторону, направлялись влево от нас, занимать позицию против переднего фаса неприятельского укрепления. Тем временем турки стали сосредоточивать свой артиллерийский огонь не по передвигающимся вдалеке войскам Бруннера, а по нашим батальонам, недвижимо ставшим от них в трехстах саженях. На пять выстрелов со стороны неприятеля горный дивизион едва успевал отвечать одним, да и то сравнительно слабым, так как по малому калибру орудий все гранаты далеко не долетали до назначения и безвредно разрывались на воздухе. Адский свист турецких снарядов с первой же минуты живо воскресил в моей памяти 15-ое февраля 1851 года. Но здесь оказалось несравненно лучше и хуже! Лучше оно было тем, что масса снарядов, летевших на нас непрерывным букетом, настолько оглушала, что напряженные нервы притупились и не могли поддаваться мучительному испытанию при ожиданиях единичных снарядов, а хуже оно было по существенному вреду, который наносили они опустошением в рядах наших. Страшная обстановка разрушительного действия артиллерии стала наглядно

заявлять себя с самая начала боя. Шлепнуло ядро, как мягкое тесто; оборачиваюсь на раздирающий душу стон и вижу почти целый ряд, пятый с левого фланга, скошенный одним махом, “Прими вправо!” — вырывается из пересохшая горла неизбежная команда. Не успели еще вырванных жертв оттащить за фронт, как раздался оглушительный треск, за ним бесконечный шум и удары, и в густом, непроницаемом дыму отчаянные крики, вопль и стоны. Что такое? Турецкая граната одарила в наш зарядный ящик горного дивизиона и, взорвав его на воздух, послала кругом до ста мучительных смертей!... Ядра и гранаты, сменяясь каждые 10, 15 секунд, неслись на нас, на лету пересекая дорогу, обгоняя друг друга и всюду поражая смертью или [309] ужаснейшим увечьем... Минуты жестоких нравственных испытаний тянулись неимоверно долго. Сосредоточенно и недвижимо стояли нижние чины. Улыбки, не только шутки, среди них подметить было не возможно. Строгие физиономии их ясно говорили, что они глубоко сознают все величие переживаемых минут. Офицеры, тоже молча, переминаясь с ноги на ногу, стояли на флангах своих взводов, угрюмо приглядываясь к редеющим в них рядам. Впереди, против средины роты я стоял, как истукан. Али поминутно прижимал свои красивые уши, фыркал и дрожал всем телом; несколько раз, когда слишком близко от него пролетал снаряд, делал неожиданные лансады в сторону. Рядом со мной стоял на сером кабардинце Бреверн. Можно было заметить судорожные поддергивания на сухом лице его и две слезинки, выступившие на глазах, на нижних ресницах, от усиленного напряжения и внутренней борьбы. Он упорно молчал, видимо стараясь одолеть неуместные конвульсии в скулах.

“Шлёп!” — особенно резко и очень близко от нас хватило ядро. Быстро обернувшись, я еще успел уловить взглядом разлетающиеся радиусом части человеческого тела... На этот раз снаряд ударил в самую средину туловища рядового Рябова и, в прах покончив с ним, оторвал по одной руке обоим соседям его, песенникам Костину и Малюкову. Окровавленных потащили назад на ампутацию, а от Рябова на его месте остались какие-то безобразные клочки, обутые в оба сапога его...

Моряки говорят: “Тот не молился Богу, кто в бурю не был в море!” Это, быть может, справедливо, но если бы они стали на наше место, то, не знаю, не предпочли ли бы они привычную им борьбу со стихиями? А во всяком случае усерднее и теплее ли нас стали бы они возносить мольбы Творцу Небесному?..

Тревогу в неприятельском лагере забили по моим часам в 5 часов 50 минут; теперь было ровно половина седьмого, значит прошло всего 40 минут, показавшиеся нам целою вечностью. Нетерпенье идти вперед, покончить так или иначе, достигало высших пределов; но арьергардные войска наши все еще тянулись из леса.

Рядом со мною, страждущим убийственным бездействием, в десяти шагах, с увлечением работал лихой артиллерист, красивый брюнет, Молоствов. Прыгая, как лев, от одного орудия к другому, он сам быстро наводил их, энергично распоряжался и, с увлечением командуя расторопной прислугой, старался по мере сил из детских орудий своих нанести возможный отпор неприятелю. Вот подскочил он ко второму орудию, проворно у самого хобота стал на одно колено и, прикинув диоптр, начал через него проверять прицел. Загудело неприятельское ядро и, с ревом рассекая воздух, срезало номер [310] с банником, повалив бездыханный труп, поперек тела орудия. Молоствов, в тот момент придерживавший правою рукою диоптр, не дрогнув почти и не меняя своей позы, левою рукою спихнул с орудия

помешавший к наводке труп убитого и, еще раз взглянув на прицел, вскочил на ноги и звучно пропел: “Второе!”.

В восторге от виденного я чуть не бросился с лошади расцеловать его… Но в это время со стороны колонны Бруннера показалась группа скачущих к нам всадников. Князь Андронников около нас сразу осадил коня и спросил: “Уже, как идут дела?” Бреверн подвинул к нему лошадь и в полголоса доложил, что жарко и потеря велика. “Ну, уже, сейчас можно будет идти!” — ответил князь Иван Малхазович и, дав шпоры, умчался к 1-му батальону. В это время фельдфебель доложил мне, что из строя роты вырвало 42 человека. Люди сбросили с себя мешки и наострили уши.

Не прошло двух минут, как с правого фланга от генерала Майделя раздался барабанный бой наступления. Мы ринулись вперед.

Увертюра кончилась. Взвился занавесь перед настоящим представлением.

Сумею ли передать все, что произошло в знаменательный день 4-го июня, — не знаю. Долго собирался с духом, попробую.

С места бросились нижние чины во всю прыть, бегом. Неприятельский огонь усилился до высшей степени. Все батареи не только левого фаса, но частью и переднего были направлены на батальон наш. Казалось, не 16, а сто громадных пастей извергали из себя чугун, в разных видах. За ядрами и гранатами, как стаи птиц, неслись картечные залпы. В рассыпную, на бегу, люди, стараясь не отставать от хвоста моей лошади, поминутно спотыкаясь, падали и не вставали. Среди общего стремления и суматохи, уже миновав более половины расстояния до неприятельских окопов, Али вдруг грохнулся на землю. Мигом соскочив с него, я кинулся вперед пешком, направляясь прямо на помеченное мною мертвое пространство и, изрядно запыхавшись, достиг его, однако, прежде всех. Здесь под прикрытием насыпанного сверху выступа я остановился и, взглянув на пройденное нами поле, ужаснулся. Оно буквально усеяно было белыми точками… Многие из них шевелились, напрасно силясь подняться на ноги, и снова падали пластом. Почти одновременно со мною прибыл Бреверн, а за ним подбегали отсталые люди мои. Старики, прослужившие верою и правдой более двадцати лет, по несколько раз на Кавказе раненые, не могли угнаться за молодыми и, напрягая все силенки свои, тяжело переводя дух и обливаясь ручьями пота, с великим трудом, но, все-таки, достигали, того [311] благодатного уголка, где нам казалось, что мы у Христа за пазухой. Передохнув минуты две-три, я хотел лезть вперед и броситься на штурм, но Бреверн удержал меня в ожидании остальных солдат роты. Из офицеров моих на лицо был один Хилинский, а нижних чинов около 40, но еще через минуту подбежало до 20; вот невдалеке уже видна красивая фигура Кутлера, и я опять предложил Бреверну идти в атаку, ежеминутно ожидая возможность, что неприятель сам перейдет в наступление и с горы ударит на нас всеми силами. На этот раз Бреверн согласился с моими доводами, и мы вместе с ним, впереди 7-й роты, стали подниматься на уступ. Вскочив на гребень, мы сразу очутились не более, как 25-ти шагах от турок, встретивших нас залпом всей пехоты и картечью из двух орудий. Серый кабардинец Бреверна повалился, придавив собою ногу длинновязого седока, и пока он успел освободить ее, я, по воле Провидения оставшись цел и не вредим, с быстротою молнии ринулся на батарею и в исступлении, не обратив внимания на окружающего неприятеля, обеими руками ударил по двум орудиям, громко провозгласив: “вот он, Георгиевский крест!” Но это увлечение сошло мне без пагубных последствий только потому, что по пятам моим

стеною лезла горсть удальцов 7-й роты. С невыразимым восторгом увидел я отважную, чисто геройскую работу этих славных людей, в один миг переколовших штыками всю артиллерийскую турецкую прислугу и грудью бросившихся на ложементы. Низам не выдержал, дрогнул и побежал. В то самое время, когда я брал первую батарею, Кутлер с 8-ю ротою, вскочив вслед за мной на гребень, с первого взгляда убедился, что тут ему поживиться нечем, а потому повернул в пол-оборота направо и, не взирая на убийственный огонь целого табора низама, бросился на следующую батарею, с которой турки уже спешили увезти орудия. Одно успело ускакать, а другое, только что взятое на передки, тронулось с места, когда молодец Кутлер на длинных ногах своих наддал ходу и, опередив запряженное шестериком темно-серых коней второе орудие, ловким ударом шашки ссадил переднего ездового, чем и дал возможность солдатам своим схватиться за колеса, переколоть прислугу и захватить трофей… В минуту штурма я тоже обнажил шашку и знаю, что держал ее наголо, около взятых орудий, но наносил ли ею удары, решительно не помню, хотя мои ребята утверждают и даже присягнуть готовы, что будто бы я изрубил несколько человек турок… Но мне кажется, что если судить по запекшейся крови на моей шашке, то она легко могла быть окрашена впоследствии моими собственными средствами… Вот, что юнкер Леус на самой батарее поднял на штык верзилу турка, уже запахнувшего надо мной [312] ятаган, то хотя я сам этого в пылу не видал, но все солдаты это подтвердили.

Начало боя было отлично, хорошо, но, увы, еще много предстояло впереди. Низам, опрокинутый на левом фасе, показал тыл и бросился бежать через весь лагерь, под защиту противоположная фаса. Наши егеря на них насели и штыками кололи задних беспощадно. На пути преследования по лагерю мы наткнулись на большую и роскошную палатку Селима-паши, на коновязь с массою привязанных чистокровных коней, видели серебряную посуду, ковры и даже дымящийся кофе утреннего кейфа, но, ни до чего не прикасаясь, перли все вперед, вдогонку за бегущими. Вскоре пришлось приостановить порывы наши. Неприятель на правом фасе, пропустив мимо себя разбитых на левом фасе, сам с барабанным боем и со значками впереди стройною стеною повел атаку на нас, в ту минуту широко рассыпанных по лагерю. Минута настала критическая. Бреверна в строю не видно, Кутлера тоже, а люди всех егерских рот перемешались между собою. Но вот Руденко. Вместе с ним нам удается сомкнуть роты и, открыв меткий огонь по наступающему низаму, остановить, а затем дружным ударом в штыки, отбросить его назад. Но в эти тяжелые моменты что-то щелкнуло меня по правой ноге так сильно, что я едва устоял. Подбежавшие ко мне два солдата хотели поддержать меня, но я пересилил боль сквозной раны пулей и, крепко перетянув ногу носовым платком, отправил услужливых людей к своим постам. За минуту передо мной ранен и Хилинский, остальной офицер 7-й роты. Убыль в людях ежеминутно возрастает, а поддержки все нет и нет, но, что хуже всего, Бруннер мешкает атакой с фронта, и передний фас неприятеля, обернувшись к нам лицом, немилосердно строчит нас с фланга. Оглядываясь кругом себя, я увидел одних лишь турок, явно готовящихся снова вести атаку со всех сторон. Положение с ничтожным числом людей в строю становилось очень опасным, а когда турки на угловой батарее обернули 4 орудия налево кругом и стали нас осыпать картечью с тыла, — оно стало совсем невыносимым. Нужно было на что-нибудь решаться, и я решился: взять с бою эту батарею. Но когда я сомкнул людей своих, то оказалось, что у меня под ружьем не более 35 человек, и я с горечью понял всю несбыточность моих расчетов… Но вот вижу вправо от меня стройно стоящую роту. Сгоряча, забыв простреленную ногу, бросаюсь к ней и узнаю Пелепейка с карабинерами.

— Яков Дмитриевич,--говорю ему: — у меня перебито столько людей, что один сделать я ничего не в силах. Георгия я уже взял, а вот и вам: возьмите ту батарею. [313]

— С великой радостью бы пошел, — отвечал он, — но не смею. У меня на руках знамя, да к тому же моя рота осталась единственным резервом; литовцев за нами нет, и их не видно.

— Но, голубчик, как же быть? Ведь батарею ту необходимо взять, пока она окончательно не перебьет нас всех, — горячо доказывал я.

— Хотите один взвод?

— Хочу, хочу, давайте скорее! — обрадовался я.

— Прапорщик Воецкий, ведите вперед 3-й взвод, — приказал Пелепейко.

Андрюша, с блестящими глазами, довольно твердым голосом скомандовал, согласно правилам устава, первому полувзводу направо, второму налево и проч... Но стало нестерпимо жутко, люди валились, как мухи, и я, не дождавшись маневров Воецкого, крикнул ему: “поддержите меня!” — и повел горсть людей моих по направлению батареи. Не сделал я десяти шагов, как пуля ударила и обожгла мне левую сторону живота, я покачнулся, упал, но прежде чем опять подбежала ко мне конвойная пара, я уже вскочил на ноги и, заревев “ура”, очертя голову, кинулся на угловую батарею. Из всех четырех жерл своих она на 50 шагов плюнула в нас ближнею картечью, и как не уложила всех, не понимаю. В ту минуту я забыл не только обе раны свои, но я забыл все, решительно все на свете, даже забыл оглянуться, остался ли кто за мною. Я видел лишь перед собою четыре блестящих медных пушки и мотавшуюся около них артиллерийскую прислугу в ярко красных фесках. Еще издали наметив одного с банником в руках, я с ожесточением, уже в двух шагах от батареи, занес шашку... но, быстро опустив руку, завертелся волчком и хлопнулся на землю... Солдаты меня подхватили и вытащили из ада, но батареи не взяли...

Очнулся я на том самом спуске, который за три четверти часа назад мы штурмовали с Бреверном. Теперь осторожно, под руки, сводили меня с горы два рядовых моей роты, а впереди, в нескольких шагах, один поддерживал также офицера. Не в силах будучи справиться с раненым, он опустил его на землю и бросился ко мне на встречу. “Ваше благородие, — умоляющим голосом пристал растерявшийся солдатик, — прикажите нарядить мне рабочих нести прапорщика”. — “Какого прапорщика?” — спросил я. — “Воецкого, ваше благородие”. — “Боже мой! И его не миновала чаша!” — подумал я, подходя к нему. — “Куда вы ранены, Андрюша?” Он тяжело хрипел, но, узнав мой голос, открыл глаза и протянул мне руку. Схватив ее, я повторил вопрос, но он не отвечал. “Должно быть, в шею, ваше благородие”, — вмешался тот же солдат 3-й роты. Воецкий за последнее время потолстел, а потому воротник сюртука его, растянув [314] крючки, тесно охватывал шею. “Расстегните воротник”, — проговорил я, крепко пожимая руку моего любимца. Как только воздух коснулся перебитого горла, Андрюша икнул, захлебнулся и отдал Богу младую душу свою. Крестясь, я зарыдал, а солдаты потащили меня далее. Последняя рана моя, в упор из пистолета, разбила кисть левой руки, всадив в нее пулю и весь заряд с пыжом навылет. Кровь била ключом сильнее и больше, чем из прежних обеих ран вместе. Голова стала кружиться... но я, услышав сзади громкие крики “ура”, обернулся, и глазам представилась опять угловая батарея. Теперь ее брали карабинеры, и снова бой тут закипел горячий. Куринцы были за ложементом в пяти шагах от батареи, а Пелепейко с шашкой наголо у самых орудий, но, видно, с той стороны подоспело

туркам подкрепление, и карабинеры быстро отступили. Заколдованная батарея вторично не далась нам.

Слабость от большой потери крови заставляла меня подвигаться очень медленно. Опираясь на двух проводников моих, я с великим затруднением передвигал ноги, когда случайно сделался свидетелем потрясающей сцены. Литовский второй батальон Пьера Дембинского стоял на полпути от прежней позиции к неприятельским окопам и не хотел идти далее. За удалением куда-то батальонного командира, впереди батальона я застал У. И. Карганова. Красноречиво, но тщетно убеждал он солдат идти на выручку куринцев, брошенных без поддержки в неприятельском лагере, — литовцы мялись и ни шага вперед. Карганов слез с лошади, стал перед батальоном и громко скомандовал: “Батальон, дирекция направо, вольным шагом, марш!” — сам зашагал впереди, но, обернувшись увидел весь батальон недвижимо стоящим на месте. Я видел и слышал все это, но сначала не поверил глазам и ушам своим, в силу мелькнувшего предположения, что со мной начались галлюцинации, бред. Но, увы, все виденное мною оказалось не только справедливым, но даже слабее грустной действительности, так как до появления перед литовцами Карганова истощал напрасно все средства подвинуть их Мазараки.

В ту минуту долетел до нас отчаянный крик: “Барина моего убили, где барин мой?”. По голосу я узнал Вавилу, который чёрт знает откуда, как сумасшедший, не узнавая меня, стремглав скакал мимо. Его, однако, остановили, ссадили с лошади, общими силами взвалили меня на седло и, поддерживая с двух сторон, повезли к перевязочному пункту. Через несколько минут я потерял сознание и лишился чувств, когда же пришел в себя, то увидел кругом медиков и во главе их Брашниевского.

Не знаю почему, но на первых порах почтенный наш [315] доктор не хотел придать должного значения изувеченной руке моей и, не приступая к ее осмотру, исключительно занялся исследованием ран в живот и ногу. Первоначально распоров мой сюртук, разрезав штаны и сапог, словом оборвав на мне все одеяние, наложили повязки на живот и ногу. Дошла очередь до бедной руки. Обмыв кровь и отделив посторонние вещества, в виде клочьев пыжа и частиц рукава, Брашниевский, пристально рассмотрев вход и выход пули, совершенно разворотившей кости левой руки моей, прозондировал насквозь рану.

— Будете резать? — спросил я.

— Полагаю, что пока можно обойтись, — отвечал хирург.

— Доктор, — решительно заявил я, — если думаете резать, то режьте сейчас, а после я не позволю.

Он опять внимательно исследовал рану и окончательно решил, что можно избегнуть ампутации. Слава Господу!

Через четверть часа, с перевязками на трех ранах, меня уложили на землю, в ряды наших раненых офицеров, которых я застал на перевязочном пункте в огромном количестве. Над каждым из них, для предохранения от солнечных лучей, были устроены из свежих ветвей шалашики, из-под которых раздавались жалобы и стоны. Сосед мой справа лежал на боку, ко мне спиною, и сильно охал.

— Кто это? — спросил я.

— Я, Ренне, — с трудом ответил страдалец.

— Куда вас хватили? — полюбопытствовал я.

— О-ох, плечо разбили! — простонал бедный немец.

— Ваше благородие! — нагибаясь ко мне, проговорил подошедший солдат, — пожалуйте вашу шашку, я пойду, нарублю вам леса, на холодок, — и, не ожидая моего ответа, он осторожно приподнял меня и снял с плеча азиатскую в серебре шашку, недавно приобретенную мною у злополучного соседа.

После перевязки я чувствовал себя хорошо. Правда, раны мои горели, но самая теплота эта была не только сносной, но даже приятной.

— Ренне! — окликнул я. — Ренне!

— Was wunschen Sie? — нетерпеливо отозвался он.

— Ist es sclion Zeit ein Schnaps zu trinken? — шутя спросил я.

— Gehen Sie zum Teufel! — безцеремонно оборвал меня немец.

В эту минуту из другого ряда раненых один стал подниматься, упираясь руками на прислуживавшего ему солдата, и сильно хромая, подошел ко мне. Это был Тыртов.

— Владимир Алексеевич, — умильно проговорил он, — я слышал, что вы предлагали закуску, попотчуйте меня, мои запасы все пропали. [316]

Миша Тыртов, молодой офицер нашего полка, из гвардейской юнкерской школы подпрапорщиков, был известен у нас завидным аппетитом, но, чтобы последний доходил до подобных размеров, я никогда не допускал; час назад он был ранен при 8-й роте в обе ноги выше колен навылет.

Между тем Вавила все время возился около меня; вероятно, в хлопотах забыв строжайшее запрещение доктора пить воду и мое преследование у него этой пагубной для его здоровья страсти, он добыл у фельдшера манерку с водой и, сидя около меня на корточках, стал глотать с прохлаждением. Я приподнялся и здоровою правою рукой вышиб у него далеко отлетевшую манерку.

— Господи! Уж как изувечен, а все еще дерется! — с комической рожей, подняв руки к небу, гнусаво взвыл Вавила.

— А вот и лесок я нарубил вашему благородию, — раздался голос солдата, сваливавшего около меня большую охапку свежих зеленых деревцев.

Я взглянул на него и узнал песенника Костина, усердно втыкающего у меня прутья в изголовье.

— Костин! — окликнул я, сообразив, что утром, рядом с Рябовым, его зацепило ядро. — Костин, да ведь ты ранен!

— Точно так, ранен, ваше благородие, да уж меня порешили! — отвечал он, продолжая возиться у меня за спиною.

— Как порешили? — ничего не понимая, переспросил я.

— Руку-то мне уж обрезали, ваше благородие! — улыбаясь сказал он, показывая при этом ампутированную по самый локоть левую руку свою.

— Бога же ты не боишься, Костин, бередишь свою руку! — в изумлении вскрикнул я.

— Ничего, ваше благородие, надоть теперь о ротном командире позаботиться, а что моя рука, она теперь ничего, ваше благородие! — совершенно спокойно и равнодушно рассудил он.

Так вот он, солдат кавказский! Ему в 6 часов утра ядром оторвало руку, а в 8 он оставшеюся другою рубит лес на холодок своему ротному. Ничего такого я не читал, не слыхал и никогда не воображал. В истории каких народов можно встретить подобный пример самоотвержения? А Костин совершил это так естественно, просто, будто калач сел. С подобными людьми нельзя не творить чудес.

Между тем наше положение было далеко не отрадное. Вдали гудела канонада и трещала сильнейшая ружейная пальба. На перевязочный пункт раненых подносили мало, потому что пришло известие очень грустное: несколько минут после отбитой атаки моей, а затем и карабинеров, налетел дивизион турецких улан, в куски изрубивший всех раненых наших, а в числе [317] их Хилинскаго и Саверина. Первый батальон наш повел на штурм сам Майдель, но не на левый фас, рядом с нами, а в обход кустарника, на тыл укрепленной позиции, и хотя ворвался в лагерь, но тоже понес чувствительные потери. Убит там один Мацкевич, а раненых много, и между прочим ординарец Майделя, барон Ренне. Но что всего тревожнее, это ужасная неизвестность о том, что творилось в ту минуту на поле сражения. Третий батальон понес такую ужасную убыль в людях, что удержаться ему одному, в неприятельском лагере, не представлялось никакой возможности, а на подкрепление резервами можно ли было рассчитывать, после того, что я лично видел у литовцев? Вправо, в полуверсте от перевязочного пункта, не участвуя в бою, спокойно стояла масса милиции Гурийской, Имеретинской и Мингрельской, в числе до 4.000 человек, но пронеслись слухи, что и она не идет на неприятеля, пока не разъяснится вопрос: “чья возьмет?” то есть другими словами: если наши войска одолеют турок, то и милиция бросится помогать поражению, а если, чего Боже упаси, наши не устоят, то и милиция, прославленная под Шехветели, кинется добивать нас. Все это привело в совершенное отчаяние тех, кто еще был в состоянии мыслить и соображать. А время все шло, был уже десятый час на исходе, Слева от меня на пустое место положили кого-то, с обмотанною головою. Всматриваюсь ближе, узнаю князя Муцхелова и слышу его историю. Как только забили наступление, и тронулись штурмовые колонны, он пустился бегом вперед, конечно, с предвзятым намерением первым вскочить на батарею, но злая судьба не допустила этого, и гнусное ядро сильно контузило ему правую сторону головы и правую руку. Муцхелов упал, и его только недавно подняли, принесли и перевязали.

— Капитан, — тихо и жалостно проговорил он, — ради Бога прикажите разыскать моего верхового коня. На нем бурка и все вещи мои.

Я поручил Вавиле отправиться на поиски. Прошло с четверть часа, и Вавила возвратился, рыдая во всеуслышание.

— Что с тобой?

— Я, я, сейчас видел, я… — будучи не в силах высказаться и заливаясь слезами, бормотал он.

Наконец он рассказал, что как раз наткнулся на провозимое мимо нас подбитое орудие наше, на которое взвалено было тело убитого Андрея Григорьевича Воецкого. Не зная о его кончине раньше, Вавила был жестоко поражен. Что касается лошади Муцхелова, то о ней он тоже принес неутешительные для владельца сведения: горнист 7-й роты, взявший ее у князя, убит, а лошадь неизвестно куда делась. В это время как-то [318] громче и отчетливее послышались мне со всех сторон стоны, жалобные охи и вскрикивания раненых. Видно, некоторых уже стали сильно разбирать мучительные страдания, а другие просто отходили... Окинув взглядом все обширное пространство, всплошную занятое шалашами над страждущими и умирающими, я увидел поразительную, но вместе с тем и высоко-умилительную картину. Старичок-священник, греко-армянской церкви, седой, с тонкими чертами лица, с крестом в руке и запасными св. Дарами через плечо, на четвереньках двигался между шалашам и, не миновав ни одного шалашика, он вползал в каждый и всем страдальцам, именем Божественного Утешителя, благоговейно предлагал целование св. Креста, а умирающим читал отходные и приобщал св. Тайн. Его глубоко религиозное, полное христианского смирения лицо, его тихий и мягкий голос и беспредельная вера во всемогущую помощь Божью благотворно повлияли на всех, без различия вероисповеданий. Когда этот представитель на земле Спасителя подполз к мнимому атеисту барону Ренне, последователь Лютера прильнул ко кресту губами и заплакал не от физической боли, а от избытка восторженных чувств любви и надежды. От души сожалею теперь, что мне не удалось разведать, кто и откуда был этот посланный Богом служитель Его, который сумел в такие минуты вселить столько чистых верований. В эту самую минуту пришла к нам счастливая весть. Турки окончательно разбиты на голову и, бросив лагерь, всю артиллерию, обоз, знамена, значки и до 6.000 пленных, бегут к Батуму. Восторженными, но очень дребезжащими голосами выкрикнув “ура”, приветствовали все раненые давно желанного вестника. Вскоре за ним явились подробные известия о том, как сражение приняло столь блестящий оборот. Наш 3-й батальон, обессиленный чрезмерном уроном, не мог один бороться с наплывающими силами неприятеля и, потеряв всякую надежду на подкрепление резервами, отступил к линии левого фаса, первоначально взятого им штурмом. Начальство, также утратив всякую надежду на мужество литовцев, послало в помощь куринцам, на неприятельский лагерь, Донской № 11 полк, а за ним конную дружину грузинских дворян. Командир донцов, старый молодец-полковник Харитонов, впереди полка своего влетел в лагерь, но моментально вместе с конем своим сложил голову от пуль, попавших в лоб обоим. Со всем тем казаки уже ворвались в укрепленный стан, а вслед за ними вскочили и дворяне грузинской конной дружины. Одновременно с этим, с фронта повел атаку Бруннер, а наконец, надумавшись вдоволь, полезли и литовцы. Турки, разбитые на всех пунктах, обратились в постыдное бегство, и для их преследования явилась и пресловутая наша милиция, которая во славу царя и отечества, [319] а более наживы ради, ожесточенно начала добивать остатки расстроенного неприятеля. Как бы ни было, а наша взяла. Не вдаваясь в критический разбор Чолокского сражения, скажу теперь, как и тогда: “Велик Бог русских!”. Вскоре прибыли к нам от 3-го батальона люди, отряженные для устройства нам носилок, но в числе их никого из 7-й роты. Было уже около двух часов по полудни, когда понемногу стали укладывать и поднимать раненых. В ту минуту, как карабинеры готовились взяться за меня, мне сделал визит Бреверн, то есть его поднесли ко мне. Рана его в ногу была не опасна. Мы вместе тронулись в обратный путь в Озургеты. Девятиверстная дорога от Чолока до города показалась мне чрезвычайно длинной. Носильщики, шагая медленно в ногу, останавливались каждую четверть версты для отдыха или смены, а тем временем нескончаемой вереницей обгоняли нас пешие и конные, все довольные, громко ликующие. На полпути нас нагнал поезд

начальства. Князь Андронников подъехал к моим носилкам и пытался заговорить со мной, но я чувствовал себя до того утомленным и слабым, что ничего не понял и не отвечал ему. Еще до заката солнца шествие наше втянулось в Озургетские улицы; при выходе на площадь я услышал около себя чье-то распоряжение нести меня прямо на гауптвахту. Помню, как я, не открывая глаз, соображал тогда, недоразумение ли это, или случайность. Вавила, давно ускакавший вперед, теперь что-то командовал и суетился. Но вот всякое движение сразу прекратилось, и топот тяжелых ног солдатских по полу замолк. Кругом водворилась тишина, я открыл глаза и увидел себя на кровати, в углу большой, но очень сумрачной комнаты. В противоположном углу лежал Бреверн, а по другую сторону двери — Кутлер. Мне страшно захотелось спать, но, увы, уже начинало мозжить разбитые кости, и боль ежеминутно усиливалась, в руке особенно. Всякое помышление о возможности сна исчезло, и я, пересиливая страшные страдания, пробовал говорить с сожителями, которые оба были бодрее меня. Кутлер был ранен в руку, выше локтя, пулею, которая затем пронизала ему и грудь справа налево; последняя рана, очень серьезная, казалась легче моих на том основании, что Кутлера перевязали немедленно, я же потерял слишком много крови, пока доставили меня на перевязочный пункт. Пришел офицер нашего полка, Борисов, уселся на кровати Бреверна и подробно стал рассказывать деяния в тот день 1-го батальона. Явился и Майдель. Честный и храбрый немец этот, без всяких излишних фраз и излияний, обошел наши койки и сердечно по-русски, крепко пожал нам здоровые руки. Уже стало смеркаться, когда к нам пришли князья Андронников и Гагарин, Карганов, Мазараки, Девель, Щербаков и прочие чины их штабов. Передать [320] то, что наговорил мне лестного и приятного кн. Андронников, я не могу уже потому, что всего не помню. Знаю только, что он, несколько раз обнимая меня, повторял слова: “Теперь вы затмили славу Щеголева!”... Опять я вскоре забылся, хотя слышал хлопанье дверей, шаги и разговоры. Борисов, вторично пришедший к нам от начальника отряда, передал о разрешении кн. Андронникова барону Майделю, как начальнику штурмовых колонн, сейчас же сделать представление 3-го батальона к Георгиевскому знамени, а Бреверна, Полторацкого и Кутлера к Георгиевским крестам. Слышал я сначала очень довольный голос Бреверна, потом на немецком языке рассуждения и наконец настойчивые просьбы его об исходатайствовании позволения представить к Георгию не двух, а всех четырех ротных командиров 3-го батальона. Майдель колебался, но Бреверн выставил много веских к тому аргументов и, говоря о Руденке, перечислял три раны в грудь, полученные им на левом фланге Кавказской линии.

— Наконец, Егор Иванович, — с жаром говорил Бреверн, — если я прошу небывалых наград, то согласитесь, что сегодня за 3-м батальоном и небывалые заслуги! Из 16 офицеров легло 14, а из 630 нижних чинов более половины.

Майдель ушел, обещая лично принести ответ князя Андронникова. Борисов добровольно, помимо звания командира роты, принял на себя адъютантство обоих батальонов, а потому то и дело уходил и приходил с различными сведениями, которых обстоятельно, за потерей фельдфебеля, он никак собрать не мог. Второпях он сообщил, что курьером в Петербург с донесением на высочайшее имя посылают Нико Эристова, как героя Негоитского дела; что нам трем раненым, в виде особого внимания, отведена гауптвахта, как единственное строение в Озургетах, пощаженное турками, что само начальство расположилось в полуразрушенном доме, и что приехавшие сегодня из Тифлиса генерал Грекулов (бывший командир, до Сергея Васильчикова, Ширванского полка) и граф Сологуб расположились оба на ночлег посреди площади.

— А не знаете ли, Иван Петрович, зачем пожаловали сюда эти господа? — спросил любопытный Бреверн.

— Грекулов для производства инспекторского смотра обоим Куринским батальонам, а гр. Владимир Сологуб, чтобы собрать материалы для истории настоящей войны в Азиатской Турции, порученной ему для составления по высочайшей воле, — ответил Боринька, снова убегая от нас.

На столе горели свечи, но в большой и тусклой комнате, с закоптелыми стенами, было мрачно. Разбитые кости в руке стало ломить невыносимо; чтобы не кричать, я рвал зубами простыню. [321]

— Владимир Алексеевич, пришел фельдфебель, — возвестил Вавила, впуская в дверь пришедших людей.

Прежде чем я успел указать унтер-офицеру Чечневу на батальонного командира, которого он в полусвете не заметил, он вытянулся молодцом и отрапортовал:

— Господин штабс-капитан, по 7-й егерской роте все обстоять благополучно!

— Благополучно? — с иронией спросил я.

— Точно так, ваше благородие! — бойко отхватил Чечнев.

— А сколько у нас потери?

— Вот извольте, ваше благородие, сведения! — ответил он, подавая мне на клочке бумаги рапортичку.

Я ничего не мог разобрать. Вавила схватил со стола подсвечник и посветил мне. Я прочел: “Убитых 49, раненых 85, без вести пропавших 2, итого 136”... Слезы у меня брызнули из глаз.

— Сколько же осталось? — захлебываясь невольно задал я вопрос.

— С кашеварами и хлебопеком 12 человек, ваше благородие, — с оттенком гордости отчеканил Чечнев.

— А кто там еще пришел? — со стоном от страшной боли спросил я.

— Ефлетора, ваше благородие! — приняв на шаг в стороны, отрапортовал Чечнев.

Перед моей кроватью стояли два солдата, с банниками и пальниками в руках. Слабая голова моя отказалась понять, в чем дело, и для чего они тут.

— А вот, ваше благородие, и расписочка адъютанта в получении, — вмешался опять Чечнев, суя мне в руку какую-то бумажку.

С великим трудом разбираю следующее:

“Июня 4-го дня 1854 года, дана сия расписка в том, что от 7-й егерской роты, Егерского князя Воронцова полка, приняты мною две турецкие десятифунтовые медные гаубицы, в чем и удостоверяю своею подписью и приложением отрядного штаба печатью.

“Отрядный адъютант штаба, штабс-капитан Щербаков”.

— Скажите братцы, как удалось вам привезти орудия начальству? — забывая все боли, с любопытством спросил я.

На этот вопрос Чечнев наивнейшим тоном доложил следующее:

— Когда ваше благородие унесли от нас, мы угловой батареи одолеть не могли: уж оченно нас мало осталось. Гляжу — из унтер-офицеров я один, остатние перебиты, а рядовых никак семь человек. Думаю себе, куда нам деться. Дай мол [322] укараулим наши утренние орудия от турок, да на грех и от наших. Тут мы около самых этих пушек ловко примостились, пока резервы не подоспели и не погнали турок из лагерей. Мимо нас народу тогда много пробегло и к орудиям нашим, ваше благородие, совались, да, нет, шалишь! Мы им прикладами дорогу указали. А опосля я вздумал вот этого самого ефрейтора, Ермошина, дослать сюда за ранеными лошадьми, он, спасибо, живо обернулся, по четыре коня к орудию запрягли, да сюда и вывезли, а здесь их сдали и на всякий случай в приеме истребовали расписочку от начальства.

После отрадного сообщения этого не прошло и получасу, как на платформе послышались шаги, и совершенно неожиданно в поздний час опять ввалилось к нам начальство со свитою. Князь Иван Малхазович в неописанном восторге рассказал о лихой проделке нижних чинов 7-й роты, как за ужином вызвали Щербакова, как он сам с фонарями выходил на площадь, к орудиям, как унтер-офицер не хотел отдать их без расписки и проч.

— Уже, послушав этих молодцов, я сам, уже, приказал адъютанту выдать им, уже, форменную расписку, а теперь лично хочу еще засвидетельствовать вам о подвиге ваших, уже, героев, — закончил князь. — На ваше представление, полковник, уже изъявляю согласие, — обратился он к Бреверну, — с одним условием, проставьте, уже, в списке не по старшинству чинов, а по заслугам, и, разумеется, штабс-капитана Полторацкого, уже, первым.

В. Полторацкий.

(Продолжение в следующей книжке)

Текст воспроизведен по изданию: Воспоминания В. А. Полторацкого // Исторический вестник, № 8. 1893

ПОЛТОРАЦКИЙ В. А. ВОСПОМИНАНИЯ (Продолжение. См. “Исторический Вестник”, т. LIII, стр. 301.)

XVII.

Страдания от ран. — Граф Сологуб. — Генерал Грекулов. — Отправление в Кутаиси. — Внимание князя Гагарина. — Турманидзе я его истязания. — Плен семейства Чавчавадзе. — Высочайшее пособие. — Победа при Кюрук-Дара. — Улучшение здоровья. — Неожиданная болезнь Бреверна. — Отъезд в Тифлис. — Исключение меня из списка представленных к Георгиевскому кресту. — Неприятное объяснение с князем Барятинским. — Благородство Майдели. — Отъезд из Тифлиса. — Флигель-адъютант Александровский. — Приезд в Петербург. — Граф П. Д. Киселев. — Князь и княгиня Воронцовы и их дружеское участие. — Д. А. Милютин. — Великая княгиня Мария Николаевна. — Военный министр князь Б. А. Долгоруков. — Генерал Катенин.

Так кончился достопамятный в моей жизни день 4-го июня 1854 года, и наступила страшно мучительная и длинная ночь на 5-е июня, в течение которой в нашей келье стоял общий и непрерывный стон. Нетерпеливо дожидался каждый из нас утра, но оно принесло новые страдания. В девять часов, на площади, против самой гауптвахты пашей, выстроились все войска для молебствия и парада, причем было сделано 101 выстрелов артиллерийских. От них застонала земля, зазвенели стекла и заплясали наши кровати, но как подействовали они на нашу нервную [584] систему, сказать трудно. Каждый удар орудия, потрясая организм, вызывал такие невыносимые боли в разбитых членах, что после десятого выстрела ни один из нас уже не мог воздержаться от рыданий и отчаянных стонов; и так продолжалось до самого окончания победного торжества на площади. В тот день решено было, после дневки в Озургетах, отправить всех раненых в Кутаиси, для чего и приступлено было к изготовлению носилок, но прибежал Боринька и в отчаянии сообщил о назначенном на тот же день инспекторском смотре Грекулова, после солдатского обеда. В подобное суетливое время могли ли идти на ум парады и смотры? Вряд ли когда-нибудь инспекторский смотр был более не кстати, как на другой день после сражения, вырвавшего почти всех офицеров и половину наличных людей из строя? В течение дня нас посетила масса знакомых. Пришел побалагурить и граф Владимир Сологуб. Этот гость невольно заставил на несколько минут забыть физические страдания и вызвал улыбки на запекшихся губах наших... Без умолку, но игриво и забавно, рассказывал он нам разный вздор в прозе и стихах. Повествуя нам о панике, произведенной среди народонаселения Тифлиса тревожным известием о прорыве через границу и наступлении на город громадных полчищ курдов, он будто бы на армянском базаре успокоил волнующиеся толпы жителей импровизированными стихами, которых, к сожалению, помню лишь окончание:

“Если курды и придут, — Не бойся, Грузии народ! Тебя, наверное, спасут Реат, Реут и Ротт!”

По поводу своего приезда в Грузию граф Сологуб ожесточенно относился к враждебным передрягам, которые застал между штабами Андронникова и Гагарина. Красноречиво и, конечно, логично выставил он все невыгодные последствия этого междоусобия для пользы общего успеха на театре войны и тут же рассмешил нас своим экспромтом:

“За чьи же прегрешения Попал я в Кутаиси, Где штабы, до сраженья, Для пробы подрались?”

Графа Сологуба сменил вбежавший к нам Боринька. С веселой, только ему свойственной, улыбкой пустился он рассказывать о состоявшемся сейчас смотре строгого педанта Грекулова. Его превосходительство, с подобающею его чину важностью, изволил прибыть на площадь к выстроенным Куринским батальонам. Обойдя фронт 1-го батальона, где у каждой роты спросил претензии, генерал петухом подошел к 3-му батальону [585] и начал со строгого замечания заведующему батальоном, капитану Руденку, что он не так и не там, как следует, встретил по уставу инспектора с рапортом. Рудой, никогда не боявшейся встречать неприятеля, всегда трусит перед начальством, — растерялся, сконфузился... Генерал сердито обошел 3-ю карабинерную роту и отрывисто скомандовал: “справа и слева заходи, марш!” — строгим голосом опросил людей и с суровым видом направил шаги к следующей роте, но, увидев выстроенный десяток людей, при одном унтер-офицере, его превосходительство грозно налетел на них и свирепо спросил: “это что за команда?” “Это не команда, ваше превосходительство, а 7-я егерская рота, штабс-капитана Полторацкого, которая вчера первою на штурм ходила!” — громко отрапортовал молодчина Чечнев. “Генерал осекся, и, как вы думаете, господа? — спросил Боринька: — что сделал его превосходительство?” Взял под

козырек и, сказав: “громкие вам честь и слава, ребята”, — крикнул сам “ура”, взбросив папаху на воздух… Я, я, извините меня, господа, — смущенно оправдывался неподражаемый Боринька, — но я с этой минуты все прежние причуды простил генералу Грекулову!” Вообще, по-видимому, по случаю торжества победы всепрощение сделалось общим. Накануне, в день Чолокской битвы, по отряду ходила молва о предании Дембинского-Пьеро военному суду, а на другой день он помилован, вероятно, впрочем, с оговоркой, что “это уже в последний раз”.

Вторую ночь я провел хуже первой. Началась лихорадка с жаром, ознобом, бредом и таким ужасным можжением в раздробленных костях, что я думал не дожить до утра и стал даже молить о смерти, как прекращении всех этих истязаний, но не она, а целая куча мучителей докторов явилась утром в нашу мрачную обитель, и началась систематическая перевязка, вызвавшая свежие потоки крови. Я опять лишился чувств и, но смотря на нюхательные спирты и втирания, очнулся уже за чертою города, на 3-й версте Кутаисской дороги.

Описывать семидневное странствование от Озургет до Кутаиси я не стану. Большей частью во время тяжкого похода этого я находился в забытьи, но без минуты настоящего сна, без пищи и питья, за исключением микстур по рецептам. За пять верст до Кутаиси выехал к нам полковник Бартоломей, состоявший по особым поручениям при главнокомандующем, и сообщил нам, что квартира в городе нам приготовлена в доме военного губернатора, очень любезно предложенном нам милейшим князем Александром Ивановичем Гагариным. У въезда в город нас встретила значительная толпа местных жителей. При приближении наших носилок они засуетились, сняли шапки и, крикнув “ура”, окружили нас, требуя от солдат передачи нас [586] на их руки. Народ настаивал в своих требованиях и, наконец, при вмешательстве Бартоломея, завладел нами и на руках понес по главной улице Кутаиси. “Стой, стой!” — раздался голос сверху. Выглянув из-под навеса, я увидел Майделя, который выскочил на балкон занятого им двухэтажного дома. С искренним участием расспросив меня и Бреверна о состоянии наших ран, он сообщил по-немецки, что представление к георгиевским крестам давно уже послано в Тифлис, и что утром сегодня прислан громкий приказ по отдельному кавказскому корпусу о славном сражении на Чолоке. Нас понесли далее; на дороге адъютант князя Гагарина передал нам приглашение его занять помещение в казенном доме, куда он и проводил нас, окруженных толпою любопытных. У подъезда, поблагодарив наших почетных носильщиков за оказанную нам великую честь, мы были внесены в прекрасную, светлую, а главное прохладную комнату, где стояли две кровати и до последней мелочи все было предусмотрено заботливостью гостеприимной и в высшей степени любезной княгиней Тассо Гагариной. Сам дорогой наш хозяин, князь А. И. Гагарин, встретил нас с левой рукой на перевязи, и мы, к великому удивленно, только здесь узнали, что и он ранен пулею, но, к счастью, без перелома костей.

Рядом с нашим помещением, за стеною, отведена была комната родственнику хозяйки дома, князю Нико Чавчавадзе, всаднику дворянской конной дружины, тяжело раненому в плечо. О близком соседстве его мы узнали только на третий день по внезапно долетевшему до нас его крику. Причина этому явлению не замедлила обнаружиться. Чавчавадзе обратился за помощью к местному знахарю, который и совершал ему операцию вырезывания из спины пули. Говорят, князь Нико долго крепился и терпел страшную боль без малейшей жалобы, и только в последнюю минуту испустил вопль, но на другой же день этот атлет, как встрепанный, сел, с сквозною раною, на коня и верхом пустился догонять свою дружину. Про комплекцию этого уроженца благословенной Грузии дальнейших комментарий приводить не

надо, но и про исцелителя его ходит здесь громкая слава. Местный житель, имеретинец Турманидзе, приобрел медицинские сведения, которые с необыкновенным успехом с давних пор он уже применяет, и отбивает практику у нашего медицинского персонала. Мы тоже по совету друзей отдали себя в руки туземного варвара. Брашниевский, любимый ученик Пирогова, конечно, надулся и перестал посещать нас, громко порицая за малодушие променять цивилизованное лечение на бессмысленное шарлатанство. Все это нас не мало раздражало, и хотя мы с Бреверном крепились, но в душе и он, и я уже сознавали, что слишком опрометчиво отдались лечению Турманидзе. [587]

В первых числах июля разнесся слух, подтвердившийся на другой же день изустным рассказом Кулебякина, о страшном происшествии, случившемся на Лезгинской линии. Партия горцев, под предводительством сына Шамиля, спустилась с гор и в то время, как одна часть ее показалась на плоскости около Алазани и там произвела переполох, стянув туда все наличные силы, другая бросилась на Цинандали, имение князя Давида Чавчавадзе, где, предав все огню и мечу, захватила в плен все семейство его и князя Илико Орбелиани и безнаказанно увлекла в горы. Оплошность непростительная со стороны главы дома, князя Давида, так как слухи о намерениях горцев ходили в крае давно, и появление чеченцев по сю сторону гор предвиделось и даже ожидалось в прошлом еще году, когда барон Врангель присылал меня же курьером с извещением о сборах партий, а впоследствии эти сведения, повторившиеся снова, и были причиной странствования нашего 3-го батальона до Каха. Как бы то ни было, но положение несчастного князя Давида ужасно. Его жена и трое детей, вдова Илико Орбелиани с сыном, княжна Баратова, француженка гувернантка, нянька с грудным ребенком, все в плену, и об участи их ничего не известно. Когда на Алазани произошла тревога, и сам князь Давид ускакал по тому направленно, к подъезду дома в Цинандали уже поданы были экипажи для бегства дам с детьми в Закаталы, но хищные джигиты влетели на двор и распорядились иначе. Взбросив княгинь и всех детей на седла, они увлекли их в горы с такою быстротой, что вернувшиеся с тревоги Алазанской всадники не могли уже и помышлять о возможности нагнать их. Говорит, что князь Давид от отчаяния близок к сумасшествию.

На днях приезжал в Кутаиси Гриша Чертков с поручением раздачи денег от Высочайшего имени всем раненым, офицерам по 160 рублей тяжелым и по 100 легким. Познакомив Черткова с Бреверном, я вступил с ним в прения о сумме, которую он, согласно предписанию, ему данному, обязан был выдать мне, и Гриша пришел к убеждению, что я имел справедливые права на пособие по трем ранам. Таким образом, совершенно неожиданно я получил 450 рублей, и лечение знаменитости, как Турманидзе, обошлось мне даром в материальном отношении, но не в физическом. Боже, какие страдания вынес я по его милости!

В последних числах июля получена была радостная весть о славной победе александропольского отряда под Кюрук-Дара. Турки разбиты на голову и потеряли всю артиллерию, лагерь, обоз и бездну пленных. Неприятель был в три раза сильнее наших войск и начал с того, что, вытянув длинную, боевую [588] линию, стал обходить наши фланги. Кн. Бебутов, находясь в третьей линии, очутился около наступающей на тыл наш неприятельской колонны и, как говорят злые языки, несколько растерялся. Тогда начальник штаба его, кн. Барятинский, решился, во что бы то ни стало, прорвать центр турецкой боевой линии, для чего и пригласил ему в том содействовать начальника артиллерии, генерала Брюммера, и начальника кавалерии, Багговута, одновременною с ним атакою. Брюммер стянул к избранному ими пункту три батареи и повел 24 орудия развернутым фронтом прямо на

турецкую армию. В поддержку артиллерии кн. Барятинский лично направил кавказскую гренадерскую бригаду, а Багговут на обоих флангах подготовил к атаке кавалерийские свои части.

Самые восторженные отзывы ходят о Брюммере, который в эту торжественную минуту, когда решался вопрос: быть или не быть, с необычайным хладнокровием, впереди наступающей артиллерии своей, как на параде выровненной в нитку, шагом гарцевал на великолепном коне; подведя батареи на полтораста сажен от надвигающейся на нас турецкой силы, с барабанным боем, в атаку, он остановил их, курц-галопом отъехал к правому флангу и стал равнять свои орудия. “Шестое орудие накати вперед, одиннадцатое осади назад! Дальнюю картечь! Выровняться, смирно!” — звонко командовал генерал, не смотря на лезущего неприятеля, которого торжествующие лица уже легко можно было разглядеть простым глазом. “Батарея!” — с выдержкой и протяжно пропел Брюммер: — “пли!” и тотчас же: “жай!”. Второе “пли” последовало за первым и отстранило необходимость в дальнейшем действии артиллерии. Два залпа ее из массивных полевых 24 орудий, картечью, не только уничтожили стройность первой неприятельской линии, но поразили вторую и третью, произведя повсюду страшное опустошение. Этим моментом воспользовался князь Барятинский. Он повел гренадерскую бригаду, построенную колоннами, в штыки и, опрокинув неприятеля, обратил его в полное расстройство. Поражение довершила кавалерия лихими атаками Нижегородцев и линейных казаков. Турки, разбитые в центре, не устояли нигде, и с этой минуты победа наша была решена окончательно. Громкие трофеи, однако, не достались нам без очень чувствительных потерь. В числе многих раненых, Дондуков, командовавший драгунским дивизионом, тоже тяжело ранен. С донесением о славной победе под Кюрук-Дара поскакал в Петербург адъютант кн. Бебутова, Александровский, родной брат Василия, бывшего походного казначея князя Воронцова.

В первых числах августа знакомый офицер Иванов писал из Тифлиса о кавалерской думе (состоящей из [589] георгиевских кавалеров), вторично собранной по распоряжение командующего корпусом Реада с целью сокращения лиц, представленных от нас к Георгиевскому кресту. В первое заседание дума судила и рядила и вынесла определение сократить 18 человек на 14; в число сокращенных вошел и наш Пелепейко. Второй же раз кавалерская дума отказала еще двум (и по-моему совершенно справедливо) князьям милиционерам.

Между тем, срок, обещанный Турманидзе для совершенного излечения Бреверна, давно истек, а он не только не был здоров, но не мог двинуться с постели. Что касается моей руки, то один вид ее приводил всех в содрогание. Тиран-знахарь оторвал до 20 осколков костей, но за всем тем рана не думала заживать; отделение материи было еще обильнее, чем прежде, а опухоль всей руки от пальцев до локтя достигла необычайного размера. Немало стоило нам дипломатических хлопот, чтобы залучить к себе Брашниевского, который, увидев состояние ран наших, всплеснул руками. Турманидзе мы заплатили половину условленного вознаграждения и распростились с ним, поступив снова в распоряжение Брашниевского. На другой день он пришел к нам с двумя ассистентами и приступил к операции моей руки, сделав сквозной прорез до ладони. Боль была мучительная, особенно при разрезе наружных покровов, но по совершении операции, когда вытекла оттуда вода в размере полоскательной чашки, опухоль моментально спала, и общий объем руки принял более нормальный вид. Прошло несколько дней лечения, а положение не улучшалось. В Брашниевском я стал

подмечать сначала недоумение, а затем какую-то решимость предпринять что-то энергичное. Предчувствие у меня явилось, и я связал Бреверна честным словом, что какой бы оборот ни принял курс нового лечения, но он ни в каком случае не допустит ампутировать моей руки. Мера эта оказалась с моей стороны вполне благоразумной, так как на другой же день эскулапы явились к нам и совершенно скрытно от меня пустили в ход ухищрения меня нахлороформировать и отнять руку. Когда я, час спустя, пришел в себя и не увидел подозрительных личностей, Бреверн рассказал мне, что он стойко защитил меня от насилия, грозившего мне со стороны Брашниевского, хотевшего уже воспользоваться забытьем моим, чтобы пустить в ход припасенные инструменты. Не встреть он протеста моего сожителя, руки бы у меня теперь уже не было. Трудно объяснить причины, по которым с этой минуты состояние руки стало заметно изменяться к лучшему, и не далее, как через неделю, когда улучшение ее стало очевидным, Брашниевский сам покаялся мне в своих коварных замыслах. Наконец, я впервые вышел в сад. Воздух живительно на меня подействовал, [590] и я в тот день не только с аппетитом сел тарелку супу, но, что того важнее, ночью в постели, а уже не в кресле, часа четыре спал крепким сном.

Вскоре высланы были Бреверну из отрядного штаба знаки военного отличия, в размере, лично определенном исправляющим должность главнокомандующего, а именно: в 7-ю роту 24, в 8-ю — 18, в 3-ю карабинерную и 9-ю — по 12 крестов на роту.

Так как с 4-го июня возвратилось в строй очень небольшое количество людей, бывших легко ранеными, то в гурийском отряде 3-й батальон числился пока в составе полбатальона, а 7-я рота — в составе одного взвода, да и то не сильнее, как в 40 человек, составляющих как бы кадр роты. Гораздо большее число людей моих лежало в Кутаисском госпитале, куда я и выехал в первый раз с предназначенными крестами. Солдаты, оставшиеся в живых, очень обрадовались, увидя меня на ногах. Многие из раненых 4-го июня сошли уже в могилу, остальные поправлялись и частью выйдут в неспособные, а частью вернутся под знамена. С истинным удовольствием встретил я в госпитале героя Костина, очень изменившегося, но также подающего надежды на выздоровление. После ампутации на поле сражения, ему ее повторили здесь, гораздо выше локтя, но когда гангрена показалась и здесь, то несчастному вылущили руку в плече. Он исстрадался, худой и желтый, но духом также богатырски бодр. Очень счастлив был я видеть неподдельную радость этого истинного молодца, когда я на госпитальный халат его прицепил Егория. После этой поездки позволил я себе быть в кутаисском городском саду, где множество публики окружило меня с большим любопытством; здесь встретил Евгения Понсет, брата Nathalie Милютиной, и с ним, а также Кулебякиным, по прозванию немирным, посетил вскоре городской бал, где, каюсь, к ужасу докторов, проявил много слабохарактерности и молодечества по части спиртных напитков. На другой день в 8 часов назначен был отъезд наш с Бреверном. На дворе стоял тарантас совершенно уложенный, в комнате у нас все прибрано и увязано, оставалось запрячь лошадей, сесть и ехать. Но вышло совсем не то.

Я лег в постель и после бессонной ночи, проведенной мною накануне в шумной компании, не был расположен поддерживать разговор с Бреверном, бывшим в тот вечер особенно оживленным. Под шумок его речей я невольно закрыл глаза и скоро заснул крепчайшим сном.

Около 7 часов утра открываю глаза и вижу Бреверна в постели, обернувшегося лицом к стене. Полагая, что люди наши проспали, я громко зову Александра Христофоровича и сообщаю ему,

что уже восьмой час. Бреверн не откликается и лежит не [591] шевелясь. Вбегает Иоганн и осторожно, шепотом сообщает мне, что ночью с его барином случилась беда, что он очень занемог, были доктора, возились около него более двух часов и уходя приказали его не тревожить. Не понимая, что именно случилось во время непробудного сна моего, я вскочил с постели и начал одеваться, когда на цыпочках вошел Брашниевский и таинственными знаками пригласил меня выйти за ним в смежную комнату.

— Дело плохо с сожителем вашим, у него тетанос, — объявил мне доктор незнакомое выражение.

— Что такое тетанос? Я вас не понимаю.

— Удар на мозг, — объяснил Брашниевский. — Об отправлении его в Тифлис теперь, да, вероятно, и надолго, нечего и думать. Поезжайте одни, его вы не дождетесь, да и вряд ли ему, бедняге, предстоит полное выздоровление. Собирайтесь в путь и с Богом, а Бреверну предоставьте полный покой, ему теперь необходимый.

С этими словами мы тихонько вернулись в свою комнату, и я издали увидал улыбающуюся физиономию Александра Христофоровича, но когда подошел к нему ближе и пристальнее взглянул на него, пришел в ужас. Скривленное на одну сторону лицо, бессмысленная улыбка и оловянные, с идиотским выражением, глаза внушали глубокое сожаление и вместе страх, а когда он зашевелил губами и, желая что-то сказать, испустил непонятные звуки и вслед затем безумно и громко захохотал, дрожь пробежала по моему телу, и я сам выскочил от него, как сумасшедший. Забежав к немирному, я передал ему все подробности о случившемся несчастье, причем Брашниевский и Кулебякину повторил свое требование о немедленном отправлена меня в Тифлис, доказывая, что при настоящем положении Бреверна мое присутствие, кроме вреда, ничего не может принести ему. Скрепя сердце и даже не простившись с моим добрым приятелем, никого не узнававшим, я в полдень послал за почтовыми лошадьми и с тяжелой думой о горькой участи моего товарища по боевой жизни выехал из Кутаиси.

Путешествие мое совершалось медленно, маленькой рысцой, со всеми мерами избегать толчков на ухабах. Не желая останавливаться на ночлег в станционных домах, лишенных всяких удобств для успокоения больного, я решился хотя тихонько, но двигаться вперед и за это едва не поплатился грустною развязкой. Темнейшая ночь застала нас как раз на перевале Сурамского хребта. Зги Божьей, не было видно, и сам ямщик, приостановив коней, признался нам, что ехать далее он опасается, так как дорога здесь идет вдоль обрывов, от которых и днем не всегда Бог уберегает. Ночевать под открытым [592] небом, в ожидании рассвета, было помыслимо, и я решился вылезти из тарантаса и, поддерживаемый Вавилой, следовать шаг за шагом пешком за Сидором, который нес впереди фонарь. Около четырех верст главного и самого опасного пути на перевале, с беспрерывными отдыхами и остановками, мы прошли не менее, как в три часа времени, и, усевшись наконец в тарантасе, но все еще шагом, добрались до станции, когда на востоке стала показываться светлая полоса приближающегося рассвета. Благополучно, около полудня, миновав город Гори, верстах в десяти, я встретил значительную команду. Подъезжаю ближе, и кого же вижу? Шидловского с нашими куринцами. Стой, конечно. Шидловский ведет из Воздвиженского до 600 человек людей при пяти офицерах для укомплектования наших батальонов в Озургеты. Шидловский сообщил очень мало, больше

расспрашивал меня о том, что ожидает его самого в Озургетах, где он примет одну из вакантных рот. Там теперь лафа, везде простор, и ему недалеко и до батальона.

В Тифлисе, прямо в гостиницу Крылова, приехал я в полдень 22-го августа. Номер, отведенный мне, был большой и с балконом, куда я и вошел, как только пообедал. Смотрю, идет офицер с костылем в руках, слегка прихрамывая. Кто такой? Ба, да это милейший Иванов! Кричу ему, он останавливается, оглядывается и, радостно вскрикнув, бежит, не смотря на подстреленную ногу, ко мне по лестнице, наверх. После взаимного обмена приветствиями Иванов замялся в разговоре и заметно смущенным топом стал расспрашивать меня об общих знакомых, избегая при этом прямо ответить мне на вопрос, отправлено ли представление наше в Петербург. Прошло еще несколько минут томления и, наконец, полагая, что он достаточно меня подготовил к роковой вести, Иванов бухнул мне, что представление в Петербург отправлено вчера, но меня в нем нет… Когда Иванов выговорил эти ужасные слова: “но вас в нем нет”, я сначала рассмеялся в полной уверенности, что он шутит, но когда он с грустным выражением повторил их и затем скрепил честным словом, я представил себе, что брежу, так далек я был от мысли допустить слышанное, как факт совершившийся. Вот как это передал мне Иванов. Реад, получив при донесении кавалерской думы вторичное сокращение представления, с 18 на 12 человек, вернул опять его при замечании, что подобного количества георгиевских крестов не было пожаловано далее за Бородинское сражение, а потому предписывает еще сократить их с 12 на 8 и при этом руководиться старшинством представленных, а вовсе не порядком, помеченным в списках, где обер-офицеры стоят выше штаб-офицеров, без всякого при этом [593] объяснения… Кавалерская дума, не долго думая, во исполнение приказания начальства, переписала весь список представленных к Георгию, придерживаясь одного старшинства в чинах, а вовсе не условного порядка по заслугам, а затем и вычеркнула четырех младших, в число которых попали, конечно, Кутлер и я.

Так вот чем ограничились все восторженные похвалы и громкие удивления подвигу, равному Щеголеву. Но к чему ведет статут Георгиевского креста, когда офицеру, заслужившему его по трем параграфам, отказывают в нем только по капризу начальства? Если нашли возможность не представить меня, имевшего случай на глазах целого отряда взойти первым на штурм, с боя взять два неприятельских орудия и опрокинуть прикрытие батарей, то мудрено ли отказать в Георгиевском кресте всякому, подвиг которого менее определительно выставляется на суд общественный и той же пресловутой кавалерской думы? Иванов ушел от меня, обещая вернуться вечером. Я упал духом, не зная, на что решиться. Вскоре пришел опять добряк Иванов с предупреждением, что князь Иван Малхазович Андронников сегодня же вечером приедет навестить меня, а затем рассказал только что слышанное им про У. И. Карганова. Накануне у него был вечер, на котором зашла речь о решении думы и исключении меня из представления. Услышав эту новость, хозяин дома при всем многолюдном обществе сорвал с петлицы крест свой и объявил во всеуслышанье: “Клянусь честью, не надену его на себя, пока не дадут Полторацкому”. Не менее горячо принял к сердцу это и почтенный князь Иван Малхазович; его искреннее сочувствие выразилось не пустыми фразами утешения, а предложением на другой же день везти меня к начальству, к князю Барятинскому, а от него к генералу Реаду. Поэтому князь Андронников уговорился со мной явиться к нему в 9 часов утра и вместе отправиться по предложенным мытарствам. Вскочив очень рано, я был совершенно готов до 8 часов утра и вздумал до поездки к князю Андронникову съездить сначала явиться коменданту, генералу Роту. Подъехав к его дому, я встретил его на подъезде провожающего от себя князя Барятинского. Представившись коменданту, я раскланялся с князем Александром

Ивановичем, очень любезно пригласившим меня пройтись по Головинскому проспекту. Князь взял меня под руку, и мы пошли под гору великими друзьями. Он начал с расспросов о состоянии моих ран, о моих планах и проч., на что я ответил ему, что сейчас отправлялся к князю Андронникову с тем, чтобы ехать с ним к нему, князю Барянтинскому, и генералу Реаду. На вопрос его, по какому делу я хотел ему представиться, sous lo patronago d'Andronikoff, я объяснил князю, что, имев случай заслужить [594] Георгиевский крест, я приехал в Тифлис накануне, узнал, что из представления вычеркнут, а потому князь Иван Малхазович, признавая за мною неоспоримые права на получение этого ордена по статуту, намерен ходатайствовать о дополнительном представлении. Князь Барятинский остановился на тротуаре и горячо сказал: “Mon cher ami, laissez cette affaire et n'y pensez plus! Quant a moi je vous donne ma parole d'honneur de vous donner la croix de St.-Georgo a, la premiere occasion, car je vous connais pour un officier de la trempe qui merite la decoration tant desiree pour chaque affaire avec l'ennemi” (“Любезный друг, оставьте это дело и не думайте о нем больше! Что касается меня, то даю честное слово дать вам Георгиевский крест при первом случае, потому что знаю вас за офицера такого закала, который заслуживает этого желаемого ордена за всякое дело с неприятелем.”). Эти слова до такой степени раздражили меня, что я вне себя возразил: “Mon prince, je ne suis pas un enfant nouveau ne pour donner valeur a de telles promesses, et d'ailleurs jt tiens a porter la croix de St.-Goorgc pour le combat, ou je l'avais merite, et non grace a la protection bienveillante de qui que ce fut” (“Князь! Я не младенец, чтобы придавать цену таким обещаниям, и притом я стою на том, чтобы носить Георгиевский крест за то сражение, в котором я его заслужил, а не по благосклонной протекции кого бы то ни было.”). Ответ был, если не дерзкий, то во всяком случае резкий, но его сиятельство благосклонно его выслушал и как бы в подтверждение своих слов заметил мне, что и ему самому несколько раз отказывали в Георгии 3-й степени и дали его наконец теперь за Кюрук-Дара, “quand certe j'ai me rite bien plus que ca”. Как бы то ни было, но Барятинский наотрез отказался содействовать мне. Передавая пять минут спустя это грустное сообщение князю Ивану Малхазовичу, я от волнения едва ворочал языком. Спустя два дня, лаконической запиской Андронников пригласил меня к себе. “Уже, вот и ответ генерала Майделя; уже, сейчас получил на мою эстафету”, — встретил он меня, вручая письмо, только что ему доставленное. Официальный протест бывшего начальника штурмовых колонн, на имя князя Ивана Малхазовича, начинался с глубокого удивления полученному известию, затем перечислением всех подвигов моих и Кутлера, причем не мало выставлено доблести в том, что я, не взирая на обе раны, оставался на поле сражения до получения третьей, и кончалось самым горячим требованием о ходатайстве его сиятельства георгиевских крестов обоим, и мне в особенности. Последняя же фраза письма Майделя была следующая: “Твердо уверенный, что ваше сиятельство не допустите подобною гнусною несправедливостью помрачить славу Чолокской победы”. С этим новым документом князь Андронников был [595] у временно исправляющего должность главнокомандующего генерала Реада, вел усиленную атаку, но снова безуспешно. Князь стал меня утешать, что, заручившись свидетельствами от подлежащих властей в оказанных мною отличиях, я могу подать прошение на высочайшее имя о награждении меня орденом св. Георгия. Это мнение князя Андронникова разделялось всеми доброжелателями моими. Делать нечего, надо ехать сперва домой, а затем в Питер. В портфеле у меня скопилось не мало удостоверений, кажется, довольно веских, а именно: экземпляр печатного приказа по отдельному кавказскому корпусу от 8-го июня, в котором сказано, что штабс-капитан Полторацкий, егерского генерал-адъютанта князя Воронцова полка, первым вскочил на штурме батареи и, с боя овладев двумя орудиями, штыками опрокинул прикрывающий неприятельскую артиллерию низам;

экземпляр “Северной Пчелы”, в котором перепечатано все донесение о Чолокском сражении и где тех же выражениях говорится о мне; свидетельство ахалцыхского и гурийского отрядов, за подписью и приложением печати князя Андронникова, где сказано, что штабс-капитан Полторацкий явил своим подвигом блистательный пример военной доблести и самоотвержения и тем заслужил награждения орденом св. Георгия, к которому и представлен первым в списке испрашиваемых наград по статуту.

Я подал в отпуск за ранами и получил разрешение отправиться в Тверскую губернию с подорожной по казенной надобности и прогонами от казны впредь на 11 месяцев с сохранением содержания, как бы на действительной службе.

Все тузы, участвовавшие в сражении при Кюрюк-Дара, уже получили награды и очень крупные: главный начальник, князь В. О. Бебутов — Андрея Первозванного, а Барятинский, Брюммер и Багговут — Георгия 3-й степени. Вестник же о громкой победе, адъютант князя Бебутова, штабс-капитан Александровский назначен флигель-адъютантом. На днях ждут из Александрополя Дондукова-Корсакова. Он ранен не легко, пулею в локоть левой руки с раздроблением костей. Георгиевский крест и ему под сомнением, потому что дума придралась к тому, что он со своим дивизионом хотя и вырвал из рук неприятеля два орудия, но не турецких, а за несколько часов до того отбитых турками, у нас, русских. Мораль из этого поучительная: при атаке на неприятельскую батарею прежде рассмотри подробно, где были вылиты орудия, а потом уже бери их.

Получив отпускной билет, казенную подорожную и деньги, я поехал откланиваться князю Барятинскому, который спросил меня, правда ли, что я намерен жаловаться государю императору на несправедливость. [596]

— Не жаловаться, ваше сиятельство, а просить намерен я его величество, — отвечал я.

— В таком случае позвольте пожелать вам всякого успеха, — не без саркастической улыбки, но крепко пожимая мне руку, вставил его сиятельство.

В тот же день, в два часа, добился я, наконец, почтовых лошадей. Провожали меня Александр Трубецкой (Копчик), Коньяр, Богданов, Иванов и неизменный Вастен. У духана распили три тунги вина и обсудили животрепещущую новость, только что долетевшую до Тифлиса о катастрофе с новым флигель-адъютантом Александровским, за два дня до моего отъезда прикатившим из Петербурга. Щегольнув мимолетом своими вензелями, которые по истине ему мало пристали, он пустился в Александропольский отряд в сопровождении камердинера, привезенного им, как подобает сановному лицу, из Петербурга. На шестой от Тифлиса станции курьер повелительно обратился к слуге своему насчет скорейшей запряжки лошадей. Важный столичный лакей, вероятно, слишком утомленный непривычной скачкой по некроссированным дорогам на Кавказе, вяло отнесся к полученному приказанию и что-то пробормотал грубое своему барину, который энергически его выругал. Лакей оскорбился и, моментально развернувшись, влепил флигель-адъютанту полновесную пощечину. Что же сделал Александровский? Вскочив один в перекладную, он помчался на следующую станцию и, проскакав 22 версты, вошел в комнату для приезжих и, пока станционный смотритель вписывал его подорожную, он размозжил себе череп пулею из пистолета. Стоило ли для этого так безбожно гнать отличную тройку! Я не знал Александровского, но трагическая смерть его поразила меня. Каков промысл Божий! Немного дней назад сколько было завистников его

блестящему положению и открывающейся перед ним карьере, и вдруг… конец неожиданный и на столько пошлый.

6-го октября приехал я в Петербург. Но, чтобы очутиться здесь, надо было одолеть дистанцию громадного размера и по пути от Ставрополя побывать во многих городах и селениях обширного отечества, а не сразу перескочить сюда, на Большую Миллионную, в дом графа Зубова. В Москве остановился я у старого знакомца Яра, на Петровке; поручил Вавиле, во что бы то ни стало, продать тарантас и, сделав распоряжение, чтоб он с вещами был на вокзале к отходу 11-ти-часового почтового поезда, сам в 9 часов успел до отъезда заехать на полчаса к тетке Александре Дмитриевне Нееловой, на Спиридоновку. За эти последние четыре года не мало перемен и утрать произошло в семействе нашем. В могилу сошли дядя Сергей Дмитриевич Киселев и дядя Сергей Алексеевич Неелов. Семейства [597] Киселевых я не застал в Москве, устарелая же тетка Александра Дмитриевна в трауре и горе. Заезжал и в Грузины к милейшему дяде Константину Марковичу Полторацкому, который непременно потребовал, чтобы я не смел нигде в Петербурге останавливаться иначе, как в его помещении в доме графа Зубова, о чем он в ту же ночь письмом предупредил тетушку Софью Борисовну. В Завражье, куда мы вместе с дядей отправились, застали мать и сестру Ольгу, вышедшую замуж за Вертейля. Ольга сияла счастьем и благополучием, Вертейль же сразу выказал совершенно родственную, братскую предупредительность и дружбу. Расспросам и сообщениям не было конца. Мать постарела, очень поседела, но казалась счастливой и совершенно довольной, и хотя принималась поминутно плакать, но объясняла слезы свои, как следствие неожиданной радости нашего свидания. Мать недоверчиво, впрочем, отнеслась к моим претензиям на получение креста, но тут же возлагала великое верование на медицинскую в столице помощь моим ранам. Прогостив у своих всего несколько дней, я на Шитаревской тройке с Вавилой покатил на Осташковскую станцию, где без всякой суеты удобно уселся в вагон 1-го класса и большую часть дороги до Петербурга проспал безмятежным сном. В Петербурге, явился я в 10 часов утра, когда тетушка Софья Борисовна уже восстала от сна и, очень любезно приняв меня, водворила в апартаментах Константина Марковича. Первый день я провел в Петербурге en famille, то есть в обществе grande-dame тетушки и ее обычных посетителей. Как ей, так и гостям ее вечером я вынужден был повторяться рассказами о делах с неприятелем в Азиатской Турции и затем делать собственные, вполне голословные заключения, на непрерывные допросы Софьи Борисовны: “Et comment pensez-vous, mon cher, finiront nos exploits en Crimee?”.

Следующий день я посвятил на явку в комендантское управление и в главный штаб, а затем направился в дом министерства государственных имуществ к дяде-пьедесталу, родному брату моей матери. Граф Павел Дмитриевич Киселев изволил принять меня милостиво в своем частном кабинете, но с первых же слов разговора, заметив мою руку на черной атласной перевязи и как будто припомнив слышанное, сказал: “Ах, да! Ведь ты легко ранен!”. Возразив ему, насколько можно считать человека легко раненым, когда три пули пронижут его насквозь, разбив все кости, я думал воспользоваться случаем и добавил, что, впрочем, доктора петербургские определят, на сколько важны мои раны, так как цель посоветоваться с ними составляет одну из двух причин моего сюда приезда. — “А какая же другая?” — спросил дядя, на что я объяснил ему, что, [598] имея в Чолокском сражении счастливый случай заслужить орден св. Георгия по статуту, я вполне воспользовался им, но вследствие каких-то недоразумений был вычеркнут из представления, и привез печатные и письменные свидетельства на мои права, чтобы здесь ходатайствовать о строгой справедливости. В ту

минуту, когда я кончил изложение всей сути дела, надеясь на вмешательство всесильного дядюшки, он рассеянно меня слушал, а камердинер его доложил о приезде товарища министра Гамалеи, и Павел Дмитриевич поспешно встал и, пригласив меня следовать за ним по витой лесенке вниз, приостановился и внушительно пропел: “любезный друг, знай, что в России существует правило: что с воза упало, то пропало! До свиданья!” — и, послав мне воздушный поцелуй вместе с приглашением к нему послезавтра обедать, исчез за драпировкой в министерский кабинет свой. Очутившись на подъезде, я растерянно хватал себя за голову, сердце усиленно билось, а мысли настолько перепутались, что я не знал, на что надеяться. Если родной дядя так равнодушно относится к моему горю и вместо помощи цитирует поговорку, если и справедливую в жизненной практике, то во всяком случае возмутительную в принципе, то кто же из посторонних захочет хлопотать о восстановлении прав моих? Отсюда я поехал на Малую Морскую в дом князя Семена Михайловича Воронцова и к счастью застал и мужа и жену дома. Князь Семен Михайлович, командовавший тогда резервным Преображенским полком, безвыездно жил в Петербурге. Он чрезвычайно радушно встретил меня в своей уборной, и так как княгиня Марья Васильевна еще не выходила из своей спальни, то он, слушая мои рассказы, бесцеремонно совершал при мне все туалетные потребности. Когда дошло дело до Чолокского сражения и вопроса о Георгиевском кресте, князь Simon полюбопытствовал взглянуть на привезенные мною документы. Внимательно пробежав их, князь смиренно сознался, что он сам не сумеет повести это дело, но что княгиня Марья Васильевна без малейшего сомнения устроить мне всё в наилучшем виде, и вслед затем его светлость, высунувшись в халате в коридор, стал изо всей мочи, точно при пожаре, кричать на весь дом: “Муся, Муся, Муся!”. В ответ на уступленный крик хозяина послышалось отдаленное “сейчас”, и, полминуты спустя, шорох платья возвестил появление княгини Марьи Васильевны.

— Муся, — перебил мои первые приветствия князь Simon, — Муся, прочти эти бумаги и сообрази, как поступить. Это дело вопиющее, и во что бы ни стало надо настоять на справедливом удовлетворении нашего старого друга.

Княгиня подала мне руку и повела меня к себе в будуар, [599] где, усадив рядом с собою на диван, в течение десяти минут внимательно выслушала весь доклад мой.

— Можете ли вы мне оставить эти бумаги, конечно, на честное слово, что я верну их вам в целости?

— Конечно, княгиня.

— Ну, и прекрасно, мы будем часто впдеться, et je vous tiendrais au courant de la marche de I'aftaire en question. Вы, конечно, у нас будете обедать всегда в 6 часов; где вы остановились? Прекрасно, я знаю дом и у тетки вашей бываю, а во всяком случае через Татьяну Борисовну (Потемкину) всегда можно вас отыскать. Итак, au revoir, a six heures precises je rentre et suis a vous, — быстро скороговоркой отчеканила Марья Васильевна, на ходу надевая шляпу и нетерпеливо требуя карету.

Провожая ее до передней, я не мог не заметить, что тщательно завернутые в трубку все бумаги мои поехали вместе с ней, но куда? Вернувшись на половину его светлости я обречен был в течение не менее двух часов выслушивать все его военные соображения относительно главного вопроса дня — вторжения союзных войск на Крымский полуостров и предстоящей осады Севастополя. Кто-то позвонил в швейцарской, и я бежал домой с тем, чтобы вернуться к

обеду. На полдороги к Большой Миллионной я вспомнил, что Дмитрий Милютин живет теперь в Галерной, и направил кучера к нему. Его я не застал, а Nathalie, очень родственно меня принявшая, уговаривала остаться у них обедать, на что я смеясь ей отвечал, “que je suis tres huppe a Plieure qu'il est”, и что ни сегодня, ни завтра и даже послезавтра не могу воспользоваться ее любезным приглашением, но на днях буду у них опять, без всякого зова.

За обедом у Воронцовых княгиня мне сказала только, “que vos papiers sont entre de bonnes mains”, но расспрашивать настойчиво я не счел себя вправе и в десятом часу от них испарился. Ночь провел я превосходно, но с тех пор не выезжал три дня к ряду. Нарыв у выхода раны, предвестник отделявшейся косточки, жестоко меня измучил и приковал к постели, так что я был вынужден отказаться от обеда у графа Павла Дмитриевича, о чем несколькими словами в записке любезно уведомила его тетушка.

Впрочем, я был очень доволен, что вследствие законных причин избавился от церемонного принятия пищи у этого важного себялюбца. Вот, если помимо его да выгорит мое дело, тогда удобно съездить поблагодарить пьедестала за указанную им пословицу.

Поправившись, я поехал к Дмитрию Милютину и на этот раз застал всю семью в сборе. Дмитрий Алексеевич, ныне генерал-майор и состоящий при особе военного министра, князя [600] Василия Андреевича Долгорукова, очень мило меня встретил и за обедом расспрашивал с большим участием о моих военных подвигах, а когда, встав из-за стола, я ему в кабинете рассказал о всех кавказских интригах и об участии, выказанном здесь как графом Киселевым, так обратно и Воронцовыми, он дал мне добрый совет не пренебрегать также ходатайством по начальству. Дмитрий очень логично пояснил мне, что всегда лучше избегать враждебных к себе отношений сильных мира сего, а потому и в настоящем случае, надеясь на помощь княгини Воронцовой, благоразумие требует, чтобы я явился к военному министру с изложением моей просьбы, о чем он, Милютин, познакомившись с моими бумагами, берется предупредить князя Долгорукова в мою пользу. От души поблагодарив кузена за предложенные им услуги, мы условились, что я на другой же день привезу ему документы.

Совершенно ободренный, вернулся я домой, где на письменном столе эастал щегольской конверт с адресом на мое имя, знакомаго мне женского почерка; “Cher ami, arrivez demain, jeudi, chez moi a 1 heure precise pour une affaire tres grave. A vous pour toujours, Marie Woronzoff” — гласила записка. В назначенный час следующего дня входил я в дом Воронцовых.

— Где княгиня? — спрашиваю у камердинера.

— Пожалуйте сюда, — указывая на антресоль, ответил он. В изящной комнате, вроде фантастического будуара, сидела Марья Васильевна, а рядом с ней Клавдий Ермолов, только что приехавший из Дрездена, где тогда находился больной князь Михаил Семенович. Завязался общий разговор, но о моем собственно деле ни слова. Что за чёрт, — думал я. Потребовали меня ведь не для того, чтобы переливать из пустого в порожнее. A une heure precise, а скоро два часа, и мистификация продолжается. В эту минуту раздались из швейцарской два оглушительных звонка, непосредственно один за другим.

— Ali, la voila, — вскрикнула княгиня и, обращаясь ко мне, добавила: — suivtz moi!

Оставив Ермолова в изящной клетке, я вслед за хозяйкой спустился в залу, где княгиня встретила быстро входящую великую княгиню Марию Николаевну. У ее высочества в руке были знакомые мне бумаги, свернутые в трубку и перевязанные голубой лентой.

— Permettez de vous presenter, m-r Poltoratsky, — проговорила княгиня Мария Васильевна напускным тоном официальности. Ее высочество приветливо кивнула мне своей изящной головкой и, передав мне сверток бумаг, с очаровательной улыбкой сказала:

— J'aime a croire que nous aurons du succes (мне хочется верить, что мы будем иметь успех). — А затем, дав мне [601] приложиться к ее точеной ручке, порхнула в гости иную, мы же с Клавдием скрылись на половину князя Семена Михайловича.

Перед вечером, в назначенный час, я был у Дмитрия Милютина, которого по экстренному вызову военного министра не застал дома, но кузина Наталья Михайловна передала мне, по его поручению, чтобы я, оставив у него мои бумаги, сам приехал сегодня в Гатчину и, явившись в императорский дворец, отыскал бы его в приемном зале, где, по окончании доклада военного министра его величеству, он меня представить князю Долгорукову. С десятичасовым поездом я выехал по железной дороге и, прибыв в Гатчину, отправился во дворец, согласно условию с Милютиным, которого и разыскал в какой-то галерее, примыкавшей к собственным его величества покоям. Дмитрий Алексеевич поспешил сообщить мне, что он внимательно прочел все мои документы (которые тут же из своего портфеля достал и передал мне) и находит их вполне и бесспорно достаточными для получения не одного, а трех Георгиевских крестов, и что он, едучи в одном вагоне с князем Долгоруким, уже успел все дело мое объяснить его сиятельству. Со своей стороны я рассказал Дмитрию о вчерашней встрече и сказанных мне словах великою княгиней Марией Николаевной, на что он заметил: “одно другому не мешает, тем более, что военного министра миновать этот вопрос не может”.

Тем временем доклад у государя императора еще не кончался, и Милютин, уже с беспокойством опоздать к поезду, раза два взглядывал на часы свои, недоумевая о причине затянувшейся аудиенции. Вдруг дверь распахнулась, и князь Долгоруков буквально выбежал в галерею с портфелем в руках.

— Ваше сиятельство, имею честь представить… — заговорил Милютин:

— А, Полторацкий, очень рад, извините, опоздаем! — на бегу протягивая мне руку, но не останавливаясь, проговорил князь, бросаясь к экипажу.

Я вскочил на извозчика и вслед за ними прискакал к вокзалу, где уже раздавался второй звонок; минуту спустя запыхтела машина, и поезд тронулся, увозя в одном углу вагона 1-го класса князя Долгорукова с Милютиным, а в другом меня, мысленно обсуждавшего, что вся эта тревожная езда и представление по краткости и суетливости своей не стоили хлопот.

Во время переезда до Петербурга оба они, министр и генерал, о чем-то разговаривали и, как мне показалось, была речь и обо мне, так как князь не раз выразительно на меня взглядывал. Только что остановился поезд в Петербурге, и я [602] успел выйти из вагона ранее военного министра, он на платформе подошел ко мне и, снова протягивая мне руку, очень любезно пригласил сейчас же ехать в инспекторский департамента и явиться дежурному генералу Катенину, “который все для вас сделает”. Я отвесил почтительный поклон и покатил к зданию главного штаба. Был первый час по полудни, когда я вошел в залу инспекторского департамента. Общий прием давно уже кончился, и я застал там одного лишь дежурного адъютанта, к удивлению моему, старого приятеля и однокашника, Илью Ростовцева. Обменявшись обычными приветствиями после долгой разлуки, я спросил, могу ли я

представиться его генералу, на что он ответил, что прием сегодня уже кончен, но когда я объяснил ему, что являюсь по приказанию, только что полученному лично от военного министра, Ростовцев пошел в кабинета дежурного генерала и, через несколько минут вернувшись, сообщил, что его превосходительство сейчас ко мне выйдет, а сам поспешил в другую дверь с каким-то поручением. Я остался один на стуле, около окна. Послышались шаги, и в залу вошел видный, краснощекий генерал-адъютант. Я поспешил встать и поклониться. Генерал Катенин, нахмурив брови и не отдавая мне поклона, подошел ко мне и, пристально взглянув на мой армейский мундир, полупрезрительно, полу надменно проговорил.

— А что тебе, мой милый, нужно?

У меня кровь хлынула к лицу, и сам не понимаю, как вырвался у меня ответ: “ничего, милейший, мне не нужно!”.

Я опомнился лишь, когда внизу швейцар мне подал шинель и захлопнул за мною дверцы кареты. Всю дорогу от главного штаба до Большой Миллионной я не переставал ругаться в душе, но дома застал у себя Петра Сергеевича Львова, полковника лейб-Егерского полка, который изощрялся в красноречивых уверениях, что генерал Катенин пользуется у них во всем гвардейском корпусе репутацией и славой первого джентльмена и известен всем и каждому в Петербурге своим изящным и учтивым обращением со всеми подчиненными без исключения.

Как же согласовать и чем объяснить непозволительную грубость его превосходительства со мной? Неужели Куринский мундир, как менее блестящий, чем гвардейский, дает право на подобное обращение с тем, который честно его носит? Понять не умею...

В. Полторацкий.

Текст воспроизведен по изданию: Воспоминания В. А. Полторацкого // Исторический вестник, № 10. 1893